

ЗНАМЯ

1945г.

№3.

Лен 602

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ¹

Роман

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

82608
182608
1

Немцы заняли Ворошиловград 17 июля в 2 часа дня после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, на две трети истребленный в этом бою превосходящими силами противника. Оставшаяся треть отступала с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедудуванной, пока последний солдат не лег в донецкую землю.

К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушел или выехал на восток. Но в дальнем Беловодском районе, по незнанию обстоятельств дела и отсутствию транспорта, застряла большая группа учащихся восьмого и девятого классов красдонской школы имени Горького, находившаяся в районе на полевых работах.

Вывести эту группу учащихся отдел народного образования поручил учительнице этой же школы, преподавательнице русской литературы, Марии Андреевне Борц, уроженке Донбасса, хорошо знавшей местные условия, женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе дела: среди учащихся находилась ее дочь Валя.

Для того чтобы вывезти эту группу учащихся, нужен был всего один грузовик, но Мария Андреевна получила поручение, когда уже никакого транспорта нельзя было достать. Она добиралась до совхоза со всякими оказиями и потратила на это более суток. Женщина исключительной моральной крепости, измученная тяжелой дорогой и душевной болью за судьбу дочери-комсомолки и всех учащихся, она разрыдалась от душившего ее волнения и чувства благодарности, когда директор совхоза, с невероятным напряжением всего транспорта эвакуировавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спавший и не

¹ Продолжение. См. № 2 „Знамя“ 1945 г.

бывшийся уже несколько суток, беспрекословно отдал Марии Андреевне последний грузовик.

Несмотря на то, что тяжесть положения на фронте была хорошо известна в Беловодском районе, до самого приезда Марии Андреевны учащиеся, со свойственной юности беспечностью и доверием к тому, что взрослые во-время распорядятся ими, находились в том возбужденно-веселом настроении, которое всегда создается, когда собирается много молодых людей в условиях вольной, чудесной природы с естественными завязывающимися между молодыми людьми дружескими романтическими отношениями.

Мария Андреевна не стала раньше времени расстраивать ребят и скрыла от них действительное положение дела. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их собирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось что-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у всех появились мысли о доме и что с ними будет дальше.

Валя Борц, рано сформировавшаяся девушка, с покрытыми золотистым пушком сильно загорелыми руками и ногами, в которых было еще что-то детское, с глазами темносерыми, в темных ресницах, не зависимыми и холодноватыми по выражению, с светлорусыми, золотистыми косами и полными яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким, белоголовым, курносым, веснушчатым мальчиком с живыми, что называется смыслеными, глазами.

Валя была в девятом классе, а Степа в восьмом, и это могло бы послужить препятствием к их дружбе, если бы Валя дружила с девушками, а Валя не дружила с девушками, и если бы среди мальчиков был бы кто-нибудь, кто ей нравился, но ей никто не нравился. Она была начитанной девушкой, хорошо играла на пианино, по своему развитию она выделялась среди подруг и сама знала это и привыкла к поклонению сверстников-юношей. Степа Сафонов подошел ей не потому, что она нравилась ему, а потому, что он ее забавлял; он был действительно смысленный и душевный парень, что скрыто у него было под мальчишеским озорством, верный товарищ и страшный болтун. И именно потому, что сама Валя была не болтлива, никому не поверяла тайн, кроме своего дневника, мечтала о подвигах,— она, как и все, хотела быть летчицей,— и в мыслях своих представляла своего героя тоже как человека подвига, Степа Сафонов безответственно забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками.

Впервые Валя отважилась на серьезный разговор с ним и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодаре окажутся немцы.

Она смотрела на него своими темносерыми, холодно не допускающими к себе глазами, очень серьезно, испытующе, и Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой и всегда думавший том, что он будет делать, если придут немцы, и никогда не думавший том, что он будет делать, если придут немцы, так же не задумываясь сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу.

— Это не болтовня? Это правда?— холодно спрашивала Валя.

— Ну, почему же болтовня? Ну, конечно же правда!— не задумываясь, отвечал Степа.

— Поклянись...

— Ну, клянись... Конечно же клянись... А что же нам иначе делать? Ведь мы же комсомольцы?— удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый Степа, задумавшись, наконец, над тем, о чем его спрашивали.— А ты?— с любопытством спросил он.

Она приблизила губы к самому его уху и зловецким шопотом сказала:

— Клянусь-с-сь...

Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула, как лошадка, так, что у него чуть не лопнула барабанная перепонка, сказала:

— Все-таки дурак ты, Степка! Дурак и трепач!— и убежала.

Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой свежестью веяло из степи— пахло реном, созревающими хлебами, медом, полынью; тугой и теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что может быть, в их дома ждут земцы.

Грузовик был полон ребят. Будь это в другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съезжившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами вполголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу, мотаясь головами на ухабах.

Валя и Степа сидели в машине сзади всех— они назначены были шевальными. Степа тоже стал задремывать, а Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь, во тьму. Полные губы ее в этом самолюбивым выражением, теперь, когда никто не видел ее, дрожали по-детски грустно и обиженно.

Вот и не взяли ее в летнюю школу. Сколько раз делала она попытку, ей отказали, дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Степка— болтун. Конечно, она работала бы в подполье, но как это выйдет и кто этим ведает? И что будет с отцом,— отец Вали был еврей,— и что будет с их школой? Столько силы в душе, даже победить никого не успела, и вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы,— ей было семнадцать лет,— то были не черствые, себялюбивые, а девичьи бескорыстные мечты вольной природы.

Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, прыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика.

Она быстро обернулась и чуть вздрогнула.

Не то мальчик, не то маленького роста паренек в кепке, худенький, епкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже павалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время быстро оглядывал все, что предстояло ему, поблескивающим в темноте глазами.

Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его

с машины, потом раздумала и, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить Степу.

Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях, уже был в машине. Он уже сидел рядом с Валей и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение, и ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранный на затылок кепке, с лицом давно немывтым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решило дело в его пользу.

Валя не сделала никакого движения и не подала голос. Она смотрела на этого паренька с тем независимым холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна.

— Что за машина?— шопотом спросил паренек, склонившись к ее лицу.

Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть жесткие, волосы, сильная, грубоватая складка губ, тонких, немного выдавшихся вперед,—казалось, под губами немного припухло.

— А что? Не ту подали, которую ты ждал?— холодно отвечала Валя тоже шопотом.

Он улыбнулся.

— Моя в капитальном ремонте, а я так устал, что...— он махнул рукой с выражением: «Мне, мол, все равно».

— Извините, спальные места все заняты,— сказала Валя.

— Я шесть суток не кимарил, часок потерплю,— сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее.

В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица.

Кузов машины кидало на ходу, и Валя, и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Вали однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее.

— Это кто спит?— спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Степы.— Степка Сафонов! — сказал он вдруг не шопотом, а в полный голос.— Знаю теперь, что за машина. Школа Горького? Едете из Беловодского района?

— Откуда ты знаешь Степу Сафонова?

— Мы познакомились у ручья в балке.

Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал.

— Что вы делали у ручья в балке?— спросила она.

— Лягушек ловили.

— Лягушек?

— Точно.

— Зачем?

— Сначала я думал, что он их ловит, чтобы сомов ловить, а оказалось, он ловил их, чтобы резать!—И паренек засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степы Сафонова.

— А потом что?—спросила она.

— Я его уговорил пойти сомов ловить, и мы пошли на ночь, я поймал двух, одного маленького, на фунт, а другого ничего себе, а Степка ничего не поймал.

— А потом?

— Я уговорил его искупаться со мной на зорьке, он послушался, вылез весь сикий и говорит: «Я,—говорит,—оклечетел, как общипанный петел, и уши,—говорит,—у меня полные воды холодной!»—И паренек фыркнул.—Ну, я его научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей.

— А как это?

— А одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь: «Катерина, душка, вылей воду с ушка!». Потом другое ухо и опять кричишь.

— Теперь я понимаю, как вы подружились,—сказала Валя, чуть дрогнув бровью.

Но он не понял заключенной в ее словах иронии, вдруг стал серьезным и посмотрел вперед, во тьму.

— Поздненько вы,—сказал он.

— А что?

— Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут.

— И что ж что немцы?—спросила Валя.

То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось доказать, что она не боится немцев,—она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением и, снова опустив их, ничего не ответил ей.

Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И—странное дело—он почувствовал это и сказал примирительно:

— Тикать-то некуда!

— А зачем тикать?—сказала она назло ему.

Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения и опять сказал примирительно:

— И то верно.

Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство, и отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хотел назвать себя.

Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать, но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Вали он вскидывал голову.

Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезд, шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыкала по настилу, звякнули рельсы.

Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетой на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал:

— Отсюда дойду... Спасибо за доброту.

Он пригнулся, и Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы.

— Не хотел Степку будить,— сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся глаза свои.— А проснется, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти.

— Я не почтовая контора и не телефонная станция,— сказала Валя. Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся, что ответить, губы его, казалось, еще сильнее припухли. И, не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме.

И Вале вдруг стало грустно, что она так огорчила его. Обиднее всего было то, что после того как она так сказала ему, она действительно не могла уже рассказать все это Степе и исправить несправедливость, допущенную по отношению к этому, внезапно возникшему и внезапно исчезнувшему, отважному парню. Так он и запомнил ей с этими смеющимися смелыми глазами, которые после ее грубых слов стали печальными, и с этими словно бы поддувшимися тонкими губами.

Весь город лежал во тьме, нигде — ни в одном из окон, ни в пропускных будках в шахты, ни на переездах — не видно было даже проблеска света. В похолодевшем воздухе явственно ощущался запах тлеющего угля из еще дымившихся шахт. Ни одного человека не видно было на улицах, и так странно было не слышать привычного шума труда в районах шахт и на ветке. Одни собаки взлаивали.

Сергея Тюленин, бесшумной, быстрой кошачьей походкой идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с огромным пустырем, где в обычное время помещался рынок, обогнул пустырь и, скользнув мимо слепившихся, как соты, темных мазанок Ли-фан-чи, окруженных вишнейником, тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких же глиняных, но небеленых, крытых соломой дворовых клетушек-пристроек.

Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, он шмыгнув в чулан и через несколько секунд вышел с лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении отцовского хозяйства, через минуту уже был на огороде, возле кустов акаций, темневших вдоль плетня.

Он выкопал ямку меж двух кустов, довольно глубокую, — грунт был рыхлый, — и выложил на дно ее из карманов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и два револьвера браунинга с патронами к ним. Каждый из этих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал ямку землей, разрыхлил и разравнивал почву руками, чтобы утреннее солнце, подсушив землю, скрыло следы его работы, аккуратно обтер лопату полой куртки и, вернувшись во двор и поставив лопату на место, тихо постучался в дверь мазанки.

Щелкнула щеколда двери из горенки в сенцы, и мать, — он узнал ее по грузной походке, — шаркая босыми ногами по земляному полу, подошла к наружной двери.

— Кто? — спросила она заспанным тревожным голосом.

— Открой, — тихо сказал он.

— Господи боже мой! — тихо, взволнованно сказала мать. Слышно

было, как она, волнуясь, не могла пашупать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась.

Серезжка переступил порог и, чувствуя в темноте знакомый теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Некоторое время они так, молча, поспыали в сенях обнявшись.

— Где тебя носило? Мы думали, може, эвакуировался, може, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы передал с кем, что с тобой,— ворчливым шопотом заговорила мать.

Несколько недель тому назад Серезжка в числе многих подростков и женщин был направлен из Краснодона, как направляли и из других районов области, на рытье окопов и строительство укреплений на подступах к Ворошиловграду. Все краснодонцы вернулись уже неделю тому назад, а Серезжка не вернулся и ни с кем не передал, что с ним и где он,— об этом и говорила мать.

— Задержался в Ворошиловграде,— сказал он обычным своим голосом.

— Тише... Деда разбудишь,— сердито сказала мать. Дедом она называла своего мужа, отца Серезжки. У них было одиннадцать детей, и уже были внуки в возрасте Серезжки.— Он тебе задаст!..

Серезжка пропустил это замечание мимо ушей: он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти сорвавшейся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анпенском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах, но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался и даже, когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой клюшку, потому что тело его совсем не держала поясница.

— Есть хочешь?— спросила мать.

— Хочу, да сил нет, в сон кидает.

Ступая на цыпочках, Серезжка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старших сестры — Даша с ребенком полутора лет,— ее муж был на фронте,— и любимая, младшая из сестер, Надя. Кроме этих сестер, в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми; ее муж тоже был на фронте. А остальных детей Гаврилы Петровича и Александры Васильевны жизнь разбросала по всему свету. Серезжка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал куда попало свою одежду, оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю.

Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, пашупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежвыпеченного пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку.

Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие!.. Но ей он не понравился, это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал! Если бы можно

было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете! Но как хорошо дома, как это славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных и жевать этот пахучий пшеничный хлеб домашней, материнской выпечки! Казалось, едва он коснется постели, он уснет, как убитый, и будет спать по меньшей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала! Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья эта девчонка и что она за такое! Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову и, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал... Но зачем же ждать до завтра, когда все, решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде!

Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке.

— Надя... Надя...— тихо говорил он, присев на кровать возле сестры и пальцами поталкивая ее в плечо.

— А?.. Что?..— испуганно спросила она спросонья.

— Тсс...— он приложил свои немые пальцы к ее губам.

Но она уже узнала его и, быстро поднявшись, обняла его голыми горячими руками и поцеловала куда-то в ухо.

— Сережка... жив... Милый братик... жив...— шептала она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Сережка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с маленькими, румяными со сна скулами.

— Надя! Я с самого тринадцатого числа еще не ложился, с самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего вечера все в бою,— изволнованно говорил он, жуя в темноте хлеб.

— Ой ты!— шопотом воскликнула Надя, тронула его за руку и в нижней сорочке села на постели, поджав под себя ноги.

— Наши все погибли, а я ушел... Еще не все погибли, как я уходил, человек пятнадцать было, а полковник говорит: «Уходи, чего тебе пропадать». Сам он был уже весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, в крови. «Нам, говорит,— все равно погибнуть, а тебе зачем?» Я и ушел... А теперь уж, я думаю, никого из них в живых нет.

— Ой ты-ы...— в ужасе прошептала Надя.

— Я, перед тем как уйти, взял саперную лопату, снес с убитых оружие в окопчик, там, за Верхнедуванной,— там два холмика таких и роца слева, место приметное,— снес винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит: «Запомни, как звать меня, — Сомов. Сомов, Николай Павлович. Когда,— говорит,— немцы уйдут, или ты к нашим попадешь, отпиши в Горьковский военкомат, чтобы сообщили семье и кому следует, что, мол, погиб с честью...» Я сказал...

Сережка замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание, ел мокрый соленый хлеб.

— Ой ты-ы...— всхлипывала Надя.

Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже не помнила, когда он и плакал, лет с семи,— этаким кремешок.

— Как же ты попал к ним?— спросила она.

— А вот как попал,— сказал он, опять оживившись, и залез с югами на койку сестры.— Мы еще укрепления кончали, а части из-под Лисичанска отошли, заняли тут оборону. Наши краснодонцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, командиру роты,— прошу зачислить меня. Он говорит: «Без командира полка не могу». Я говорю: поспособствуйте. Очень стал просить, тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он— ни в какую. Пока мы тут спорились, начала бить артиллерия немецкая,— я к бойцам в блиндаж. До ночи они меня не отпускали, жалели, а ночью велели уходить, а я ютлез от блиндажа и остался лежать за окопом. Утром немцы пошли наступать, я обратно в окоп, взял у убитого бойца винтовку и давай палить, как все. Тут мы несколько суток все отбивали атаки, меня уже никто не прогонял. Потом меня полковник узнал, сказал: «Когда б мы сами не смертники, зачислили бы тебя в часть, да,— говорит,— жалко тебя, тебе еще жить да жить». Потом засмеялся, говорит: «Считай себя вроде за партизана». Так я с ними и отступал почти до самой Верхнедубанной... Я фрицев видел вот как тебя,— сказал он страшно пониженным, свистящим шопотом.— Я двоих сам убил... Может, и больше, а двоих— сам видел, что убил,— сказал он, искривив тонкие губы.— Я их, гадов, буду теперь везде убивать, где ни увижу, помяни мое слово...

Надя знала, что Сережка говорит правду,— и то, что убил двух фрицев и что еще будет убивать их.

— Пропадешь ты,— сказала она со страхом.

— Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить.

— Ай-я-яй, что с нами будет!— с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью.— У нас в госпитале более ста раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, поубивают их немцы!— с тоской сказала она.

— Надо чтобы их жители поразбирали. Как же вы так?— взволновался Сережка.

— Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игната Фомина, а кто его знает, что за человек? Может, от немцев, все заранее выглядает? Фомин хорошего человека прятать не станет.

Игнат Фомин был один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Но здесь в поселке, где жили главным образом люди шахтерского труда, среди которых немало было стахановцев, к Игнату Фомину относились с недоверием, как к человеку темному и выскочке. Он появился здесь в начале тридцатых годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на Шанхае. И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя.

Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать.

— Ложись, Надя...

— А я и не усну теперь.

— А я усну,— сказал Сережка и перебрался на свою койку.

И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза этой девушки на грузовике. «Все равно я тебя пайду»,— сказал ей Сережка улыбаясь, и все перед ним и в нем самом ушло во тьму.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как бы ты повел себя в жизни, читатель, если у тебя орлиное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жажды подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у тебя цыпки, и во всем, решительно во всем, к чему рвется твоя душа, человечество еще не понало тебя?

Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос, как трава в степи. Отец его, родом из Тулы, вышел на заработки в Донбасс еще мальчишкой и за сорок лет шахтерского труда обрел те черты наивной, самолюбивой, деспотической гордости своей профессией, которые ни одной из профессий не свойственны в такой степени, как морякам и шахтерам. Даже после того, как он вовсе перестал быть работником, он все еще думал, Гаврила Петрович, что он главный в доме. Но утром он будил всех в доме, потому что по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно и ему было скучно одному. А если бы ему и не было скучно, он все равно будил бы всех оттого, что его начинал душить кашель. Кашлял он с момента пробуждения не менее часа, он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в испорченной фисгармонии.

А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, с длинным носом горбинкой, который когда-то был большим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги, с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной, с могучими прямыми, воинственными усами, которые, храня первозданную пышность под ноздрями, постепенно сходили до предельной упругой тонкости одного волоса и торчали в разные стороны, как пики, с глазами, выцветшими и пронзительными под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя на койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, опершись на свою клюшку, и всеми командовал, всех поучал, резко, отрывисто, грозно, заходясь в кашле так, что хрип, свист и дудение разносились по всему Шанхаю.

Когда человек еще в нестарые годы лишается трудоспособности более чем на половину, а потом и вовсе впадает вот в этокое положение, попробуйте вырастить, научить профессии и пустить в дело трех парней и восемь девок, а всего одиннадцать душ!

И вряд ли то было бы иод силу Гавриле Петровичу, когда бы не Александра Васильевна, жена его, могучая женщина из орловских крестьянок, из тех, кого называют на Руси «бой-баба»,— истинная Марфа Посадница. Была она еще и сейчас нерушимо крепка и не знала болезней. Не знала она, правда, и грамоте, но, если надо было, могла быть и грозна, и хитра, и молчалива, и речиста, и зла, и добра, и лстива, и бойка, и въедлива, и если кто-нибудь по неопытности ввязывался с ней в свару, очень быстро узнавал, почем фунт лиха.

И вот все десять старших уже были при деле, а Сережка, младший, хотя и учился, а рос, как трава в степи: не знал своей одежды и обувки,— все это переделывалось, перешивалось в десятый раз после старших, и был он закален на всех солнцах и ветрах, и дождях и морозах, и кожа у него на ступнях залубенела, как у верблюда, и какие бы увечья и ранения ни наносила ему жизнь, все на нем зарастало вмиг, как у сказочного богатыря.

И отец, который хрипел, свистел и дудел на него больше, чем на кого-либо из детей своих, любил его больше, чем кого-нибудь из остальных.

— Ютчаянный какой, а?— с удовольствием говорил он, поглаживая страшный ус свой,— правда, Шурка?— Шурка— это была шестидесятилетняя подруга его жизни, Александра Васильевна.— Смотри, пожалуйста, а? Никакого бою не боится! Совсем как я мальцом, а? Кха-кха-кхаракха...— И он снова кашлял и дудел до умопомрачения.

У тебя орлиное сердце, но ты мал, плохо одет, на ногах у тебя цыпки. Как бы ты повел себя в жизни, читатель? Конечно, ты, прежде всего, совершил бы подвиг? Но кто же в детстве не мечтает о подвиге,— не всегда удается его свершить.

Если ты ученик четвертого класса и выпускаешь на уроке арифметики из-под парты воробьев, это не может принести тебе славы. Директор— в который уж раз!— вызывает родителей, то есть маму Шурку, шестидесяти лет. Дед Гаврила Петрович,— с легкой руки Александры Васильевны все дети зовут его дедом,— хрипит и дудит и рад бы дать тебе подзатыльника, да не может дотянуться и только яростно стучит клюшкой, которой он даже не может пустить в тебя, поскольку она поддерживает его иссохшее тело. Но мама Шурка, вернувшись из школы, отвечает тебе полнокровную затрещину, которая горит на щеке и ухе несколько суток,— с годами сила мамы Шурки только прибывает.

А товарищи? Что товарищи! Слава, недаром говорят,— дым. На завтра твой подвиг с воробьями уже забыт.

В свободное время лета можно добиться того, чтобы ты стал чернее всех, лучше всех нырял и плавал и ловчее всех ловил руками щурят под корягами. Можно, завидев идущую вдоль берега стайку девчонок, разогнаться с берега, с силой оттолкнуться от обрывистого края, смуглой ласточкой пролететь над водой, нырнуть и в тот момент, когда девчонки, делая вид, что им все равно, с любопытством ожидают, когда ты вынырнешь на поверхность, приспустить под водой трусы и неожиданно всплыть вверх попкой, белой румяной попкой, единственным незагоревшим местом на всем теле.

Ты испытываешь мгновенное удовлетворение, увидев мелькающие розовые пятки и развевающиеся платица словно сдунутых с берега девчонок, прыскающих на бегу в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на песке. Ты на все времена завоеуешь поклонение совсем маленьких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему слову или движению пальца. Давно уже прошли времена римских цезарей, но мальчишки тебя обожествляют.

Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем как будто не отличных от других дней твоей жизни, ты внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, где все ученики школы предаются обычным во время перерыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь краткое, как миг, пронзительное удовольствие — и от самого полета, и от дикого, полного ужаса и, одновременно, от желания заявить о себе в мире, визга девчонок в возрасте от первого класса до десятого. Но все остальное несет тебе только разочарования и лишения.

Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть груб с директором оттого, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на Шанхае.

— Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хочу, наконец, знать причины всего этого,— говорит он значительно и вежливо, как иностранец. И в голосе его звучит оттенок упрека родителям.

И родители — мать с мягкими, круглыми руками, которые она не знает куда деть, потому что она только что таскала ими из печи чугуны и руки черны от сажи, а на матери даже нет передника, чтобы обтереть их, и отец, до крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся встать перед директором, опираясь на свою клюшку, родители смотрят на директора так, будто они действительно во всем виноваты.

А когда директор уходит, впервые никто не ругает тебя, от тебя словно бы все отворачиваются. Дед сидит, не глядя на тебя, и только изредка покрякивает, и усы у него вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, сильно побитого жизнью. Мать все хлопчет по дому, шаркает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь, и вдруг ты видишь, как, склонившись к отверстию русской печки, она украдкой смахивает слезы черной от сажи, прекрасной, старческой, круглой рукою своею. И они словно говорят ему всем видом своим, отец и мать: «Да ты взглядишь в нас, ты взглядишь, взглядишь в нас, кто мы, какие мы!»

И ты впервые замечаешь, что старые родители твои давно уже не имеют что одеть к празднику. В течение почти всей своей жизни они не едят за общим столом с детьми, а едят особняком, чтобы их не было видно, потому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, картошки и гречневой каши, лишь бы детей, одного за другим, поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, стал образованным, стал человеком.

И слезы матери пронзают твое сердце. И лицо отца впервые кажется тебе значительным и печальным. И то, что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно — это трагично.

Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязаньем. И ты груб с родителями, груб с сестрами, а ночью ты не можешь спать, тебя гложет одновременно и чувство обиды, и сознание своей преступности, и ты беззвучно утираешь невытой ладошкой две скупые слезинки, выкатившиеся на твои маленькие жесткие скулы.

А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел.

Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осуждения твоему очарованному взору открывается целый мир немислимых, баснословных подвигов.

Люди проплывают двадцать тысяч лье под водой, открывают новые земли; они попадают на необитаемые острова и все создают себе на-ново собственными руками; они взбираются на высочайшие вершины мира; люди попадают даже на луну; они борются со страшными штормами в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по марсам и салингам; на своих кораблях они проскальзывают над острыми рифами, выливая на бушующие волны бочки ворвани; люди переплывают океан на плоту, томясь от жажды, ворочая пересохшим, распухшим языком свинцовую пулю во рту; они переносят самумы в пустыне, сражаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слонами и побеждают их. Люди совершают эти подвиги из-за наживы или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, или из страсти к приключениям, или из чувства товарищества, верной дружбы, для спасения попавшей в беду любимой девушки, а то и просто совсем бескорыстно — для блага человечества, для славы родины, для того, чтобы вечно сиял на земле свет науки — Ливингстон, Амундсен, Седов, Невельской.

А какие подвиги совершают люди на войне! Люди воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили свои имена в войнах. Повезло же тебе родиться в такое время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографии. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и ты рисуешь их портреты, — нет, зачем говорить неправду, ты сводишь их портреты при помощи стекла на бумагу, а потом растушевываешь их по своему разумению мягким черным карандашом, намусливая его для большей силы и выразительности так, что к концу работы язык у тебя весь черный и его не оттереть даже пемзой. И портреты эти до сей поры висят над твоей постелью.

Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей Киров, Сергей Тюленин... Да, может быть, и его имя, рядового комсомольца, стало бы в ряд с этими именами, если бы он успел проявить себя. Как, на самом деле, увлекательна и необыкновенна была жизнь этих людей! Они извели царское подполье. Их выслеживали, сажали в тюрьмы, высылали на север, в Сибирь, но они бежали снова и снова, и снова вступали в бой. Серго Орджоникидзе бежал из ссылки. Михаил Фрунзе бежал из ссылки два раза. Сталин бежал из ссылки шесть раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы людей.

Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь оконча-

тельно видно. И идет за ним в жизни только один Витька Лукьянченко.

Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус «Челюскина». И! страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли, они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свеге люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются к пострадавшим на самолетах сквозь пургу и мороз, они вывозят их, подвывая к крыльям самолетов,— это первые герои Советского Союза.

Чкалов! Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку — мечта человечества! Чкалов. Громов. А папанинцы на льдине?

Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда.

По всей советской земле и в самом Краснодаре немало людей, простых, как и ты, отмеченных подвигами и славой,— такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имя Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему, горько на душе оттого, что он стар и что его подшитола вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни, 1-аврилла Гюленин, «дед», и Сережка понимает, как ему, деду, тяжело, что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми.

Слава этих людей — это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь погом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел,— он чувствует это сердцем, что он для них вполне созрел. Беда в том, что только он один из свете понимает это и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением. Иногда он даже ловит на себе такие взгляды: а уж не залезет ли этот шустрый парнишка в карман ко мне?

Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу,— он должен стать легчиком. Его не принимают.

Все школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, идет работать на шахту. Через две недели он уже встал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми.

Он сам не знал, как много он достиг во мнении людей. Он выходил из клетки чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его; он шел вместе с взрослыми, так же солидно, враскачку, шел под душ, фыркал, кричал, как отец, и неторопливо шел домой уже босой: обутка у него была казенная.

Он возвращался поздно, когда все уже покушали,— его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник. Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, который она придерживала обеими круглыми руками в тряпице. Пар валил из борща, и никогда еще не

казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял, он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца: как идуг дела в шахте, кто сколько вырубил? Отец спрашивал и про инструмент и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах, забоях, гезенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, знал обо всем от своих товарищей. Знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки, мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработки под землей и все, что там, под землей, делается.

Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу — артиллеристу, саперу, или минеру, или летчику; в двенадцатом часу ночи со слипающимися веками готовил уроки, а в пять часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его, вместе со своими бойцами, стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно не хуже любого бойца стрелял из винтовки, и из нагана и маузера, и «т-т», и дегтяревского ручного, и «максима», и из ППШ, и метал гранаты, и бутылки с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов всех стран света, и мог разрядить авиабомбу,— и все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Сергею Орджоникидзе или к Сергею Кирову.

Этой весной он сделал еще одну, самую отчаянную, попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год.

Да, это было страшное поражение — вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой.

Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть! Он не рассказал Наде и соотой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое страх.

Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко; ставни в горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на длинном полу и на предметах в горенке полоски золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли.

Он вышел во двор умыться и увидел деда, сидевшего на приступочке, а немного поодаль от деда Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу.

— Ага! Здорово, воин! Аника! Кха-кха-кхаракха... — приветствовал его дед. — Жив? По нынешним временам это самое главное. Хе-хе! Корешок твой с самой зари ждет, пока проснешься. — И дед очень

дружелюбно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподдельно покорно и серьезно смотревшего темными бархатными глазами заспанное, с маленькими скулами, и уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга.— То добрый у тебя корешок,— пружал дед.— Каждое утро, чуть свет, он уже тут: «Сережка при Сережка вернулся?» Сережка ему... кха-кха... один свет в окошечко с удовольствием говорил дед.

Так устами деда подтверждалась дружеская верность.

Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом. Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой — не потому, что он жалел Витьку тем более его родителей, а потому, что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать вступить в часть ему, Сережке. И Витька, до крайности огорченный и обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти — он вынужден был поклясться, что он ни своим родителям, ни сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки: этого требовало сережкино самодовольное бие на случай неудачи.

По тому, что говорил дед, ясно было, что Витька сдержал слово.

Сережка и Витька Лукьянченко сидели за мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном — одинокое большое здание недавно построенной и еще не пущенной в ход горячковой бани: Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями.

Из их товарищей по школе — оба они учились в школе имени Ворошилова — остались в городе Толя Орлов, Володя Осьмухин, Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела не свойственный образ жизни: никуда не выходила из дому, и нигде ее не было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив семь классов: она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке: Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке.

Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему: что у Игната Фомина скрывается незнакомый человек и все на Шанжаломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе Сеняков, там, где находились склады с боеприпасами, погреб, совершенно открытым, осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных, должно быть, в спешке.

Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать, но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровел и сказал, что обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Надя Тюленина, с той поры когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодаре появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала в военном

госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы.

Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался и большинство медицинских работников больницы, во главе со старшим врачом, тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка, и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей, работавшей в госпитале старшей сестрой.

Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати: на скуластеньком, с наведенными тонкими бровями, невзрачном лице Нади, так же как и на добром, мягком, морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое, глубокое выражение.

— Надя,— сминая в руках кепку и почему-то оробев перед сестрой, шопотом сказал Сережка,— Надя, надо же ребят выручать, ты же должна понимать... Мы бы с Витькой могли походить по квартирам, ты скажи Федору Федоровичу.

Надя некоторое время, раздумывая, молча смотрела на Сережку. Потом она недоверчиво покачала головой.

— Зови, зови врача или нас веди!— сказал Сережка помрачнев.

— Луша, дай хлопцам халаты,— сказала Надя.

Няня-сиделка, достав из крашенного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по прищичке, чтобы удобнее было попасть в рукава.

— А хлопчик правду говорит,— неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами.— Люди возьмут. Я б одного сама взяла. Кому ж не жалко ребят? А я одна, сыны на фронте, я да дочка. Живем на выселках. Немцы найдут, скажу:— сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали.

— Ты их не знаешь, немцев,— сказала Надя.

— Немцев, правда, не знаю, зато своих знаю,— быстро жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша.— Я вам укажу хороших людей на выселках.

Надя шла на ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих застарелых ран и несвежего белья, запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы.

Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие; некоторые на костылях слонялись по коридору; и на всех лицах, молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что и у Нади, и у няни Луши.

Едва шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой подымали головы, а те, что на костылях, без-

молвно, но тоже со смутным оживлением в лицах провожали глазами этих двух подростков в халатах и идущую впереди них с серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю.

Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора и Надя, не постучавшись, резким движением своей маленькой, точной руки распахнула ее.

— К вам, Федор Федорович,— сказала она, пропуская ребят.

Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им встал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый, с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами на загорелом, темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком,—старик был весь точно вырезан на меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и по тому, что он сидел в кабинете один, и по тому, что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и потому, что врач был уже не в военном, а в штатском в сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного у шеи халата, в серых брюках и в нечищенных, должно быть не своих, штиблетах.

Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша и как раненые в палатах, смотрел на мальчиков.

— Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам,— сказал Сережка, сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно.

— А примут?— спросил тот.

— Найдутся такие люди, Федор Федорович,— певучим голосом сказала Надя.— Луша — няня из больницы — согласна взять одного и еще обещала людей указать, и ребята могут поспросить, да и я им помогу, да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы, Тюленины, тоже взяли, да у нас помещения нету,— сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду.

— Позовите Наталью Алексеевну,— сказал Федор Федорович.

Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы, не выехавшим вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодоне, в восемнадцати километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничное имущество, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы.

Надя вышла.

Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полу халата, достал из кармана пиджака табакерку и сложенную, мятую старую газету, оторвал край газеты углом и, с необыкновенной быстротой действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул козью ножку, которую тут же набил махоркой из табакерки и закурил.

— Да, это выход,— сказал Федор Федорович и без улыбки посмотрел на ребят, смиренно сидевших на диване.

Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он — главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным и гордился за Сережку.

В кабинет, в сопровождении Нади, вошла маленькая женщина лет двадцати восьми, но казавшаяся ребенком оттого, что в ее личике, ручках, ножках было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться, а потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью в восемь человек, и теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в ученье, и этими же ручками она бесстрашно делала операции, которые не решались делать и врачамужчины постарше и с большим опытом, и на детском пухлом личике Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного, практического выражения, какому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения.

Федор Федорович встал ей навстречу.

— Не трудитесь, я все знаю,— сказала она, приложив пухлые ручки к груди жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить.— Я все знаю, и это, конечно, разумно,— сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования. Потом она снова взглянула на Федора Федоровича.— А вы?— спросила она.

Он сразу понял ее.

— Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я и им смогу помогать при всех условиях.— Все поняли, что под «ними» он подразумевал раненых.— Это возможно?

— Это возможно,— сказала Наталья Алексеевна.

— В вашей больнице меня не выдадут?

— В нашей больнице вас не выдадут,— сказала Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки.

— Спасибо. Спасибо вам,— и Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке Лукьянченко.

— Федор Федорович,— сказал Сережка, прямо глядя в лицо врачу своими твердыми, светлыми глазами, в которых стояло выражение: «Вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом».— Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и моего товарища Витю Лукьянченко, всегда. А связь с нами можно держать

вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от товарища моего, Вити Лукьянченко, что ваш поступок, что вы остались при раненых в такое время, ваш поступок мы считаем благородным поступком,— сказал Сережка, и лоб его вспотел.

— Спасибо,— сказал Федор Федорович очень серьезно.— Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее: у человека, к какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии, может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него или которых он вел и они надеялись на него, да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность. Повторяю, у людей решительно всех профессий, даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной — профессии врача, особенно врача военного. Врач должен находиться при раненых. Всегда. Что бы там ни было. Нет такой целесообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти; я не подчинился бы ему. Если бы товарищ Сталин сказал мне: «Принимая во внимание создавшееся положение, вам разрешается уйти» — я бы не ушел. Но он никогда не сказал бы этого, потому что он лучше всех понимает это. Он единственный человек на земле, который тоже при всех условиях не имеет права уйти, только он и военный врач... Спасибо, спасибо вам,— сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою точно вырезанную на меди, с лицом темного блеска, седую голову.

Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федора Федоровича, появилось торжественное выражение.

На совещании в вестибюле, совещании, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко и которое было самым коротким за последние четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И, уже не в силах сдерживать себя, ребята пулей вылетели из больницы, и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняли их существа до краев.

— Вот человек, это человек! Да?— сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга.

— Точно,— сказал Витька Лукьянченко и замигал.

— А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната Фомина! — вдруг без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, сказал Сережка.

— Как ты узнаешь?

— Я предложу ему принять в дом раненого.

— Продаст,— сказал Витька очень убедительно.

— Так я и сказал ему правду! Мне лишь бы в хату зайти,— и Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал — она будет осуществлена.

Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со склонившимися под окнами, толстыми, окружностью в сито, подсолнухами на отдаленной от рынка окраине Шанхая.

Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомина, не отпуская скобу двери, а другой рукой опершись о косяк и нагнув голову,— он был длинный, как червь,— с искренним любопытством смотрел на Сережку маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками.

— Вот спасибо,— сказал Сережка и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина, и уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомина, не успевший даже удивиться, двинулся за ним.

— Извиняйте, гражданин,— уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловочные, начищенные ваксой, сапоги,— длинный, с длинным благообразным лицом скопца, принявшим, наконец, удивленное и несколько даже гневающееся выражение.

— Что тебе надо?— спросил Игнат Фомина, приподняв редкие бровки, и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы стремясь расправиться.

— Гражданин!— неожиданно для самого себя и для Игната Фомина приняв позу члена конвента времен французской революции, с пафосом сказал Сережка.— Гражданин! Спасите раненого бойца!

Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились как кукольные.

— Нет, не я ранен,— сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этакый столбняк.— Бойцы отступали, оставили раненого прямо на улице, аkurat возле рынка. Мы с ребятами увидели, и прямо к вам.

На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу.

— Почему же, однако, прямо ко мне?— снизив голос до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в Сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо-сложное движение.

— К кому же, как не к вам, Игнат Семенович? Весь город знает, что вы у нас первый стахановец,— сказал Сережка, с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игната Фомина это отравленное копьё.

— Да ты чей?— все больше теряясь и приходя во все большее удивление, спросил Игнат Фомина.

— Я сын хорошо известного вам Прохора Любезнова, тоже стахановец,— сказал Сережка с тем большей решительностью, с чем большей вероятностью он знал, что никакого Прохора Любезнова не существует на свете.

— Прохора Любезнова я не знаю. И вот что, братец мой,— прядя в себя и суетливо и бестолково задвигав длинными руками, сказал Игнат Фомин,— у меня и места нет для твоего бойца, и жинка у меня больная, и ты, братец, тово... это...— Руки его, хотя и не вполне ясно, задвигались в сторону выходной двери.

— Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда всем известно, что у вас есть вторая комната,— с осуждением в голосе сказал Сережка, в упор глядя на Фомина прозрачными, детскими дерзкими глазами.

И Фомин не успел еще сделать движения или хотя бы испустить звук, как Сережка шагом, не очень даже торопливым, подошел к двери в соседнюю горницу, отворил дверь и вошел в эту горницу.

В этой горнице с полуприкрытыми ставенками, уставленной мебелью и фикусами в кадках, чистенькой и аккуратно прибранной, сидел у стола человек в одежде мастерового, с круглыми сильными плечами, крепкой крупной головой, стриженной, с проседью, и лицом в темных крапинах. Он поднял голову и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку.

И в то же мгновение Сережка понял, что перед ним сидит просто хороший, сильный и спокойный человек. И, поняв это, Сережка в то же мгновение дико и невероятно струсил. Да, ни одного грамма отваги не осталось в его орлином сердце. Он струсил настолько, что не мог сказать ни слова, не мог пошевелиться, а в это время в дверях показалось крайне разъяренное и испуганное лицо Игната Фомина.

— Обожди, кум,— спокойно сказал этот сидевший у стола неизвестный человек Игнату Фомину, нагнувшись к Сережке.— А почему же вы не отнесли этого раненого бойца, скажем, к себе домой?— спросил он Сережку.

Сережка молчал.

— Твой отец-то тут или эвакуировался?

— Эвакуировался,— весь заливаясь краской, сказал Сережка.

— А мать?

— Мать дома.

— Шо ж ты наперво до нее не пошел?

Сережка молчал.

— Хйба вона така жинка, шо не примет?

Сережка с ужасным чувством в душе кивнул головой. С того момента, как игра кончилась, за словами «отец», «мать» он видел уже действительных отца и мать своих, и было мучительно стыдно говорить о них такую подлую неправду.

Но человек этот, видно, верил Сережке.

— Так,— сказал он, рассматривая Сережку.— Игнат Семенович казав тебе правду, шо вин того бойца принять не может,— сказал он раздумывая.— Но ты такого человека найдешь, шо примет. То дело доброе. То ты молодец,—я так тебе скажу. Поищи и найдешь. Только то дело секретное, ты к случайным людям не ходи. А коли нигде не примут, придешь до меня. А коли примут—не приходи, лучше дай мне сейчас свой адресок, чтобы я мог тебя найти при случае.

И здесь Сережке пришлось расплатиться за свое озорство самым для него обидным и огорчительным способом. Именно теперь, когда

Серееккe очень бы хотелось сказать этому человеку свой настоящий адрес, он вынужден был тут же на ходу придумать первый попавшийся адрес и этой своей ложью уже навсегда отрезать для себя возможность общения с этим человеком.

Сереекка вновь очутился на улице. Он был растерян и смущен. Не было никакого сомнения в том, что человек, который прятался у Игната Фомина, был настоящий, большой человек, и вряд ли можно было сомневаться в том, что Игнат Фомин был, по меньшей мере, человек неважный. Но они, несомненно, были связаны друг с другом. В этом было что-то необъяснимое, а ясно было одно, что он, Сереекка, непростительно заврался и напутал. И у Сереекки стало нехорошо на душе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В тот же день, когда Матвей Шульга покинул домик Осьмухиных, он направился на окраину Краснодона, называвшуюся по старинке «Голубятники», к своему другу по прежнему партизанству — Ивану Кондратовичу Гнатенко.

Эта окраина, как и многие районы Краснодона, была уже застроена стандартными домиками, но Матвей Костиевич знал, что Кондратович попрежнему живет в принадлежащем ему маленьком деревянном домике, одном из тех старинных домиков, по которым окраина и получила название «Голубятников».

На стук в оконце показалась в дверях похожая на цыганку, довольно еще молодая, но очень обрюзгая и запущенная, хотя одета она была не бедно, женщина. Костиевич сказал, что он здесь проходом и ему нужен Иван Кондратович, — он просит старика, если это возможно, выйти к нему на улицу поговорить.

И тут, за этим домиком, в степи, где они спустились в низинку, чтобы не маячить на юру, — под звуки отдаленной артиллерийской канонады, которая в тот день была еще слышна, состоялась встреча Матвея Шульги и Ивана Гнатенко.

Иван Гнатенко, или запросто Кондратович, был одним из потомков тех поколений шахтеров, которые по праву могли считать себя основателями донецких рудников. И дед, и отец его выходцы с Украины, и сам Кондратович, — это были настоящие, милостью божией шахтеры-коренники, построившие Донбасс, хранители шахтерской славы и традиций, та шахтерская гвардия, о которую сломали себе зубы в Донбассе немецкая интервенция и белое движение в 1918—1919 годах.

Это был тот самый Кондратович, который вместе со своим директором Андреем Валько и Григорием Ильичем Шевцовым взорвал шахту № 1-бис.

Вот какой разговор произошел у него с Матвеем Костиевичем в этой низинке в степи, под солнцем, уже склонявшимся к вечеру.

— Знаешь ли ты, Кондратович, зачем я пришов до тебе?

— Не знаю, а догадываюсь, Матвей Константинович, — печально сказал Кондратович, не глядя на Шульгу.

Степной ветерок, врывающийся в низинку, косо, в один бок относил полы залатанной дедовских времен куртки, висевшей, как на кресте, на высохшем теле старика.

— Я оставлен тут для работы, як у осьмнадцатом роки, с тем и приишов до тебе,— сказал Костиевич.

— Вся моя жизнь — твоя, что ты знаешь, Матвей Константинович,— низким, хриплым голосом сказал Кондратович, не глядя на Шульгу.— Но я не могу принять тебя в дом, Матвей Константинович.

То, что сказал Кондратович, было так неожиданно и невозможно, что Матвей Костиевич даже не нашелся, что ответить, и замолчал. И Кондратович тоже молчал.

— Правильно я понял тебя, Кондратович,— ты отказываешься принять меня в дом? — вдруг перейдя на чистый русский язык, тихо спросил Шульга, боясь взглянуть на старика.

— Я не отказываюсь, я не могу,— печально сказал старик.

Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг на друга.

— Ты давал согласие? — с закипающим в сердце гневом спросил Костиевич.

Старик опустил голову.

— Ты же знал, на что идешь?

Старик молчал.

— Ты понимаешь, что ты нас вроде предал?

— Матвей Костиевич...— страшно низко и хрипло и с угрозой точно пролаял старик.— Не говори такого, чего нельзя поправить.

— А чего мне бояться?— со злобой сказал Шульга и посмотрел прямо в высохшее, с редкой, будто выщипанной, прокуренной бородкой лицо Кондратовича, и воловьи глаза Шульги налились кровью.— Чего мне бояться? Страшней того, что я слышу, не може буты!

— Обожди...— Кондратович поднял голову и когтистой рукой своей с изуродованными черными ногтями взял Матвея Костиевича за локоть.— Веришь ты мне?— спросил он печально и низко, на самых страшных низах своего голоса.

Шульга хотел что-то сказать, но старик крепко сдавил ему локоть и, глядя на него пронзительными запавшими глазами, сказал почти умоляюще:

— Обожди... послухай...

Теперь они смотрели прямо в глаза друг другу.

— Я не могу принять тебя в дом, бо я своего старшего сына боюсь. Боюсь, продаст — хриплым шопотом сказал старик, приблизив свое лицо к лицу Матвея Костиевича.— Помнишь, ты был у нас в двадцать седьмом? То последний раз ты был у нас, как мы со старухой справляли двадцать пять лет нашей жизни, серебряную нашу свадьбу. Всех моих ребят ты, видно, не помнишь, да и не обязан,— усмехнулся старик,— а старшего должен помнить еще по восемнадцатому году...

Шульга молчал.

— Вот он у меня свихнулся,— хриплым шопотом сказал Кондратович.— Помнишь, он тогда, в двадцать седьмом, уже был без руки?

Шульга смутно помнил насупленного, медлительного, малоразговорчивого подростка, которого он видел у Кондратовича в восемнадцатом году. Но кто из окружавших Шульгу в двадцать седьмом году на квартире у Кондратовича молодых людей был когда-то этим подростком, а кто из них был без руки, этого уже Шульга не помнил. Он с

удивлением поймал себя на том, что он вообще плохо помнит тот вечер. Должно быть, он пошел тогда к Кондратовичу немножко по обязанности, и этот вечер затерялся среди многих схожих вечеров, проведенных так же, по обязанности, среди других людей, при других обстоятельствах.

— Руку ему на заводе оторвало в Луганске...— Кондратович употребил старое название Ворошиловграда, и из этого Шульга понял, что это дело давнишнее.— Он до дому вернулся на наше иждивение. Научкам учить его поздно было, да мы сразу и не додумали, а профессия сходной, по возможностям своим, он не достал и свихнулся. Стали попивать на отцовы деньги, то есть на мои, а я его жалел. Замуж за него никто не шел, с того он еще пуще загулял. А в тридцатом свалилась на него вот эта цаца, что ты видел, обкрутила его, и пошли у них дела темные. Стала она вроде тайной шинкарки, занялись они спекуляцией и — тебе, как на духу — не гнушаются и краденое скупают. Поначалу я его жалел, а потом стал бояться позору. Мы со старухой так и решили — будем молчать. И молчали. И перед детьми родными молчали. И молчим... Его при советской власти два раза судили, — надо бы ее, да он всякий раз вину на себя. Ну, знаешь, судьи знают: я старый партизан, знатный забойщик, человек знаменитый, — один раз ему порицание, другой — условно. А он с каждым годом все злее. Веришь ты мне? Как же я могу тебя в дом принять? Он, может, чтобы ему дом достался, и нас со старухой продаст! — И Кондратович, стыдясь, отвернулся от Шульги.

— Но как же ты, зная это, мог дать согласие? — с волнением сказал Шульга, вглядываясь в острое, как нож, лицо Кондратовича, не зная, верить ли ему, или не верить, и вдруг с отчаянием ловя себя на том, что он потерял в душе всякие критерии, каким людям можно, а каким нельзя верить в тех условиях, в каких он очутился.

— Но как же я мог отказаться, Матвей Константинович? — с тоской в голосе сказал Кондратович. — Ты же только подумай: я, Иван Гнатенко, и вдруг — отказаться. Позор-то какой? Ведь этот разговор-то когда был? Говорили так: может, и не придется, ну, а если придется, согласен? Ведь он вроде совесть мою проверил, а я бы ему вдруг про сына. Я бы вроде и сам увильнул и сына — под тюрьму. А ведь он мне сын!.. Матвей Константинович! — вдруг с предельной силой отчаяния сказал старик. — Я весь твой, на что угодно. Ты знаешь характер мой — молчок до гроба, а смерти я не боюсь. Ты мною располагай, как собою. Я тебе найду, где укрыться, я людей знаю, я верных людей найду, ты мне верь. Я ведь и тогда в райкоме так подумал: сам я на все готов, а насчет сына я, как человек беспартийный, тут в райкоме говорить не обязан, значит, совесть моя чиста... Мне, главное, чтобы ты мне верил... А квартиру я тебе найду, — говорил Кондратович, не замечая того, что в голосе у него появились даже нотки заискивания.

— Я тебе верю, — сказал Матвей Костиевич. Но он сказал не совсем правду: он верил и не верил. Он сомневался. А сказал он так потому, что это было выгоднее ему.

Лицо старика вдруг все изменилось, он сразу размяк, опустил голову, и некоторое время молча сопел.

А Шульга стоял и смотрел на него и взвешивал все, что Кондрато-

вич сказал ему, переключая то одно, то другое с одной чашки весов на другую. Конечно, он знал, что Кондратович свой человек. Но Шульга не знал, как жил Кондратович целых пятнадцать лет, и каких лет,— когда совершались самые большие и острые дела в стране. И то, что Кондратович укрывал своего сына от власти, укрыв его даже в самую ответственную минуту жизни и пошел на ложь в таком насущном деле, как возможность использования его квартиры в немецком подполье,— все это перевешивало чашку весов за то, что нельзя целиком довериться Кондратовичу.

— Ты здесь пока посиди или полежи, я тебе поесть вынесу,— хриплым шопотом говорил Кондратович,— а я тут сбегая в одно место, и все как есть наладим.

Одно мгновение, и Матвей Костиевич чуть было не поддался тому, что предлагал ему Кондратович, но тут же внутренний голос, который он считал не просто голосом осторожности, а голосом жизненного опыта, сказал ему, что не надо поддаваться чувству.

— Чего ж ходить, у меня не одна квартира на примете, я найду собі мисто,— сказал он,— а покушать—я потерплю: хуже будет, коли та самая чортова баба да сын твой чего-нибудь такое подумают недоброе.

— То тебе виднее,—с грустью сказал Кондратович.— А все ж ты на меня, старика, креста не клади, я тебе сдюжусь.

— То я знаю, Кондратович,—сказал Шульга, чтобы утешить старика.

— И коли ты мне веришь, ты мне скажи, к кому ты идешь. Я тебе заодно скажу, добрый ли тот человек и стоит ли к нему идти, и буду, в случае чего, знать, где искать тебя..

— Сказать, куда я иду, того я тебе сказать не имею права. Ты сам старый подпольщик и конспирацию знаешь,—сказал Шульга с хитрой улыбкой.— А человек, до кого я иду, то человек мне известный.

Кондратовичу хотелось сказать: ведь вот и я человек тебе известный, а видишь, сколько оказалось неизвестного, и лучше уж тебе теперь посоветоваться со мной. Но он застыдился сказать так Матвею Костиевичу.

— То тебе виднее,—мрачно сказал старик, окончательно поняв, что Шульга ему не верит.

— Шо ж, Кондратович, пошли!—сказал Костиевич с деланной бодростью.

— То тебе виднее,—в задумчивости повторил старик, не глядя на Матвея Костиевича.

Он повел было Костиевича по улице мимо своего дома. Но Шульга остановился и сказал:

— Ты меня лучше задами выведи, не то увидит еще эта твоя.. цаца,—и он усмехнулся.

Старик было хотел сказать ему: «А коли ты знаешь конспирацию, то сам должен понимать, что тебе лучше уйти так же, как ты пришел,—кому же придет в голову, что ты приходил к старику Гнатенко по подпольному делу». Но он понимал, что ему не верят и что говорить бесполезно. И он задами вывел Матвея Костиевича на одну из соседних улиц. Там, у угольного сарайчика, они остановились.

— Прощай, Кондратович,— сказал Шульга, и у него так защемило на сердце, краше в гроб лечь.— Я еще найду тебя.

— То как тебе будет угодно,— сказал старик.

И Шульга пошел по улице, а Кондратович еще некоторое время стоял у этого угольного сарайчика, глядя вслед Шульге, высохший, голенастый, и обвисшей на нем, как на кресте, старинного покроя куртке.

Так Матвей Шульга сделал второй шаг навстречу своей гибели.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В то время, когда Матвей Шульга один сидел в полутемной горнице в мазанке у Фомина, не зная ни того человека, у которого сейчас находился, ни тех людей, среди которых ему предстояло работать, Сережка Тюленин, и его друг Витька Лукьянченко, и его сестра Надя, и старая сиделка Луша в течение нескольких часов нашли в разных частях города более семидесяти квартир для раненых. И все-таки около сорока раненых не были размещены: ни Сережка с Надей, ни тетя Луша, ни Витька Лукьянченко, ни те, кто помогал им, не знали, к кому еще можно было бы обратиться с этой просьбой, и не хотели рисковать провалом всего дела.

Странный был этот день — такие бывают только во сне. Отдаленные звуки проходящих по дорогам через город частей и беженцев, грохот боев в степи прекратились еще вчера. Необыкновенно тихо было и в городе и во всей степи вокруг. Ждали, что в город вот-вот войдут немцы,— немцы не приходили. Здания учреждений, магазинов стояли открытые и пустые, никто в них не заходил. Предприятия стояли молчаливые, тихие и тоже пустые. На месте взорванных шахт все еще сочился дымок. В городе не было никакой власти, не было милиции, не было торговли, не было труда — ничего не было. Улицы были пустынные, выбежит одинокая женщина к водопроводному крану или колодцу или в огород, — сорвать два-три огурца, и опять тихо, и нет никого. И трубы в домах не дымили, — никто не варил обед. И собаки притихли оттого, что никто посторонний не тревожил их покоя. Только кошка иногда перебежит через улицу, и снова пустынно.

Раненых размещали по квартирам в ночь на 20 июля, но Сережка и Витька уже не принимали в этом участия. В эту ночь они перетаскали из склада в Сеняхах бутылки с горючей жидкостью на Шанхай и зарыли их в балке под кустами, а по нескольку бутылок каждый закопал у себя в огороде, чтобы в случае надобности бутылки всегда были под руками.

Куда же все-таки девались немцы?

Рассвет застал Сережку в степи за городом. Солнце вставало за розовато-серой дымкой, большое, круглое, можно было смотреть на него. Потом край его высунулся над дымкой, расплавился, и миллионы капель росы брызнули по степи каждая своим светом, и темные конусы терриконов, то там, то здесь выступавшие над степью, окрасились в розовое. Все ожило и засверкало вокруг, и Сережка почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя гуттаперчевый мячик, пущенный в игру.

Езженная дорога шла вдоль железнодорожной ветки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги проложены были по возвышенности, от которой отходили в обе стороны небольшие отрожки, разделенные балками, постепенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые отрожки и неглубокие балки между ними поросли кудрявым леском, кустарником. Вся эта местность носила название Верхнедуванно-рощи.

Солнце, сразу начавшее калнть, быстро подымалось над степью. Оглядываясь вокруг, Сережка видел почти весь город, раскинувшийся по холмам и низинам неравномерно, узлами, большие возле шахт, с их выделяющимися наземными сооружениями, и вокруг зданий районного исполкома и треста «Краснодонуголь». Кроны деревьев на отрожках ярко зеленели на солнце, а на дне заросших балок еще лежали прохладные утренние тени. Рельсы, сверкая на солнце, сливаясь, уходили вдаль и исчезали за дальним холмом, из-за которого медленно восходил к небу круглый беленький мирный дымок,— там находилась станция Верхнедуванная.

И вдруг на гребне этого холма, в той точке, где как бы кончалась езженная дорога, возникло темное пятно, которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде узкой темной ленточки. Через несколько секунд эта ленточка отделилась от горизонта,— что-то продолговатое, компактное, темное стремительно двигалось издалека навстречу Сережке, оставляя позади себя конус рыжей пыли. И еще раньше чем Сережка мог рассмотреть, что это такое, он понял по наполнившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоциклистов.

Сережка юркнул в кусты ниже дороги и стал ждать, лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа, как нараставший стрекот моторов наполнил собой все вокруг, и мимо Сережки, видные ему только верхней частью корпуса, промчались немецкие мотоциклисты-автоматчики,— их было более двадцати. Они были в обычном грязно-сером обмундировании немецкой армии, в пилотках, но глаза, лоб и верхнюю часть носа закрывали им громадные, темные, выпуклые очки, и это придавало этим людям, внезапно возникшим здесь, в донецкой степи, фантастический вид.

Они доехали до окраинных домиков, застопорили машины и, соскочив с машин, рассыпались по сторонам; у машин осталось трое или четверо. Но не прошло и десяти минут, как все мотоциклисты один за другим вновь сели на машины и помчались в город.

Сережка потерял их из виду за домами в низине, но он знал, что если они едут в центральную часть города, к парку, им не миновать хорошо видимого отсюда подъема дороги за вторым переездом, и Сережка стал наблюдать за этим подъемом дороги. Четверо или пятеро мотоциклистов веером взнеслись на этот подъем, но не проследовали в парк, а свернули к той группе зданий на холме, где находились здания районного исполкома и «бешеного барина». Через несколько минут мотоциклисты промчались обратно к переезду, и Сережка вновь увидет весь отряд среди окраинных домов,— отряд возвращался на Верхнедуванную. Сережка пал ниц между кустами и уже не поднимал головы, пока отряд не промчался мимо него.

Он перебрался на поросший деревьями и кустами отрожек, выдвинутый в сторону Верхнедуванной, откуда видна была вся местность впере-

дни. Здесь пролежал он несколько часов под деревом. Солнце, передвигавшееся по небу, вновь и вновь находило Сережку и начинало так припекать, что он все время уползал от него по кругу — за тенью.

Пчелы и шмели гудели в кустах, собирая июльского настоя нектар с поздних летних цветов и прозрачную липкую падь с листьев деревьев и кустарников, образуемую на обратной стороне листьев травяными тлями. От листвы и от травы, которая пышно разрослась здесь, в то время как на всем пространстве степи она уже сильно выгорела, тянуло свежестью. Иногда чуть-чуть повеял ветерок и шелестел листвою. Высоко-высоко в небе стояли мелкие курчавившиеся, очень яркие от солнца, барашки облачков.

И такая истома сковывала все его члены, ложилась на сердце, что временами Сережка забывал, зачем он здесь. Тихие и чистые ощущения детских лет приходили ему на память, когда он так же, закрыв глаза, лежал в траве где-нибудь в степи, и солнце так же калило его тело, и так же гудели вокруг пчелы и шмели, и пахло горячей травой, и мир казался таким родным и прозрачным, и вечным. И снова в ушах раздавался стрекот моторов, и он видел этих мотоциклистов в неестественно огромных очках, на фоне голубого неба, и он вдруг понимал, что никогда-никогда уже не вернутся тихие, чистые ощущения детских лет, эти ранние, неповторимые дуновения счастья. И у него то больно и сладко щемило на сердце, то все существо снова захлестывалось жестокой жаждой боя, кипевшей в его крови.

Солнце стояло уже после полудня, когда из-за дальнего холма снова высунулась по дороге длинная темная стрела и сразу густо взвилась пыль на горизонте. Это были опять мотоциклисты, их было много — длинная, нескончаемая колонна. За ними пошли машины, сотни, тысячи грузовых машин в колоннах, в промежутках между которыми двигались легковые машины командиров. Машины все выкатывались и выкатывались из-за холма. Длинная, толстая, зеленая, отблескивающая на солнце чешуей змея, извиваясь, все вытягивалась и вытягивалась из-за горизонта, — голова ее была уже недалеко от того места, где лежал Сережка, а хвоста еще не видно было. Пыль валом стояла над шоссе, и рев моторов, казалось, заполнял все пространство между землей и небом.

Немцы шли в Краснодар. Сережка был первый, кто их увидел.

Скользящим движением, как кошка, он не то прополз, не то проскочил, не то перелетел через еженную дорогу, потом через железную и бегом ударил вниз по балке, уже по другую сторону возвышенности, где его нельзя было увидеть с хода немецкой колонны за железно-дорожной насыпью.

Сережка придумал весь этот маневр, чтобы успеть раньше немцев достигнуть города и занять в самом городе наиболее выгодный наблюдательный пункт, — на крыше школы имени Горького, расположенной в городском парке.

Пустьрем возле выработанной шахты он выбежал на зады той самой улицы за парком, которая со стародавних времен сохранилась в своем первоизданном виде, отдельно от города, и носила в просторечии название «Деревянная».

И здесь он увидел нечто настолько поразившее его воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшумно скользил вдоль заборов,

огораживавших обывательские садики, выходящие на зады Деревянной улицы, и в одном из этих садиков увидел ту самую девушку, с которой позапрошлой ночью судьба свела его в степи на грузовике.

Девушка, расстелив на траве под акациями темный в полоску плед и подмостив под голову подушку, лежала шагах в пяти от Сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях, и, невзирая на происходящие вокруг события, читала книгу. Одна из ее толстых русых, золотящихся кос покойно и свободно раскинулась по подушке, оттеняя загорелое лицо ее с темными ресницами и самолюбиво приподнятой верхней полной губой. Да, в то время, когда тысячи машин, наполнив ревом моторов и бензиновой гарью все пространство между степью и небом, — целая немецкая армия, — двигались на город Краснодар, девушка лежала на пледе в садике и читала книгу, придерживая ее обеими загорелыми, покрытыми пушком, руками.

Сережка, сдерживая дыхание, со свистом вырывавшееся из груди, держась обеими руками за планки забора, несколько мгновений, ослепленный и счастливый, смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой книгой в саду, в один из самых ужасных дней существования мира.

С отчаянной отвагой Сережка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, и ее глаза в темных ресницах с выражением спокойным, удивленным и радостным остановились на Сережке.

В ту ночь, когда Мария Андреевна Борц привезла ребят из Беловодского района в Краснодар, вся семья Борц — сама Мария Андреевна, ее муж, старшая дочь Валя и младшая дочь Люся, двенадцати лет — не спала до рассвета.

Они сидели при свете керосинового ночника — электростанция, дававшая свет городу, не работала с семнадцатого числа — сидели друг против друга за столом, как будто в гостях. Новости, которыми они обменялись, были несложны, но так страшны, что о них невозможно было говорить вслух в этой тишине, которая стояла в доме, на улице, во всем городе. Ехать куда-либо было уже поздно. Остаться было ужасно. Все они, даже Люся, девочка с такими же, как у сестры, золотистыми, но еще более светлыми волосами и большими серьезными глазами на побледневшем личике, чувствовали, что произошло нечто настолько непоправимое, что ни разум, ни чувства еще не в силах охватить размеры бедствия.

Отец был жалок. Он все вертел сигарки из дешевого табака и курил. Детям уже трудно было представить себе то время, когда отец казался воплощением силы, опорой, защитой семьи. Он сидел худой, маленький. У него всегда было слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул и уже с трудом готовился к урокам. Он, как и Мария Андреевна, преподавал литературу, и тетрадки его учеников часто просматривала за него жена. При свете ночника он ничего не видел, его глаза, какого-то египетского разреза, смотрели не мигая.

Все вокруг было такое привычное, знакомое с детства, и все было другое. Обеденный стол, накрытый цветной скатертью, пианино, на котором Валя играла каждый день свои пьески, буфет с стеклянными дверцами, за которыми симметрично была расставлена простая, со вкусом

то добрая посуда, открытый шкаф с книгами — все это было такое же, как всегда, и все было чужое. Многочисленные поклонники Вали же, как всегда, что в доме у Борц уютно и романтично, и Валя знала, что это она, девушка, живущая в этом доме, делает романтичным все, что окружает ее. И вот все это стояло перед нею, точно обнаженное.

Им было страшно потушить свет, разойтись, остаться каждому в своей постели наедине со своими мыслями и ощущениями. И так они молча сидели до самого рассвета, — одни часы тикали. Только когда слышно стало, как соседи набирают воду из крана в водонапорной башне наискосок от их домика, они потушили лампу, открыли ставни, и Валя, нарочно производя как можно больше шума, разделась и заснула. Заснула и Люся. А Мария Андреевна с мужем так и не легли спать.

Валя проснулась будто от толчка. В столовой мать и отец тихо побрякивали чайной посудой — Мария Андреевна все-таки поставила самовар. Солнце било в окна. И Валя с внезапным брезгливым чувством вспомнила это ночное сидение. Унизительно и ужасно было так опуститься.

В конце концов какое ей дело до немцев? У нее своя духовная жизнь. Пусть кто хочет изнывает от ожидания и страха, но не она, нет.

Она с наслаждением вымыла волосы горячей водой и напилась чаю. Потом она взяла из шкафа томик Стивенсона с «Похищенным» и «Катрионой» и, расстелив в саду под акацией плед, погрузилась в чтение.

Тихо было вокруг. Солнце лежало на запущенной клумбе с цветами и на травянистой лужайке. Коричневая бабочка сидела на цветке и то распускала, то сдвигала крылышки. Земляные пчелы, мохнатые, темные, с белыми широкими, пушистыми полосами вокруг брюшка, сновали с цветка на цветок, сладко гудели. Старая, многоствольная и многоветвистая акация бросала тени вокруг. Сквозь листву, местами начавшую желтеть, виднелись акваариновые пятна неба.

И этот сказочный мир неба, солнца, зелени, пчелок и бабочек причудливо переплетался с другим, вымышленным, миром книги, миром приключений, дикой природы, человеческой отваги и благородства, чистой дружбы и чистой любви.

Иногда Валя откладывала книгу и мечтательно долго смотрела в небо между ветвей акации. О чем мечтала она? Она не знала. Но, боже мой, как хорошо было одной лежать вот так в этом сказочном саду с раскрытой книгой!

«Наверно, все уехали, успели, — вспоминала она о школьных товарищах своих, — и Олег, наверно, уехал. Она была дружна с Кошевым, так же как были дружны их родители. «Да, все забыли ее, Валю. Олег уехал. И Степка не идет. Тоже друг. «Клянусь!» Вот болтун! Наверно, если бы тот парень, что вскочил тогда в грузовик, — как его... Сергей Тюленин... Сережа Тюленин, — если бы тот парень поклялся, он бы сдержал свое слово...»

И она уже представляла себя на месте Катрионы, а герой, похищенный, полный отваги и благородства, представлялся ей тем парнем, что впрыгнул ночью в машину. Чувствовалось, что у него жесткие волосы, ей так хотелось их потрогать. «А то что за мальчишка, если волосы у него мягкие, как у девчонки, у мальчишки волосы должны быть»

жесткие... Ах, если бы они никогда не пришли, эти немцы!» — думала она с невыразимой тоской. И снова погружалась в вымышленные книги и облитого солнцем сада с земляными мохнатыми пчела и коричневой бабочкой.

Так провела она весь день и на другое утро снова взяла подушку и томик Стивенсона и ушла в сад. Так она и будет теперь, в саду под акацией, что бы там ни происходило на свет.

К сожалению, такой образ жизни был недоступен ее родителю. И Мария Андреевна не выдержала. Она была женщина шумная, ровная, подвижная, с полными губами, крупными зубами, громким голосом. Нет, так жить нельзя. Она привела себя в порядок перед зеркалом и пошла к Кошевым узнать, в городе они или выехали.

Кошечные жили на Садовой улице, упиравшейся в главные ворота парка, и занимали половину стандартного каменного домика, предположенную трестом «Краснодонуголь» дяде Олегу, Николаю Николаевичу Ростылеву, или дяде Коле. В другой половине домика жил с семьей ректор школы имени Горького, учитель Саплин, сослуживец Мария Андреевна.

Одинокий стук топора разбился по Садовой улице, и Мария Андреевна показала, что стук этот доносится из двора Кошевых. У нее забилось сердце, и, перед тем как войти во двор, она огляделась: видит ли кто-нибудь, как будто она совершала поступок опасный и незаконный.

Черный лохматый пес, лежавший у крыльца с высунутым от жары красным языком, приподнялся было на стук каблуков Марии Андреевны, но, узнав ее, виновато взглянул на нее, — извини, мол, жара, не имею даже сил, чтобы вильнуть тебе хвостом, — и снова опустился на землю.

Бабушка Вера Васильевна, худая, высокая, жилистая, колотила дрова высоко заноса колун костлявыми длинными руками и опуская его с такой силой, что воздух с хеканьем и свистом вылетал из бабушкиной груди. Как видно, она еще не жаловалась на поясницу, а может быть считала, что клин клином вышибают. Лицо у бабушки было силы загорелое, темное, худое, нос тонкий, с трепещущими ноздрями, — профиль она всегда напоминала Марии Андреевне Данте Алигьери, изображение которого Мария Андреевна видела в дореволюционном многократном издании «Божественной комедии». Выщипанные кольцами седоватые темнокаштановые волосы обрамляли смуглое лицо бабушки и падали ей на плечи. Обычно бабушка носила очки в черной тонкой роговой оправе, приобретенные так давно, что одна из держалок, которые ее держат за уши, отломилась просто от времени и была прикручена к оправе черной ниткой. Но в эту минуту бабушка была без очков.

Она работала с особенной — удвоенной, утроенной энергией, — поленья с грохотом летели во все стороны. Выражение лица и всей фигуры бабушки было примерно такое: «Чорт бы побрал этих немцев и чорт бы побрал вас всех, коли вы бонтесть немцев! Я лучше буду колотить эти дрова... крах... крах... И пусть эти поленья, чтобы чорт их побрал, летят во все стороны! Да, я лучше буду греметь этими поленьями, чем допущу себя до вашего униженного состояния. А если мне за это суждено погибнуть, то чорт меня побери, я уже старая и смерти не боюсь... крах... крах...»

И бабушка Вера, увязив колун в сучковатой чурке, вдруг развернулась всей чуркой через плечо, да как трахнула об обушок,— чурка так и брызнула на две половинки, одна из которых едва не сшибла Марию Андреевну с ног.

Благодаря этому обстоятельству бабушка Вера увидела Марию Андреевну, прижмурилась, узнала ее и, отбросив колун, сказала своим громким голосом, который разнесся, казалось, по всей улице:

— А, Марня, чи-то — Марья Андреевна! Ото дило, ото добре, шо зашла, не погнушалась! А то вже дочка моя, Лена, третьи сутки учкнулась у подушку и реве, як та белуга. Я ей кажу: да сколько ж слез в тебе? Заходьте, будьте ласковы...

Марья Андреевна одновременно и испугалась ее громкого голоса, и он как-то обнадежил ее,— ведь она сама любила говорить громко. Но все-таки она спросила тихо и с опаской:

— А Саплины уехали?

— Сам десь уихав, а семья туточки, и тоже ревать. Може поснидаете со мною? Я такой борщ сварила с бураками, та никто не хочет исты.

Нет, она, как всегда, была на высоте, бабушка Вера, бобылка. Она была дочерью сельского столяра, родом из Полтавской губернии. Муж ее, уроженец Киева, мастеровой-путиловец, после первой мировой войны, с которой он пришел сильно израненный, осел в их селе. Но, будучи замужем, бабушка Вера вышла на самостоятельную дорогу, была делегаткой на селе, работала в комнезаме, потом поступила на службу в больницу. И смерть мужа не сломила ее, а еще больше развила в ней эту черту самостоятельности. Теперь она уже, правда, не служила, а жила на пенсии, но еще и сейчас могла, в случае нужды, подать свой властный голос. Бабушка Вера уже лет двенадцать как была партийной.

Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниз лицом в измятом цветастом платье, с голыми ногами, и ее светлорусые пышные косы, которые в обычное время увенчивали ее голову большой замысловатой прической, теперь не уложенные, прикрывали едва не до пят все ее маленькое, с развитыми формами молодой, красивой и сильной женщины тело.

Когда бабушка Вера и Марья Андреевна вошли в горницу, Елена Николаевна оторвала от подушки заплаканное скуластое лицо с добрыми, умными, мягкими по выражению, опухшими глазами и, вскрикнув, кинулась к Марии Андреевне в объятия. Они обнялись, припали друг к другу, поцеловались, заплакали, потом засмеялись. Они рады были, что в эти страшные дни они могли так относиться друг к другу, так понимать и разделять общее горе. Они плакали и смеялись, а бабушка Вера, уперев жилистые руки в бока, качала своей кудрявой головой Данте Алигьери и все повторяла:

— От дурные, так то дурные, то плачуть, то сміюгься. Сметься вроде нема с чога, а наплакаться мы ще успеем уси...

И в это время до слуха женщин донесся с улицы странный нарастающий шум, будто рокот множества моторов, сопровождаемый злобным и тоже нарастающим надрывным лаем; похоже было, что по всему городу взбесились собаки.

Елена Николаевна и Мария Андреевна отпустили друг друга. И бабушка Вера опустила руки, и ее смуглое худое лицо побледнело. Состояли так несколько мгновений, не смея дать себе отчет в том, что это за звуки, но они уже знали, что это за звуки. И вдруг втрое — первая бабушка, за ней Мария Андреевна, за ней Елена Николаевна — выбежали в палисадник и, не сговариваясь, чутьем понимая, как это нужно сделать, побежали не к калитке, а между гряд, сквозь подсолнухи, к кустам жасмина, высаженного вдоль забора.

Шум множества машин, разрастаясь, доносился из нижней части города. Колеса машин уже погромыхивали по помосту, где-то на втором переезде, не видном отсюда. И вдруг в конце улицы, на въезде, показалась серая легковая машина без верха и, ослепительно отражаясь стеклом на извороте солнце, небыстро покатила по улице к стоящим у кустов жасмина женщинам. В машине прямо, строго, неподвижно сидели военные в сером, в серых фуражках с высоко поднятой передней частью тульи.

За этой машиной двигалось еще несколько легковых машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за другой небыстро катили сюда, к парку.

Елена Николаевна, не спуская глаз с этих машин, вдруг лихорадочными движениями маленьких с чуть утолщенными суставами пальцев рук подхватила одну, потом другую косу и стала обкручивать их вокруг головы. Она сделала это очень быстро, совершенно машинально и, обнаружив, что у нее нет с собой шпилек, продолжала стоять на месте и смотреть на улицу, придерживая косы на голове обеими руками.

А Мария Андреевна, издав легкий вскрик, бросилась от кустов жасмина, за которым она стояла, не к калитке на улицу, а обратно к дому. Она обежала дом с того края, где жили Сапины, и вторично калиткой, от Сапиных, выбежала на улицу, параллельную той, по которой шли немцы. Эта улица была пуста и этой улицей Мария Андреевна побежала домой.

— Прости, я уже не имею сил тебя подготовить... Мужайся... Тебе надо немедленно спрятаться... они могут вот-вот хлынуть на нашу улицу! — говорила Мария Андреевна мужу.

Она задыхалась, прикладывала руку к сердцу, но, как все здоровые люди, она была такая красная и потная от бега, что этот внешний вид ее волнения не соответствовал страшному смыслу того, о чем она говорила.

— Немцы? — тихо сказала Люся с таким недетским выражением ужаса в голосе, что Мария Андреевна вдруг смолкла, взглянула на дочь и растерянно повела глазами вокруг.

— Где Валя? — спросила она.

Муж Марии Андреевны стоял с бледными губами и молчал.

— Я расскажу, я все видела — необыкновенно тихо и серьезно сказала Люся. — Она читала в саду, а какой-то мальчик, уже взрослый, перескочил через забор. Она лежала, а потом села, и они все разговаривали, а потом она вскочила, и они перелезли через забор и побежали.

— Куда побежали? — с остановившимися глазами спросила Мария Андреевна.

— К парку... Плед остался, и подушка, и книжка. Я думала, что она сейчас вернется, вышла и стала караулить, чтобы не украли, а она не вернулась, и я все домой унесла.

— Боже мой! — сказала Мария Андреевна и грузно опустилась на пол.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

А бабушка Вера и Елена Николаевна все стояли в кустах жасмина и смотрели, как, наполняя собой и своим грохотом улицу, взрывывая на въезде, выползали одна за другой, громадные, высокие, длинные грузовые машины, в которых рядами, в куртках серого цвета, в серых грязных пилотках, потные, загорелые, пыльные, сидели немецкие солдаты, держа между ног ружья. Собаки со всех дворов с злобным лаем кидались на машины и прыгали вокруг в густой рыжей пыли.

Передние машины с офицерами уже поравнялись с палисадником у дома Кошевых, как вдруг за спиной женщин раздался свирепый лай, и черный лохматый пес, как шаровая молния, промчавшись среди подсолнухов, перемахнул через низенький забор палисадника и, низко подвывая, лая сипло и гулко, по-стариковски, заплясал вокруг передней машины.

Женщины в ужасе переглянулись. Им казалось, что сейчас должно произойти что-то ужасное. Но ничего ужасного не произошло. Машина проехала дальше, к самому парку, и остановилась у здания треста «Краснодонуголь», куда вслед за нею подошли и другие легкие машины. В это время грузовые машины с солдатами уже заполнили всю улицу. Солдаты спрыгивали с машин, разминали руки и ноги и, с непривычным для русского уха, шумным, резким говором растекались по дворам, палисадникам, стучались в двери. Черный лохматый пес, растерянный от такого множества людей, стоял у калитки и неопределенно лаял на всю улицу.

Офицеры стояли возле здания треста, курили, денщики вносили в здание чемоданы. Маленький офицер с толстым брюшком и так высоко вздернутой тулей фуражки, что голова при ней уже не имела никакого значения, распоряжался разгрузкой машин. Молоденький офицер на неестественно длинных ногах в сопровождении солдата громадного роста, неуклюжего, в грубых ботинках, в пилотке на светлых, яркого палевого цвета волосах, быстро перебежал наискосок через улицу, в здание обкома. Но через минуту и офицер и солдат вышли оттуда и быстро свернули в калитку соседнего с обкомом владения. В этом соседнем доме жили работники обкома, но они еще позавчера уехали вместе со своими хозяевами. Офицер и солдат вышли из палисадника и направились к калитке во двор Кошевых.

Наконец-то черный лохматый пес увидел совершенно реального противника, двигавшегося прямо на него, и с лаем кинулся на молоденького офицера. Офицер остановился на длинных расставленных ногах, на лице его появилось мальчишеское выражение, он вырвался сквозь зубы, потом вынул из кобуры револьвер и в упор выстрелил в собаку. Пес ткнулся носом в землю, с воем прополз немного навстречу офицеру и вытнулся.

— Собаку вбили... що же це воно буде?— сказала бабушка Ва

Офицеры у здания треста и солдаты на улице оглянулись на стрел, но, увидев убитую собаку, вернулись к своим занятиям. Одиночные выстрелы раздавались то там, то здесь. Офицер в сопровождении громадного денщика с палевой головой уже отворял калитку во двор Кошевых.

Бабушка Вера, неподвижно и прямо неся свою голову. Да Алигьери, пошла навстречу им, а Елена Николаевна осталась в кустах жасмина, придерживая обеими руками уложенные вокруг головы светлые русые косы.

Остановившись против бабушки на длинных ногах и, хотя бабушка тоже была высокая, сверху вниз глядя на нее холодными, бесцветными глазами, офицер спросил:

— Кто будет показать вашу квартиру?

Он сказал так, думая, что говорит на очень правильном русском языке, и перевел свой взгляд с бабушки на стоявшую в кустах жасмина с поднятыми руками Елену Николаевну, а потом снова на бабушку.

— Шо ж ты, Лена? Иди, покажи,— смущенно сказала бабушка хриплым голосом.

Елена Николаевна, придерживая руками косы, пошла между дворами к дому.

Офицер некоторое время с удивлением смотрел на нее, потом снова перевел взгляд на бабушку.

— Ну?— сказал он, приподняв светлые брови, и его юное холеное лицо барчука приняло капризное выражение.

Бабушка, непривычно семеня ногами, почти побежала к дому. Офицер и денщик пошли за нею.

Квартира Кошевых состояла из трех комнат и кухни. Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, служившую столовой с двумя окнами на соседнюю, параллельную Садовой, улицу. Здесь же стояла кровать Елены Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Николай Николаевич с женой и ребенком. Другая дверь, направо вела в совсем маленькую комнатку, где спала бабушка. Комнатка имела общую стену с кухней, как раз ту стену, к которой примыкала плита, и когда на кухне топили плиту, в комнате стояла нестерпимая жара, особенно летом. Но бабушка, как все деревенские старухи любила тепло, а если уж больно донимала жара, она открывала оконце в палисадник, где под самым окном высажена была сирень.

Офицер вошел в кухню, бегом оглядел ее, потом, пригнувшись чтобы не задеть притолоки, вошел в столовую, постоял, поводя глазами вокруг. Видно, ему понравилось здесь. Комната была чисто выбеленная и вымытая до блеска, крашеные полы устланы суровыми, домашними выделками, чистыми половиками, на столе белоснежная скатерть, такой же пододеяльник на кровати Елены Николаевны, а подушки, одна меньше другой, были пышно взбиты и покрыты чем-то кружевным и воздушным. На окнах стояли цветы.

Офицер быстро прошел в комнату Коростылевых, так же согнувшись в дверях. Елена Николаевна, даже не заметившая, когда и как он

укрепила косы, осталась в столовой, прислонившись к косяку двери загнутой головой в пышной короне светлорусых волос. А бабушка Вера прошла за немцем.

Эта комнатка с маленьким письменным столом, аккуратным чернильным прибором и всяческими сбоку стола, на косяке двери, и гвоздочке, рейсиной, треугольником и лекалом тоже понравилась немцу.

— Schön! — сказал он удовлетворенно.

Вдруг он увидел смятую кровать, на которой, когда вошла Мария Андреевна лежала Елена Николаевна. Он быстро шагнул к кровати, отвернул одеяло, простыни, брезгливо, двумя пальцами приподнял перину, нагнулся и втянул носом воздух.

— Клоп нет? — морщась, спросил он бабушку Веру.

— Клопив нема... Нэту, — сказала бабушка, исковеркав язык возможно понятнее для немца, и отрицательно затрясла головой, обиженная.

— Schön, — сказал немец и, согнувшись в дверях, вернулся в столовую.

В комнату бабушки он только заглянул и круто обернулся к Елене Николаевне.

— Здесь будет жить генерал, барон фон Венцель, — сказал он. — Эти две комнаты освободить, — он указал на столовую и комнату Коростылевых. — Вам разрешается жить здесь, — он указал на комнату бабушки Веры. — Что вам надо из этих две комнаты, возьмите сейчас... Убрать это, это, — он брезгливо, двумя пальцами отогнул белоснежный пододеяльник, одеяло, простыню на кровати Елены Николаевны. — И та комната тоже... убрать... Быстро! — и он вышел из комнаты мимо отшатнувшейся от него Елены Николаевны.

— Клопив, каже, нема? Вот ворог!.. Ото дожила, бабуся Вера, на старости лет! — громким резким голосом сказала бабушка. — Лена! Столбняк у тебе, чи шо? — возмущенно сказала она. — Треба ж усе убрать для того барона, щоб у него очи повылазили! Приди в себя трошки. То ще, може, наша удача, що нам барона поставили, може, вин не такий скаженый, як вони усн...

Елена Николаевна молча свернула свою постель, отнесла в комнату бабушки и уже не выходила оттуда. А бабушка Вера убрала постель из комнаты сына и невестки, убрала со стен и со стола фотографии сына и внука Олега в комод («щоб не выпрашивали кто, да кто») и перенесла к себе в комнату белье и платья свои и дочери («що б уже не лазать до них, хай им грець!»).

Все-таки ее мучило любопытство, ей не сиделось, и она вышла во двор.

В калитке снова показался громадного роста денщик с палевой головой и с палевыми веснушками на мясистом лице, несший в обеих руках длинные, широкие, плоские чемоданы в кожаных чехлах. Солдат за ним нес оружие — три автоматических ружья, два маузера, саблю в серебряных ножнах, и еще два солдата несли один — чемодан, а другой — небольшой, тяжелый радиоприемник. Они, не взглянув на бабушку Веру, прошли в дом.

И в это время генерал, очень худой, высокий, в узких чуть тронутых пылью блестящих штиблетах и в фуражке с сильно вздернутой спереди высокой тульей, старый, морщинистый, с чисто промытым лицом и

кадыком, вошел через калитку в палисадник, почтительно сопровождал длинноногим офицером, шедшим на полкорпуса позади генерала со склоненной головой.

Генерал был в диагональных серых брюках с раздвоенными лампасами и во френче с блекло-золотыми пуговицами и черным воротником, украшенным золотистыми пальмовыми ветвями по красному полю лица. Генерал шел, высоко неся на длинной шее узкую длинную голубую с семью висками, и отрывисто говорил что-то. А офицер, идя чуть позади него и нагнув голову, почтительно ловил каждое его слово.

Войдя в палисадник, генерал остановился, огляделся, медленно гоня голову на длинной малиновой шее, и это сделало его похоже на гуся, особенно потому, что у его фуражки со вздернутой тульей был выдающийся вперед длинный козырек. Генерал огляделся, и застывшем лице его ничего не изобразилось. Рукою с узкой кисти и сухими пальцами он быстро обвел вокруг, как бы обрезаая все то, что оказалось в поле его зрения, и буркнул что-то. Офицер еще почтительнее нагнул голову.

Обдав бабушку Веру сложным парфюмерным запахом и задержав на ней на мгновение взгляд своих сильно выцветших, водянистых, усталых глаз, генерал прошел в дом, нагнув голову, чтобы не зацепить притолоки. Молодой офицер на длинных ногах, сделав знак солдатам вытянувшимся у крыльца, чтобы они не уходили, вошел вслед за генералом, а бабушка Вера осталась во дворе.

Через несколько минут офицер вышел и коротко отдал солдатам распоряжение и при этом обвел рукой палисадник, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, повернувшись на месте и щелкнув каблуками, вышли один другому в затылок из палисадника, а офицер вернулся в дом.

Подсолнухи на огороде уже сильно склонили свои золотые головы на запад, длинные густые тени легли на гряды. С улицы из-за кустов жасмина доносился чужой возбужденный говор и смех, справа на переезде все рычали моторы, то в той, то в другой стороне слышны были выстрелы, визг собак, кудахтанье кур.

Два знакомых уже бабушке Вере солдата снова показались в калитке. В руках у них были тесаки. Бабушка не успела еще подумать, зачем им эти тесаки, как оба солдата — один в одну сторону от калитки, другой в другую — начали рубить вдоль заборчика кусты жасмина.

— Да що це вы робите, да хиба ж воно вам мешає?— не выдержала бабушка и, развевая юбки, кинулась на солдат.— То ж цветы, то ж красивые цветы! Да хиба ж вони вам мешають?— гневно говорила она, бросаясь от одного солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться им в волосы.

Солдаты, не глядя на нее, молча, сопя, рубили кусты. Потом один из них сказал что-то своему товарищу, — оба они засмеялись.

— Ще сміються,— с презрением сказала бабушка.

Солдат вдруг выпрямился, утер рукавом пот со лба и, с улыбкой взглянув на бабушку, сказал по-немецки:

— Это приказ свыше. Военная необходимость. Видите, везде рубят,— и он указал тесаком на соседний палисадник.

Бабушка не поняла того, что он сказал, но посмотрела в направлении, куда указывал тесаком солдат, и увидела, что в соседнем палисаднике, и дальше за ним, и позади, за ее спиной, везде немецкие солдаты рубили деревья и кусты.

— Партизанен — пу! пу! — пытался объяснить немецкий солдат и, присев за кустом, вытянув грязный указательный палец с толстым ногтем, показал, как партизаны это делают.

Бабушка, сразу вся ослабев и махнув рукой, пошла от солдат и села на крылечке.

В калитке показался солдат в белой поварской шапочке и белом халате, из-под которого видны были концы его серых брюк и грубые, на деревянной подошве, ботинки. Он нес в одной руке большую мелкого плетения круглую корзинку, в которой позвякивала посуда, а в другой большую алюминиевую кастрюлю. За ним шел еще солдат в засаленной серой куртке и что-то нес перед собой в большой миске. Они прошли мимо бабушки на кухню.

Внезапно, точно вырвавшись из другого мира, донеслись из дома обрывки музыки, треск, шипенье, обрывки немецкой речи, снова треск и шипенье и опять обрывки музыки.

На всем протяжении улицы солдаты вырубали палисадники, и вскоре и направо и налево стало видно от второго переезда до парка, открылась вся улица, по которой сновали немецкие солдаты и проносились мотоциклетки.

Вдруг из горницы за спиной бабушки полилась далекая, нежная музыка. Где-то очень далеко от Краснодона шла спокойная, размеренная жизнь, чуждая всему, что здесь сейчас происходило. Люди, для которых предназначалась эта музыка, жили далеко от войны, от этих солдат, которые сновали по улицам и рубили палисадники, и от бабушки Веры. И, должно быть, эта жизнь была далекой и чуждой солдатам, которые рубили кусты в палисаднике, потому что солдаты не подняли голов, не приостановились, не прислушались, не обменялись словом по поводу этой музыки.

Они вырубали все деревья и кусты в палисаднике по самое окошко у комнаты бабушки Веры, где, одинокая, молча сидела Елена Николаевна, и принялись теми же тесакми рубить под корень подсолнухи, склонившие на закат свои золотые головы. Они вырубали и эти подсолнухи, и тогда вокруг стало уже совсем чисто, и партизанам неоткуда было делать свое «пу-пу».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Немецкие солдаты и офицеры разных родов оружия в течение всего вечера растекались по всем районам города, только большой Шанхай и малые шанхайчики да отдаленный район Голубятники и Деревянная улица, на которой жила Валя Борц, оставались еще незанятыми.

Казалось, весь город, на улицах которого не видно было местных жителей, заполнился мундирами грязно-серого цвета, такими же пилотками и фуражками с серебряным германским орлом. Серые мундиры растекались по дворам и огородам, их можно было видеть в дверях домов, сараев, амбаров, кладовых.

Улица, на которой жили Осьмухины и Земнуховы, одной из первых была занята въехавшей на грузовиках пехотой. Улица эта была достаточно широка для того, чтобы на ней расположить грузовики, но боязни привлечь внимание советской авиации солдаты, по приказу своих начальников, повсеместно ломали низенькие заборчики палисадников, чтобы машины свободно могли пройти во двор под прикрытием домов и домашних пристроек.

Высокий длинный грузовик, с которого уже поспрыгивали солдаты пятясь задом и ревя мотором, наехал на палисадник дома Осьмухиных своими громадными двойными колесами на литых шинах. Забор затрещал. Сминая цветы и клумбы перед домом, наполняя воздух бензиновой гарью и рыча, грузовик задом въехал во двор Осьмухиных и остановился у стены.

Молодцеватый ефрейтор, весь черный, с черными торчащими вперед жесткими усиками, черными жесткими волосами, обкладывавшими, как войлоком, его виски и затылок под сдвинутой на лоб пилоткой, ногой распахнул дверь в сени и из сеней в переднюю, ввалился в квартиру Осьмухиных в сопровождении группы солдат.

Елизавета Алексеевна и Люся с неестественно выпрямленным корпусом, похожие друг на друга, сидели у кровати Володи. Волнуясь и стараясь не показать своего волнения родным, Володя лежал покрытый до подбородка простыней и сумрачно глядел перед собой узким коричневыми глазами. Но когда раздался этот грохот в сенях и потные грязные лица ефрейтора и солдат показались в передней, дверь в которую была открыта, Елизавета Алексеевна резко встала и, быстрой прямой, с лицом, которое приняло свойственное ей решительное выражение, вышла к немцам.

— Очень карашо,— сказал ефрейтор и весело засмеялся, с нахальной откровенностью, но дружелюбно глядя в лицо Елизаветы Алексеевны.— Здесь будут стоять наши солдаты... Только две-три ночки. Nur zwei oder drei Nächte. Очень карашо.

Солдаты стояли за его спиной и молча, без улыбки, смотрели на Елизавету Алексеевну. Она отворила дверь в комнату, где обычно она жила с Люсей. Она еще до прихода немцев решила, если немцы станут на постой, перебраться в комнату к Володе, чтобы всем быть вместе. Но ефрейтор не прошел в эту комнату, даже не заглянул в нее,— он в растворенную дверь смотрел на Люсю, прямо и неподвижно сидевшую у постели Володи.

— О! — воскликнул ефрейтор, весело улыбувшись Люсе и козырнув.— Ваш брат?— он бесцеремонно ткнул черным пальцем в сторону Володи.— Он ранен?

— Нет,— вспыхнув, сказала Люся,— он болен.

— Она говорит по-немецки! — ефрейтор, смеясь, обернулся к солдатам, которые попрежнему без улыбки стояли в передней.— Вы хотите скрыть, что ваш брат красный солдат или партизан и что он ранен, но мы всегда можем это проверить,— с улыбкой говорил ефрейтор, заигрывая с Люсей своими блестящими черными глазами.

— Нет, нет, он учащийся, ему всего семнадцать лет, он лежит после операции,— с волнением отвечала Люся.

— Не бойтесь, мы не тронем вашего брата,— сказал ефрейтор, улыбнувшись Люсе, и, снова козырнув ей, заглянул в комнату, которую указала ему Елизавета Алексеевна.— Очень карашо! А эта дверь куда?— спросил он Елизавету Алексеевну и, не дожидаясь ответа, отворил дверь в кухню.— Прекрасно! Сейчас же затопить. У вас есть куры?.. Яйки, яйки!— И он дружелюбно, с глупой откровенностью засмеялся.

Было даже удивительно, что он сказал то самое, что в течение всех месяцев войны было содержанием анекдотов о немцах, что можно было услышать от очевидцев, прочесть в газетных корреспонденциях и в подписях под карикатурами. Но он сказал именно это.

— Фридрих, займись нашим столом,— и он в сопровождении солдат вошел в комнату, указанную ему Елизаветой Алексеевной, и весь дом сразу наполнился смехом и говором.

— Мама, ты поняла? Они просят яиц и просят затопить печь,— шопотом сказала Люся.

Елизавета Алексеевна продолжала молча стоять в передней.

— Ты поняла, мама? Может быть, мне принести дров?

— Я все поняла,— сказала мать, не меняя позы, как-то уж чересчур спокойно.

Немолодой солдат с сильно выдававшейся вперед нижней челюстью, с шрамом, спускавшимся из-под пилотки на бровь, вышел из комнаты.

— Это ты будешь — Фридрих?— спокойно спросила Елизавета Алексеевна.

— Фридрих? Это я Фридрих,— мрачно сказал солдат.

— Пойдем... можешь мне принести дрова... А яиц я вам сама дам.

— Что?— спросил он не понимая.

Но она сделала ему знак рукой и вышла в сени. Солдат последовал за нею.

— Да,— сказал Володя, не глядя на Люсю.— Закрой дверь.

Люся притворила дверь, думая, что Володя хочет что-то сказать ей. Но когда она вернулась к кровати, он лежал с закрытыми глазами и молчал. И в это время в дверях, без стука, появился ефрейтор, голый по пояс, очень волосатый, черный, держа в руке мыльницу, с полотенцем через плечо.

— Где у вас умывальник?— спросил он.

— У нас нет умывальника, мы моемся в тазу или поливаем друг друга из кружки во дворе,— сказала Люся.

— Какая дикость!— Ефрейтор весело глядел на Люсю, расставив ноги в порыжелых ботинках на толстой подметке.— Как ваше имя?

— Людмила.

— Как?

— Людмила.

— Не понимаю... Лю... лю...

— Людмила.

— О! Luise — удовлетворенно воскликнул ефрейтор.— Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки или в кувшине,— брезгливо сказал он.— Очень плёхо.

Люся молчала.

— А зимой?— воскликнул ефрейтор.— Ха-ха!.. Какая дикость! Так полейте мне, по крайней мере!

Люся поднялась и шагнула к двери, но он продолжал стоять в дверях, расставив ноги, черно-волосатый, и, улыбаясь, откровенно и прямо смотрел на Люсю.

Она остановилась перед ним, потупив голову, и покраснела.

— Ха-ха!..— Ефрейтор еще постоял немного и уступил ей дорогу. Они вышли на крыльцо.

Володя, понимавший их разговор, лежал, закрыв глаза, чувствуя всем телом сильные толчки сердца. Если бы он не был болен, он мог бы сам полить немцу вместо Люси. Ему было стыдно от сознания униженности того положения, в котором очутились он и вся его семья и в котором им предстояло жить теперь, и он лежал с бьющимся сердцем, закрыв глаза, чтобы не выдать своего состояния.

Он слышал, как немецкие солдаты в тяжелых, кованых гвоздями ботинках ходили через переднюю во двор и обратно. Мать что-то сказала на крыльце своим резким голосом, прошла на кухню, шаркая туфлями, и снова вышла на крыльцо. Люся бесшумно вошла в комнату и притворила за собой дверь,— мать заменила ее.

— Володя! Ужас какой! — быстро заговорила Люся шопотом.— Заборы кругом переломали. Цветники все вытоптали, и все двор забиты солдатами. Вшей трясут из рубах. А прямо перед нашим крыльцом, в чем мать родила, обливаются холодной водой из ведра. Меня чуть не стошнило.

Володя лежал, не открывая глаз, и молчал.

Во дворе закричала курица.

— Фридрих наших кур режет,— с неожиданной издевкой в голосе сказала Люся.

Ефрейтор, фыркая и издавая при этом другие прерывистые разнообразные звуки,— должно быть, он утирался на ходу полотенцем,— прошел через переднюю в комнату, и некоторое время там слышен был его громкий, жизнерадостный голос очень здорового человека. Елизавета Алексеевна что-то отвечала ему. Через некоторое время она вернулась в комнату Володи со свернутой постелью и положила ее в угол.

В кухне что-то пекли, жарили, даже через закрытую дверь наносило запахи жаренья. Квартира превратилась в проходной двор, все время кто-нибудь приходил, уходил. Из кухни и со двора и из комнаты, где расположился ефрейтор с солдатами, доносился немецкий говор, смех.

Люся, имевшая способность к языкам, по окончании школы весь год специально занималась немецким, французским и английским,— она мечтала поступить в институт иностранных языков в Москве, чтобы иметь возможность когда-нибудь потом поступить на дипломатическую работу. Люся невольно слушала и понимала многое из этих солдатских разговоров, одобренных грубым словом или шуткой.

— А, дружище Адам! Здорово, Адам, что это у тебя?

— Свиное сало по-украински. Я хочу войти с вами в долю.

— Великолепно! У тебя есть коньяк? Нет? Будем пить, hol's der Teufel, русскую водку!

— Говорят, на том конце улицы у какого-то старика есть мед.

— Я пошлю Гансхена. Надо пользоваться случаем. Чорт знает, долго ли мы здесь пробудем и что нас ждет впереди.

— А что нас ждет впереди? Нас ждут Дон и Кубань. А может быть, Волга. Уверяю тебя, там будет не хуже.

— Здесь мы по крайней мере живы!

— А ну их, эти проклятые угольные районы! Ветер, пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по-волчьи.

— А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты думаешь, что ты приносишь им счастье? Ха-ха!..

Кто-то вошел в переднюю и сказал бабым голосом:

— Heil Hitler!

— Тьфу, чорт, это Петер Фенбонг! Heil Hitler!.. Ah, verdammt noch mal¹, мы тебя еще не видели в черном! А ну, покажись... Смотрите, ребяташки, Петер Фенбонг! Подумать только, мы не виделись с самой границы.

— Можно подумать, вы правда обо мне соскучились,— с усмешкой отвечал этот бабий голос.

— Петер Фенбонг! Откуда тебя принесло?

— Лучше скажи, куда? Мы получили назначение в эту дыру.

— А что это за значок у тебя на груди?

— Я теперь уже роттенфюрер.

— Ogo! Недаром ты растолстел. Должно быть, в частях «СС» лучше кормят.

— Но он, должно быть, попрежнему снит в одежде и не моется, я это чувствую по запаху.

— Никогда не шути так, чтобы потом раскaipаться,— пропел бабий голос.

— Прости, дорогой Петер, но ведь мы старые друзья. Не правда ли? Что останется солдату, если нельзя и пошутить! Как ты забрел к нам?

— Я ищу квартиру.

— Ты ищешь квартиру?! Вам всегда достаются лучшие дома.

— Мы заняли больницу, это громадное здание. Но мне нужна квартира.

— Нас здесь семеро.

— Я вижу... Wie die Heringe!²

— Да, теперь ты пошел в гору. Но все же не забывай старых товарищей. Заходи, пока мы здесь.

Человек с сильным голосом что-то пискнул в ответ, все засмеялись. Тяжело ступая кованными ботинками, он вышел.

— Странный человек, этот Петер Фенбонг!

— Странный? Он делает себе карьеру, и он прав.

— Но ты видел его когда-нибудь не то что голым, а хотя бы в нижней рубашке? Он никогда не моется.

— Я подозреваю, что у него болячки на теле, которые он стыдится показать... Фридрих, скоро там у тебя?

— Мне нужен лавровый лист,— мрачно сказал Фридрих.

¹ Будь проклят (немецк.).

² Как сельди (немецк.).

— Ты думаешь, что дело идет к концу, и хочешь заранее сплест себе венок победителя?

— Конца не будет, потому что мы воюем с целым светом,— мрачно сказал Фридрих.

Елизавета Алексеевна сидела у окна, облокотившись одной рукой о подоконник, задумавшись. Из окна ей виден был большой пустырь, облитый вечерним солнцем. На дальнем краю пустыря, наискось от домика, стояли отдельно два белых каменных здания: одно, побольше школа имени Ворошилова, другое, поменьше,— детская больница. Школа и больница были эвакуированы, и здания стояли пустые.

— Люся, посмотри, что это?— сказала вдруг Елизавета Алексеевна и припала виском к стеклу.

Люся подбежала к окну. По пыльной дороге, пролежавшей следом через пустырь мимо двух этих зданий,— по этой дороге тянулась вереница людей. Вначале Люся даже не поняла, кто они такие. Мужчины и женщины в темных халатах, с непокрытыми головами брели по дороге, иные едва ковыляли на костылях, иные, сами едва передвигая ноги, несли на носилках не то больных, не то раненых. Женщины в белых косынках и халатах и просто горожане и горожанки в обычных своих одеждах шли с тяжелыми узлами за плечами. Эта вереница людей тянулась по дороге из той части города, что не была видна из окна. Люди грудились возле главного входа в детскую больницу, а у больших парадных дверей возились две женщины в белых халатах, пытаясь открыть дверь.

— Это больные из городской больницы! Их просто выгнали!— сказала Люся.— Ты слышал? Ты понял?— спросила она, обернувшись к брату.

— Да, да, я слышал, я сразу подумал: а как же больные? Ведь я там лежал. Там ведь раненые были!— с волнением говорил Володя.

Некоторое время Люся и Елизавета Алексеевна наблюдали за перемещением больных и шопотом делились с Володей своими наблюдениями, пока их не отвлек шумный говор немецких солдат. В комнате ефрейтора набралось, судя по голосам, человек десять — двенадцать. Впрочем, одни уходили, и приходили другие. Часов с семи вечера они начали есть, и вот уже совсем стемнело, а они все ели и ели, и все слышно, что-то жарилось на кухне. В передней взад-вперед топали солдатские ботинки. Из комнаты ефрейтора доносилось чоканье кружек, тихий хохот. Разговор то оживлялся, то смолкал, когда приносили новое блюдо. Голоса становились все пьянее и все развязней.

В комнате, где сидели хозяева, было душно: наносило жаром чадом из кухни, а хозяева попрежнему не решались растворить оконные ставни. И было темно: по молчаливому соглашению они не зажигали лампы.

Спускалась темная июльская ночь, а они все сидели, не стеляя постелей, не решаясь лечь спать. За окном на пустыре уже ничего нельзя было различить, только темный гребень длинного холма справа от пустыря с выступающими на нем зданиями районного исполкома и «бешеного барина» вырисовывался на более светлом фоне неба.

В комнате у ефрейтора запели песню. Пели ее, как поют не просто пьяные люди, а как поют пьяные немцы: совершенно одинаковыми низкими голосами, со страшным напряжением; они даже силели и хри-

легли — так им хотелось есть одновременно и низко и громко. Потом они опять чокались и пили, и снова ели, и на некоторое время, пока они ели, все стихало.

Вдруг тяжелые ботинки протопали в передней до самой двери в комнату хозяев и здесь остановились — тот, кто подошел, прислушиваясь за дверью.

Раздался сильный стук в дверь пальцем. Елизавета Алексеевна сделала знак не открывать, будто они уже легли. Стук повторился. Через несколько секунд в дверь сильно стукнули кулаком, она отворилась, и черная голова высунулась в дверь.

— Кто есть? — по-русски спросил ефрейтор. — Хазайка!

Елизавета Алексеевна, прямо встав со стула, подошла к двери.

— Что вам нужно? — тихо спросила она.

— Я и мои солдаты просим вас немножко покушать с нами... Ты и Луиза. Немножко, — пояснил он. — И мальчишк... Ему вы тоже можете принести. Немножко.

— Мы уже ели, мы не хотим есть, — сказала Елизавета Алексеевна.

— Где Луиза? — не поняв ее, спросил ефрейтор, сопя и отрывая пищу, — от него так и разило водкой. — Луиза! Я вижу вас, — сказал он, широко улыбувшись. — Я и мои солдаты просим вас поесть с нами. И выпить, если вы не возражаете.

— Моему брату нехорошо, я не могу оставить его, — сказала Люся.

— Может быть, вам нужно убрать со стола? Пойдемте, я помогу вам, пойдемте, — и Елизавета Алексеевна, смело взяв ефрейтора за рукав, вместе с ним вышла в переднюю, притворив за собой дверь.

Желто-синий чад, от которого слезились глаза, наполнял все пространство кухни, передней и комнаты, где происходило пиршество. И в этом чаду точно растворился мерцающий желтый свет круглых жестяных плошек, залитых не то стеарином, не то другим, похожим на стеарин, белым веществом. Плошки горели и на столе, и на подоконнике в кухне, и на навесе вешалки в передней, и на столе в комнате, наполненной немецкими солдатами, куда вошла Елизавета Алексеевна вместе с ефрейтором.

Немцы обсади стол, придвинутый к кровати. Они, плотно сдвинувшись, сидели на кровати, на стульях, на табуретах, а мрачный Фридрих со своим шрамом сидел на чурбане, на котором обычно кололи дрова. На столе стояло несколько бутылок с водкой и много пустых было и на столе, и под столом, и на подоконниках. Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, огрызками зелени, корками хлеба.

Немцы сидели без мундиров, в нижних несвежих рубахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, с салыными от пальцев до локтей руками.

— Фридрих! — взревел ефрейтор. — Ты что сидишь? Разве ты не знаешь, как надо ухаживать за матерями хорошеньких девушек! — Он засмеялся еще более откровенно и весело, чем он делал это в трезвом виде. И все вокруг тоже засмеялось.

Елизавета Алексеевна, чувствуя, что это смеются над ней, и подозревая гораздо более худшее, чем на самом деле сказал ефрейтор,

молча сметала со стола объедки в грязную пустую миску, бледно молчаливая и страшная.

— Где ваша дочь Луиза? Выпейте с нами,— говорил молодой красный пьяный солдат, неверными руками беря со стола бутылку и из глазами чистую кружку. Не найдя ее, он налил в свою.— Пригласи ее сюда! Ее просят немецкие солдаты. Говорят, она понимает по немецки. Пусть она научит нас петь русские песни...

Он взмахнул рукой, в которой была бутылка с водкой, и, силы напыжившись и выпучив глаза, запел ужасным низким голосом:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga,
Wolga, Wolga, Russlands Fluss...¹

Он встал и пел, дирижируя этой бутылкой так, что из нее вылетало скивалось на солдат, на стол и на кровать. Черный ефрейтор захохотал и тоже запел, и все подхватили ужасными низкими голосами.

— Да, мы выходим на Волгу!— кричал очень толстый немец мокрыми бровками, стараясь перекричать голоса поющих.— Волга!— немецкая река! Deutschlands Fluss. Так надо петь!— кричал он. И, утверждая свои слова и самого себя, воткнул в стол вилку так, что зубья ее погнулись.

Они были настолько увлечены пением, что Елизавета Алексеевна, не замеченная никем, вынесла миску с объедками на кухню. Она хотела сполоснуть миску, но не обнаружила на плите чайника с кипятком «Да, они же не пьют чаю»,— подумала она.

Фридрих, возившийся у плиты с тряпкой в руке, снял с плиты сковороду с плавающими в жире кусками баранины и вышел. «Баранина должно быть, у Слоновых зарезали»,— подумала Елизавета Алексеевна прислушиваясь к нестройным одинаковым пьяным голосам, на немецком языке исполнявшим старинную волжскую песню. Но это, как и все, что происходило вокруг, было уже безразлично ей. Потому что та мера человеческих чувств и поступков, которая была свойственна ей и ее детям в обычной жизни, была уже неприменима в той жизни, в которую она и ее дети вступили. Не только внешне, а и внутренне они уже жили в мире, который настолько не походил на привычный мир отношений людей, что казался выдуманным. Казалось, надо было просто открыть глаза— и этот мир исчезнет.

Елизавета Алексеевна бесшумно вошла в комнату Володи и Люси. Они разговаривали шопотом и смолкли при ее появлении.

— Может быть, лучше постелиться и лечь тебе? Может быть, лучше, если ты будешь спать?— сказала Елизавета Алексеевна.

— Я боюсь ложиться,— тихо отвечала Люся.

— Если он только еще раз попробует, собака,— вдруг сказал Володя, приподнявшись на кровати, весь в белом,— если он только попробует, я убью его, да, да, убью, и будь что будет!— повторил он, белый, худой, упираясь руками в постель и блестя в полутьме глазами.

И в это время снова раздался стук в дверь, и дверь медленно отворилась. Держа в одной руке плоску, отбрасывающую колеблющийся

¹ Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река...

свет на черное потное лицо его, ефрейтор в нижней рубашке, заправленной в брюки, показался в дверях. Некоторое время он, вытянувшись, гляделся в сидевшего на постели Володю и в Люсю на табу-рете в ногах у брата.

— Луиза,— торжественно сказал ефрейтор,— вы не должны гнушаться солдат, которые каждый день и час могут погибнуть! Мы ничего не сделаем вам плохого. Немецкие солдаты— это благородные люди, это рыцари, я бы сказал. Мы просим вас разделить нашу компанию, только и всего.

— Убирайся вон!— сказал Володя, с ненавистью глядя на него.

— О, ты бравый парень, к сожалению, сраженный болезнью!— дружелюбно сказал ефрейтор: в полутьме он не мог рассмотреть лица Володи и не понял того, что тот сказал.

Неизвестно, что могло бы произойти в это мгновение, но Елизавета Алексеевна быстро подошла к сыну, обняла его, прижала лицо его к своей груди и властно уложила сына в постель.

— Молчи, молчи,— прошептала она ему на ухо сухими, горячими губами.

— Солдаты армии фюрера ждут вашего ответа, Луиза!— торжественно говорил пьяный ефрейтор в нижней рубашке, с черно-волосатой грудью, покачиваясь в дверях с плоской в руке.

Люся сидела бледная, не зная, что ему ответить.

— Хорошо, очень хорошо! Гут!— резким голосом сказала Елизавета Алексеевна, быстро подойдя к ефрейтору и кивая головой.— Она сейчас придет, понимаешь? Ферштейге? Переоденется и придет,— и она показала руками, будто переодевается.

— Мама...— сказала Люся дрожащим голосом.

— Молчи уж, если бог ума не дал,— говорила Елизавета Алексеевна, кивая головой и выпроваживая ефрейтора.

Ефрейтор вышел. В комнате через переднюю послышались восклицания, хохот, звяканье кружек, и немцы с новым подъемом запели одинаковыми низкими голосами:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga...

Елизавета Алексеевна быстро подошла к гардеробу и повернула ключ в дверце.

— Полезай, я тебя закрою, слышишь?— сказала она шопотом.

— А как же...

— Мы скажем, ты вышла во двор...

— Люся юркнула в гардероб, мать заперла за ней дверцу на ключ и положила ключ на гардероб.

Немцы яростно пели. Стояла уже глубокая ночь. За окном нельзя было уже различить ни зданий школы и детской больницы, ни длинного холма со зданиями районного исполкома и «бешеного барина»: только под дверью из передней пробивалась в комнату узкая полоска света. «Боже мой, да неужто же все это правда?»— подумала Елизавета Алексеевна.

Немцы кончили петь, и между ними возник шуточный пьяный спор. Все, смеясь, напали на ефрейтора, а он отбивался сильным веселым голосом удалого, никогда не унывающего солдата.

И вот он снова появился в дверях с плошкой в руке.

— Луиза?

— Она вышла во двор... во двор...— Елизавета Алексеевна у зала ему рукой.

Ефрейтор, пошатнувшись, вышел в сени, неся перед собой плошку и стуча ботинками. Слышно было, как он с грохотом спустился крыльца. Солдаты, смеясь, еще поговорили немного, потом они топтали в двор, топоча ботинками в передней и по крыльцу. Стало тихо. В комнате через переднюю кто-то, должно быть, Фридрих, брел чашкой, и слышно было, как солдаты мочатся во дворе у самого крыльца. Некоторые из них вскоре вернулись с шумным, пьяным говором. Ефрейтора все не было. Наконец шаги его послышались на крыльце и в сенях. Дверь в комнату распахнулась, и ефрейтор, уйдя без плошки, появился на фоне призрачного света и чада из растворенной настежь двери кухни.

— Луиза...— шопотом позвал он.

Елизавета Алексеевна, как тень, возникла перед ним.

— Как? Ты ее не нашел?.. Она не приходила, ее нет,— говорила она, делая отрицательное движение головой и рукой.

Ефрейтор невидящими глазами обвел комнату.

— У-у-у...— вдруг пьяно и обиженно промывчал он, остановив мутные и черные глаза свои на Елизавете Алексеевне. В то же мгновение он положил ей на лицо громадную соленую пятерню, стиснул пальцы, едва не выдавив Елизавете Алексеевне глаз, оттолкнул ее от себя качнувшись, вышел из комнаты. Елизавета Алексеевна быстро повернула ключ в дверях.

Немцы еще повозились и побубнили пьяными голосами, потом они заснули, не потушив света.

Елизавета Алексеевна молча сидела против Володи, который по-прежнему не спал. Они испытывали невыносимую душевную усталость, но спать не хотелось. Елизавета Алексеевна выждала немного и вышла к Люсю.

— Я чуть не задохнулась, у меня вся спина мокрая и даже волосы,— говорила Люся возбужденным шопотом. Это приключение как-то взбудоражило ее.— Я тихонько окно открою. Я задыхаюсь.

Она бесшумно отворила ближайшее к койке окно и высунулась на пустырь. Ночь была душная, но после духоты комнаты и всего, что творилось в доме, такую свежестью пахнуло с пустыря. В городе было так тихо, что казалось нет вокруг никакого города, только маленький домик со спящими немцами один стоит среди темного пустыря. И вдруг яркая вспышка где-то там, наверху, по ту сторону переезда, у парка, на мгновение осветила небо и весь пустырь, и холм, и здание школы и больницы. Через мгновение— вторая вспышка, еще более сильная, и снова все выступило из тьмы, даже в комнате на мгновение стало светло. И вслед за этим— не то что взрывы, а какие-то беззвучные сотрясения воздуха, как бы вызванные отдаленными взрывами, один за другим пронесли над пустырем, и снова потемнело.

— Что это? Что это?— испуганно спрашивала Елизавета Алексеевна.

И Володя приподнялся на постели.

С страшным замиранием сердца Люся всматривалась в темноту, в ту сторону, откуда просияли эти вспышки. Отсвет невидимого пламени, то слабая, то усиливаясь, заколебался где-то там, на возвышенности, то вырывая из темноты, то вновь отпуская крыши зданий райисполкома и «бешеного барина». И вдруг в том месте, где находился источник этого странного света, взвилось в вышину языкастое пламя, и все небо над ним окрасилось багровым цветом, и осветились весь город и пустырь, и в комнате стало так светло, что видны стали и лица, и предметы.

— Пожар!..— обернувшись в комнату, сказала Люся с непонятным торжеством и вновь устремила взор свой на это высокое языкастое пламя.

— Закрой окно,— испуганно сказала Елизавета Алексеевна.

— Все равно никто не видит,— говорила Люся, ежась, как от холода.

Она не знала, что это за пожар и как он возник. Но было что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страшное в этом высоком, буйном, победном пламени. И Люся, не отрываясь, смотрела на него, сама освещенная дальним его отсветом.

Зарево распространилось не только над центром города, но далеко вокруг. Не только здания школы и детской больницы были видны, как днем, можно было видеть даже расположенные за пустырем дальние районы города, примыкавшие к урхте № 1-бис. И это багровое небо, и отсветы пожара на крышах зданий и на холмах создавали картину призрачную и фантастическую и в то же время величественную.

Чувствовалось, что весь город проснулся. Там, в центре, слышалось неумолчное движение людей, доносились отдельные голоса, вскрики, где-то рычали грузовики. На улице, где стоял домик Осьмухиных, и в их дворе проснулись, закопошились немцы. Собаки,— их еще не всех успели перестрелять,— позабыв дневные страхи, лаяли на пожар. Только пьяные немцы в комнате через переднюю ничего не слышали и спали.

Пожар бушевал около двух часов, потом стал затихать. Дальние районы города, холмы снова стали окутываться тьмою. Только отдельные последние вспышки пламени иногда вновь проявляли то округлость холма, то группу крыш, то темный конус террикона. Но небо над парком долго еще хранило то убывающий, то вновь усиливающийся багровый свет, и долго видны были здания районного исполкома и «бешеного барина» на холме. Потом они тоже стали меркнуть, и пустырь перед окном все гуще заполнялся тьмою.

А Люся все сидела у окна, возбужденно глядя в сторону пожара. Елизавета Алексеевна и Володя тоже не спали.

Вдруг Люсе показалось, будто кошка мелькнула по пустырю слева от окна, что-то зашуршало по фундаменту. Кто-то крался к окну, Люся инстинктивно отпрянула и хотела уже захлопнуть окно, но ее остановил чей-то шопот. Ее звали по имени:

— Люся... Люся...

Она замерла.

— Не бойся, это я, Тюленин,—прошептал этот голос. И голод Сережки без кепки, с жесткими курчавыми волосами возникла врове с подоконником.—У вас немцы стоят?

— Стоят,—прошептала Люся, испуганно и радостно глядя в смеющиеся и отчаянные глаза Сережки.— А у вас?

— У нас пока нет.

— Кто это?—похолодев от ужаса, спрашивала Елизавета Алексеевна. Дальний отсвет пожара осветил лицо Сережки, и Елизавета Алексеевна и Володя узнали его.

— Володя где?—спрашивал Сережка, навалившись животом подоконник.

— Я здесь.

— А еще кто остался?

— Толя Орлов. А больше не знаю, я никуда не выходил, у меня аппендицит.

— Витька Лукьянченко здесь и Любка Шевцова,—сказал Сережка.— И Степку Сафонова я видел, из школы Горького.

— Как ты забрел к нам? Ночью?—спрашивал Володя.

— Я пожар смотрел. Из парка. Потом стал шанхайчиками пройтись до дому, да увидел из балки, что у вас окно открыто.

— Что это горело?

— Трест.

— Ну-у?

— Там ихний штаб устроился. В одних подштанниках выскакали,—тихо засмеялся Сережка.

— Ты думаешь — поджог?—спросил Володя.

Сережка помолчал, глаза его поблескивали в темноте, как у кошки.

— Да уж не само загорелось,—сказал он и снова тихо засмеялся. Как жить думаешь?—вдруг спросил он Володю.

— А ты?

— Будто не знаешь.

— Вот и я так,—облегченно сказал Володя.—Я так тебе рада. Ты знаешь, я так рад..

— Я тоже,—нехотя сказал Сережка: он терпеть не мог сердечных излишеств.—Немцы у вас злые?

— Пьянствовали всю ночь. Всех кур пожрали. Несколько раз комнату ломились,—сказал Володя небрежно и в то же время слогом гордясь перед Сережкой тем, что он уже испытал на себе, как немцы. Он только не сказал, что ефрейтор приставал к сестре.

— Значит, еще ничего,—спокойно сказал Сережка.—А в больнице остановились ээсовцы, там раненых оставалось человек сорок,—везли всех в Верхнедудуванную рошу и —из автомата. А врач Федор Федорович, как они их стали брать, не выдержал и вступился, так его прямо в коридоре застрелили.

— Ах, черт!.. Ай-я-яй!.. Какой хороший человек был,—сморщившись, сказал Володя.—Я ведь там лежал.

— Человек, каких мало,—сказал Сережка.

— И что ж это будет, господи!—с тихим стоном сказала Елизавета Алексеевна.

— Я побегу, пока не рассвело,— сказал Сережка.— Будем связывать.— Он взглянул на Люсю, сделал витиеватое движение рукой и тихо сказал:— Ауфвидерзеген!..— он знал, что она мечтает о курсах иностранных языков.

Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во тьму, и сразу его не стало ни видно, ни слышно,— он точно испарился.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Самое удивительное было то, как они быстро договорились.

— Что ж ты, девушка, читаешь? Немцы в Краснодон идут! Разве не слышишь, как машины режут с Верхнедудчанкой?— стоя у ног ее, трудом сдерживая дыхание, говорил Сережка.

Валя все с тем же удивленным, спокойным и радостным выражением лица смотрела на него.

— Куда ты бежал?— спросила она.

На мгновение он смешался. Но нет, не могло быть, чтобы эта девушка была плохой девушкой.

— Хочу на вашу школу забраться, побачить, шо воно буде...

— А как ты заберешься? Разве ты бывал в нашей школе?

Сережка сказал, что он был в их школе один раз года два назад, а литературном вечере.

— Да уж как-нибудь заберусь,— сказал он с усмешкой.

— Но ведь немцы могут в первую очередь занять школу?— сказала Валя.

— Увижу, что они идут, да прямо в парк,— отвечал Сережка.

— Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака, оттуда все видно, нас не увидят,— сказала Валя и села на своем плече и быстро привала косы и блузку.— Я знаю, как туда попасть, я тебе все покажу.

Сережка вдруг проявил некоторую нерешительность.

— Видишь, какое дело,— сказал он,— если немцы сунутся в школу, придется прыгать со второго этажа.

— Что ж поделаешь,— отвечала Валя.

— А сможешь?

— Спрашиваешь...

Сережка посмотрел на ее загорелые крепкие ноги, покрытые волостым пушком. Теплая волна прошла у него по сердцу. Ну, конечно, а девушка могла спрыгнуть со второго этажа.

И вот они уже вдвоем бежали к школе через парк.

Большая двухэтажная школа из красного кирпича, с светлыми классами, с большим гимнастическим залом, была расположена у главных ворот парка, против здания треста «Краснодунголь». Школа была пуста и закрыта на ключ. Но, исходя из благородных целей, какие они следовали, Сережка не посчитал для себя зазорным, наломав пук дров, с их помощью выдавить одно из окон в первом этаже, выходящее в глубину парка.

Сердца их благоговейно замерли, когда они, на цыпочках ступая по половицам, прошли через один из классов в нижний коридор. Тишина стояла во всем этом просторном здании, малейший шорох, стук

гулка отъезжались вокруг. За эти несколько дней многое сместили на земле, и многие здания, как и люди, потеряли прежнее свое значение и назначение и еще не обрели нового. Но все-таки это была школа, в которой учили детей, школа, в которой Валя провела много счастливых дней своей жизни.

Они увидели дверь с дощечкой, на которой написано было: «Учительская», дверь с дощечкой: «Директор», двери с дощечками: «Кабинет врача», «Физический кабинет», «Химический кабинет», «Библиотека». Это была школа, здесь взрослые люди, учителя, учили детей, знали и тому, как надо жить на свете.

И от этих пустых классов с голыми партами, помещений, хранивших специфический школьный запах, вдруг повеяло и на Сережу и на Валию тем миром, в котором они росли, который был неотъемлемой частью их жизни и который теперь ушел, казалось, навсегда. Этот мир казался когда-то таким обыденным, заурядным, даже скучным. И вдруг встал перед ними такой неповторимо чудесный, вольный, полный откровенных, прямых и чистых отношений между теми, кто учил и кто учился. Где они теперь, и те и другие, куда развеяла их судьба? И сердца Сережки, и Валии на мгновение распахнулись, полные такой любви к этому ушедшему миру и смутного благоговения перед высокой святостью этого мира, который они в свое время не умели ценить.

Они оба испытывали одни и те же чувства и без слов понимали это, и за эти несколько минут они необыкновенно сблизились друг с другом.

Узкой внутренней лестницей Валя вывела Сережку на второй этаж и еще выше, к маленьким дверям, ведущим на чердак. Двери были закрыты, но это не обескуражило Сережку. Пошарив в кармане брюк, он достал складной ножик, сервированный многими другими полезными предметами, среди которых была и отвертка. Вывернув винтики, снял ручку двери так, что замочная скважина предстала перед ним как бы обнаженная.

— Классно работаешь, сразу видно, что профессиональный взломщик, — усмехнулась Валя.

— На свете кроме взломщиков есть еще слесаря, — сказал Сережа, обернувшись к Вале, улыбнулся ей.

Поковыряв в скважине долотом, он открыл дверь, и на них пахнул жаром от накалившейся на солнце железной крыши, запахом нагретой чердачной земли, пыли и паутины.

Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они пробрались к одному из чердачных окон, сильно запыленному, и, не вытерев о стену, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к окну, едва не касаясь друг друга щеками.

Из окна им видна была вся Садовая улица, упировавшаяся в ворота парка, особенно та сторона ее, где стоял стандартный дом обкомпартии. Прямо перед их глазами на углу улицы видно было два этажное здание треста «Краснодопуголь».

С того момента, как Сережка покинул Верхнедудуванскую рощу, и с того момента, как они вместе с Валею прижались свои лица к пыльному чердачному окну, прошло довольно много времени: немец

Власти успели войти в город, и по всей Садовой улице теснились бабищи, и там и здесь видны были немецкие солдаты.

«Немцы... Вот они какие, немцы! Немцы у нас в Краснодаре», — думала Валя, и у нее колотилось сердце, и грудь ее вздымалась от волнения.

А Сережку занимала больше внешняя, практическая сторона дела; острые глаза его схватывали все, что попадало в поле их зрения из окна на чердаке, и Сережка, сам того не замечая, запоминал каждую мелочь.

Не более десяти метров отделяли здание школы от здания треста. Здание треста было пониже здания школы. Сережка видел перед собой железную крышу, внутренность комнат второго этажа и ближайшую к окнам часть пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы, Сережка видел и другие улицы, в иных местах загороженные от него домами. Он видел дворы и зады владений, в которых хозяйничали немецкие солдаты. Постепенно он вовлек и Валью в круг своих наблюдений.

— Кусты, кусты рубят... Смотри, даже подсолнухи, — говорил он. — А здесь, в тресте, у них, видно, штаб будет, видишь, как хозяйничают...

Немецкие офицеры и солдаты — делопроизводители, писаря — хозяйственно размещались в обоих этажах треста. Немцы были веселы. Они растворили все окна в тресте, рассматривали помещения, доставшиеся им, рылись в ящиках столов, курили, выбрасывая окурки на пустынную улочку, отделявшую здание треста от здания школы. Через некоторое время в комнатах появились русские женщины, молодые и пожилые. Женщины были с ведрами и тряпками. Подоткнув подола, женщины стали мыть полы. Аккуратные, чистенькие немецкие писаря остригли на их счет.

Все это происходило так близко от Вали и Сережки, что какая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучительная и в то же время доставлявшая наслаждение ему, вдруг застучала в сережкином сердце. Он даже обратил внимание на то, что оконца на чердаке легко вынимаются. Они были в легких рамах и держались в своих косячках на тонких косо прибитых гвоздках.

Сережка и Валя сидели на чердаке так долго, что могли уже разговаривать и о посторонних предметах.

— Ты Степку Сафонова после того не видала? — спрашивал Сережка.

— Нет.

«Значит, она просто не успела ничего сказать ему», — с удовлетворением подумал Сережка.

— Он еще придет, он парень свой, — сказал Сережка. — Как ты думаешь жить дальше? — спрашивал он.

Валя самолюбиво повела плечом.

— Кто же может это сказать теперь? Никто же не знает, как это все будет.

— Это верно, — сказал Сережка. — К тебе можно будет зайти к кому-нибудь? Родители не заругаются?

— Родители!.. Заходи завтра, если возможность будет. Я и Степку позову.

— Как зовут тебя?

— Валя Борц.

В это время до их слуха донеслись длинные очереди из автоа потом еще несколько коротких — где-то там, в Верхнедуванной

— Стреляют. Слышишь?— спросила Валя.

— Пока мы тут сидим, в городе, может, нивесть что происходит серьезно сказал Сережка.— Может, немцы и на вашей и на 1 квартире уже расположились, как дома?

Только теперь Валя вспомнила, при каких обстоятельствах она из дому, и подумала о том, что, может быть, Сережка прав, и и отец волнуются за нее. Из самолюбия она не решилась сказать п что ей пора уходить, но Сережка никогда не заботился о том, могут о нем подумать.

— Пора по домам,— сказал он.

И они тем же путем выбрались из школы.

Некоторое время они еще постояли у забора, у садика. После местного сидения на чердаке они чувствовали себя несколько смущ

— Так я зайду к тебе завтра,— сказал Сережка.

А дома Сережка узнал то, что он рассказал потом ночью Во Осьмухицу: об увозе раненых, оставшихся в больнице, и о ги врача Федора Федоровича. Это произошло на глазах сестры Нади, и рассказала Сережке, как это случилось.

К больнице подъехали две легковых и несколько грузовых ма с эсэсовцами, и Наталье Алексеевне, которая встретила их на ул предложено было в течение получаса очистить помещение. Нат Алексеевна сразу отдала распоряжение всем, кто может двигаться, п ходить в детскую больницу, но все же стала просить об удлине срока переселения, ссылаясь на то, что у нее много лежащих боль и нет транспорта.

Офицеры уже садились в машины.

— Фенбонг! Что хочет эта женщина?— сказал старший из офице большому рыхлому унтеру с золотыми зубами и в очках в свет роговой оправе. И легковые машины отбыли.

Эти очки в светлой роговой оправе придавали эсэсовскому унтер вид если не ученый, то во всяком случае интеллигентный. Но ко Наталья Алексеевна обратилась к нему со своей просьбой и да попыталась говорить с ним по-немецки, взгляд унтера сквозь эти о прошел как бы мимо Натальи Алексеевны. Бабыим голосом он поз солдат, и они стали выбрасывать больных во двор, не дожидаясь, п истекут обещанные полчаса.

Они вытаскивали больных на матрацах или просто взяв подмыш и швыряли на газон во дворе. И тут обнаружилось, что в госпита находятся раненые.

Федор Федорович, сказавшийся врачом больницы, пытался было ояснить, что это тяжело раненные, которые уже никогда не буд воевать и оставлены на гражданское попечение. Но унтер сказал, ч если они военные люди, то они считаются военнопленными и их и медленно направят куда следует. И раненых стали срывать с постелей одним нижнем белье и швырять в грузовик одного на другого, к попало.

Зная вспыльчивый характер Федора Федоровича, Наталья Алексее просила его уйти, но он не уходил, а все стоял в коридоре в пр

стенке между окон. Его загорелое лицо стало серым. Он перебирал губами остаток «козьей ножки», и у него дрожало колено так, что он иногда нагибался и потирал его рукою. Наталья Алексеевна боялась отойти от него и просила Надю тоже не уходить, пока все не будет кончено. Наде было жалко и страшно смотреть, как полураздетых раненых в окровавленных бинтах тащили по коридору, иногда просто волокли по полу. Она боялась плакать, а слезы сами собой катились из глаз ее, но все-таки она не уходила, потому что еще больше она боялась за Федора Федоровича.

Двое немецких солдат тащили раненого, которому две недели тому назад Федор Федорович удалил разорванную осколком мины почку. Раненому было уже значительно лучше в последние дни, и Федор Федорович очень гордился этой операцией. Солдаты тащили раненого по коридору, и в это время унтер Фенбонг окликнул одного из них. Солдат бросил раненого, которого он держал за ноги, и убежал в палату, где находился унтер, а второй солдат потащил раненого волоком по полу.

Федор Федорович внезапно отделился от стены, и никто не успел уследить, как он уже был возле солдата, тащившего раненого. Этот раненый, как и большинство из них, несмотря на муки, какие он испытывал, не стонал, но когда он увидел Федора Федоровича, он сказал:

— Видал, Федор Федорович, что делают? Разве это люди?

И заплакал.

Федор Федорович что-то сказал солдату по-немецки. Наверно, он сказал, что так, мол, нельзя. И, наверно, сказал: дай, мол, я помогу. Но немецкий солдат засмеялся и потащил раненого дальше. В это время унтер Фенбонг вышел из палаты, и Федор Федорович пошел прямо на него. Федор Федорович вовсе победил, и всего его трясло. Он почти надвинулся на унтера и что-то резко сказал ему. Унтер в черном мундире, собравшемся складками на его большом рыхлом теле, с блестящим металлическим значком на груди, изображавшим череп и кости, засипел на Федора Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Федор Федорович отшатнулся и еще что-то сказал ему, наверно, очень обидное. Тогда унтер, страшно выпучив глаза под очками, выстрелил Федору Федоровичу прямо между глаз. Надя видела, как у него между глаз точно провалилось, хлынула кровь, и Федор Федорович упал. А Наталья Алексеевна и Надя выбежали из больницы, и Надя сама уже не помнила, как она очутилась дома.

Надя сидела в косынке и в белом халате, как она прибежала из больницы, и снова и снова начинала рассказывать. Она не плакала, лицо у нее было белое, а маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала.

— Явился, шлендра!— яростно кашлял отец на Сerezку,— ей-богу, возьму да выдеру кнутом. Немцы в городе, а он шлендрает где ни попало. Мало мать в могилу не свел.

Мать заплакала.

— Я ж извелась за тобой. Думаю, убили.

— Убили!— вдруг зло сказал Сerezка.— Меня не убили. А раненых убили. В Верхнедуванной роще. Я сам слышал...

Он прошел в горницу, где спал, и кинулся на кровать в поду. Мстительное чувство сотрясало все его тело, Сережке трудно дышать. То, что так томило и мучило его на чердаке школы, теперь нашло выход. «Обождите, пусть только стемнеет!» — думал Сережка, каясь на постели. Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он надумал.

Спать легли рано, не зажигая света, но все были так возбуждены, что никто не спал. Не было никакой возможности уйти незаметно: он вышел открыто, будто идет на двор, и шмыгнул в огород. Рук он раскопал одну из ямок, где спрятаны были бутылки с горючей смесью, — ночью опасно было копать лопатой. Он слышал, как звякнула дверь из хаты, вышла сестра Надя и тихо позвала его несколько раз — Сережа... Сережа...

Она подождала немного, позвала еще раз, и дверь снова звякнула: сестра ушла.

Он сунул по бутылке в карманы штанов и одну за пазуху и в темноте июльской душевной ночи, обходя шанхайскими центром города, снова пробрался в парк.

В парке было тихо, пустынно. Но особенно тихо было в здании школы, куда он проник через окно, выдавленное днем. В здании школы было так тихо, что каждый его шаг, казалось, слышен был не только в здании, но и во всем городе. В высокие проемы окон на лестнице вылился снаружи какой-то смутный свет. И когда фигура Сережки возникла на фоне одного из этих окон, ему показалось, что кто-то затаившись в углу во тьме теперь увидит и схватит его. Но он пересилил страх и вскоре очутился на своем наблюдательном пункте на чердаке.

Некоторое время он посидел у оконца, сквозь которое теперь чего не было видно, посидел просто для того, чтобы перевести дух.

Потом он нащупал пальцами гвоздики, которые держали раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Свежий воздух пахнул на него, на чердаке все еще было душно. После темноты школы и особенно этого чердака он уже мог различать то, что происходило перед ним на улице. Он слышал движение машин по городу и видел движущиеся приглушенные огни их фар. Непрерывное движение частей от Верхнего дуванной продолжалось и ночью. Там, на всем протяжении дороги, видны были светящиеся в ночи фары. Некоторые машины двигались на полном свете, он вдруг вырывался из-за холма ввысь, как свет прожектора, далеко прорезая ночное небо или освещая часть степи или деревни в роще с вывернутой белой изнанкой листьев.

У главного подъезда к зданию треста шла военная ночная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки. Все время входили и выходили офицеры и солдаты, бряцая оружием и шпорами, слышался чуждый резкий говор. Но окна в здании треста были затемнены.

Все чувства Сережки были так напряжены и так направлены на одну цель, что это новое, непредвиденное обстоятельство — то, что окна были затемнены, — не изменило его решения. Так он просидел возле этого оконца часа два, не меньше. Все уже стихло в городе. Движение возле здания тоже прекратилось, но внутри его еще не спали. Сережка видел это по полоскам света, выбивавшегося из-за краев черной бумаги. Но вот в двух окнах второго этажа свет потух, и кто-

изнутри отворил одно окно, потом другое. Невидимый, он стоял в смеюте комнаты у окна — Сережка чувствовал это. Потух свет и в некоторых окнах первого этажа, и эти окна тоже распахнулись.

— Wer ist da? — раздался начальственный голос из окна второго этажа, и Сережка смутно различил силуэт фигуры, перегнувшейся через подоконник. — Кто там? — снова спросил этот голос.

— Лейтенант Мейер, Herr Oberst¹, — ответил юношеский голос снизу.

— Я не советовал бы вам открывать окна в нижнем этаже, — сказал голос наверху.

— Ужасная духота, Herr Oberst. Конечно, если вы запрещаете...

— Нет, я совсем не хочу, чтобы вы превратились в духовую говядину. Sie brauchen nicht zum Schmorbraten werden, — смеясь, сказал этот начальственный голос наверху.

Сережка, не понимая, с бьющимся сердцем прислушивался к немецкой речи.

В окнах гасили свет, подымали шторы, и окна открывались одно за другим. Иногда из них доносились обрывки разговора, кто-то насвистывал. Иногда кто-нибудь чиркал спичку, осветив на мгновение лицо, папиросу, пальцы, и потом огненная точка папиросы долго еще видна была в глубине комнаты.

Какая огромная страна, ей конца нет. Da ist ja kein Ende abzusehen, — сказал кто-то у окна, обращаясь, должно быть, к приятелю своему в глубине комнаты.

Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Только со стороны Верхнедуванной, прорезая резким светом фар ночное небо, еще двигались машины.

Сережка слышал биение своего сердца, казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно, Сережка весь вспотел.

Здание треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это нужно делать сейчас... Он сделал несколько пробных движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться.

Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился и с силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улочки между зданием треста и зданием школы, и в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как будто разбилась электрическая лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку, она разорвалась в пламени с сильным звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты, горели рамы окна, и языки его высывались вверх по стене, едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой комнате, крики раздались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив.

Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку, такую

¹ Господин полковник (немец.).

сильную, что вся внутренность чердака осветилась, но в это время Сережка был уже далеко от окна, он был уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он этой черной лестницей и, не успев уже времени разыскать в темноте класс, где было выдавлено окно, вбежал в ближайшую комнату, — кажется, это была учительская, — быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригинаясь, побежал в глубину.

С того момента, как он бросил третью бутылку, и до того момента как он осознал, что бежит по парку, он все делал инстинктивно и вряд ли мог бы восстановить в памяти, как все это происходило. Но теперь он понял, что надо упасть на землю и полежать некоторое мгновение тихо и прислушаться.

Слышно было, как мышка шуршит где-то неподалеку от Сережки в траве. С того места, где он лежал, он не видел пламени, но оттуда, с улицы, доносились крик и беготня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край парка, к террикону выработанной ша-

Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк, — отсюда же мог уйти при всех условиях.

Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по парку зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет даже на этот далеко стоящий от очага пожара старинный гигантский террикон и на макушку деревьев парка. Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и стучит. Все тело его содрогалось, он едва удерживался, чтобы громко засмеяться.

— Вот вам! Зетцен зи зих! Шпрехен зи дейч! Гебен зи этвас! — повторял он с неопишым торжеством в душе этот набор фраз школьной немецкой грамматики, пришедших ему на память.

Зарево все разрасталось, окрашивая небо над парком, и даже с улицы доносилась суматоха, поднимавшаяся в центральной части города. Нужно было уходить. Сережка почувствовал неодолимое желание снова пробраться в садике, где он увидел сегодня эту девушку, Валию Бонда, он знал теперь, как ее зовут.

Бесшумно скользя в темноте, он выбрался на заднюю Деревянную улицу, перелез через заборчик в сад и уже собирался калиткой выйти на самую улицу, когда до него донесся приглушенный говор людей возле самой калитки. Пользуясь тем, что немцы еще не заняли Деревянную улицу, жители, осмелев, вышли из своих домиков, посмотреть на пожар. Сережка, обогнув домик с другого края, бесшумно перемахнул через забор и подошел к калитке. Там стояла группа мужчин и женщин, освещенная заревом. Среди них он узнал Валию.

— Что это горит? — спросил он, чтобы дать ей знать о себе.

— Где-то на Садовой... А может быть, школа, — отвечал взволнованный женский голос.

— Это горит трест, — резким голосом сказала Валя с некоторым даже вызовом. — Мама, я пойду спать, — сказала она, притворно зевнула и вошла в калитку.

Сережка двинулся было за нею, но услышал, как каблучки ее простучали по ступенькам крыльца и дверь за нею захлопнулась.

(Продолжение следует)

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1. ПИСЬМО ИЗ БУДАПЕШТА

В январе сорок пятого мы в Будапеште сражались.
День и ночь контратаки, конца им не видели мы.
Дождь, мороз и туман. Наконец-то мы в город ворвались.
Выпал снег — снег не нашей, короткой, мадьярской зимы.

Выпал снег... Олушил и деревья он в заграждения,
Будапештские площади белою степью легли.
В переулках метался огонь и маячили тени,
И кресты колоколен в тумане виднелись вдали.

Площадей, переулков и улиц имен я не знаю.
Каждый дом — словно крепость. Поди его с бою возьми!
Был приказ выходить поскорее на берег Дуная.
Был исполнен приказ не стоявшими часу людьми.

Не пурга, не буран — ночь смертельными пулями свищет...
Ног не чуяли мы, застывали винтовки в руках.
В рукопашный пошли мы и бились на темном кладбище,
Немцы так и остались лежать на могильных холмах.

На мостах грохотало, в колодцах дворов не смолкало.
Баррикады стояли под снегом в четыре ряда.
Немцы жрали своих лошадей, но и этого мало,
Взяли мы водокачку — теперь без воды им беда.

Снег врагу помогал, но внезапно растаяло ночью,
И на улицах враз черный снег, как болото, размок.
На Дунае — не льдины, — сырые тяжелые клочья,
Немец больше к Дунаю никак подобраться не мог.

Снова дождь. И туман частой сеткою стелется мгlistой.
Выползают мадьяры из темных своих бункеров.

Мы своим батальоном их взяли две тысячи триста,
Пошатнулась их сила пред силою наших бойцов.

Будапештских ночей я отныне вовек не забуду.
Из домов в темноте, искрясь, сыпалось наземь стекло.
Мост последний взорвав, скрылись немцы в горящую Буду,
Но ничто уж теперь обреченным помочь не могло.

До сих пор в наших снах нам мерещится та канонада,
Словно Судного дня гром, слетающий с дальних вершин.
Мы пришли в Будапешт от холодных руин Сталинграда,
Через мертвый Крещатик — и путь наш лежит на Берлин.

Все дороги пройти, все мосты, все далекие дали,
Не смыкая очей средь проклятой заснеженной тьмы,
Чтобы песни гремели о том, как столицы мы брали,
Как в Варшаву и Краков врывались такие ж, как мы.

Мы идем за Дунай и за Вислу сквозь бури и беды,
Через тысячи сёл — путь наш прям, хоть суров и тернист.
За туманом трубят нам в военные трубы победа,
Молодая, как наш батальонный веселый горнист.

В сорок пятом сражались мы тут и гордимся по праву.
Есть солдатский закон — смерть и счастье спокойно встречать.
Доброй чаркой живых угостим. Мертвым — вечная слава.
Лишь один переход — и с тобой я увижусь опять.

2. К ДОЧЕРИ

Когда в июне началась война
И всколыхнулась всюду тишина,
Разбужена глухим ударом грома,—
Разлуки разделяла нас стена,
В те дни была ты не в семье, одна,
На берегу морском, вдали от дома,
А он стоял неприбранным — наш
дом,

В стенах не раздавался смех
знакомый.
Молчали мы, тревожась об одном.
В безвестность думой смутною
влекомы.

Жизнь начинала новый трудный
круг,

Неумолим был голос бури бранной.
Про дальний путь твой, детский
твой испуг,

Я думал про тебя в тот миг,
Сусанна.

Июньской ночи тёмной был разлив
Любимых лиц во мгле не различий
Мы обнялись на роковом пороге
Каштановые свечи, листья ив,
Как счастья позабытого призыв
Рванувшись вьюгой, нам легли и

ноги,
Так в эту ночь гналось за нами
вслед
Минувшее по грозовой дороге.

Без слез, в предчувствии грядущей
беды
Склонились мы над ним в глухой
тревоге.

Еще с былым нас связывала т
Но путь стелился сквозь прост
туманный.

Перед рассветом, обходя мосты,
Я с болью думал о тебе, Сусанна

На фронт! На фронт!.. В недолгий
срок борьбы
Холмов уж окровавились горбы,
Мы честно бились, но напором
шквала
Валило нас, как молнией дубы.
В бою победа шла на зов трубы,
Но нас в лицо еще не узнавала.
В ночь ступленья я зашел в наш
дом,
Как пусто в нём, как холодно в
нём стало!
Взглянул в окно. Гремел далекий
гром,
И туча небо хмуро застилала.
Шли беженцы, шли дети на восток,
Шли толпы, бесконечно,
беспрестанно.

И, глядя сквозь туман на их поток,
Я думал о тебе в тот миг, Сусанна.
Я утром в комнату твою зашел,—
Мои следы легли на пыльный пол,
Как будто проходил я по пустыне.
Печали я в тот миг не поборол,
Твои тетрадки на столе нашел,
И сжалось сердце, отдано кручине.
Вот золотая рыбка за стеклом
Совсем зачахла в плесени и тине...
Луч на стене... Я думал вновь о
том,
Что города, и села, и святыни
Поруганы. Что хлеб пужды сухой
Кропить слезой тебе пришлось так
рано,
Что навсегда утрачен наш покой,
Я думал о тебе в тот миг, Сусанна.

3. ИНЗА

Инза... Инза... Я не знаю,
Город это иль село.
Снегу — ни конца, ни краю,
Ставни, кровли занесло.

Небо грустно накренилось...
Инза. Инза... звук родной.
Может, Лермонтову снилось
Это имя в час ночной.

Может, Инза, в дни иные
Я услышал о тебе,

И я сказал себе: настанет час,
Когда опять взойдет заря для нас,
Когда для нас вновь заиграют реки,
Лишь горечь не уйдет из наших
глаз

И отблеск стали жесткий, без
прикас,
Останется в глазах людей навеки.
Но для того идем сквозь пламя мы,
Идем сквозь кровь и не смыкаем
вски,

Чтоб радуга, сверкая после тьмы,
Как музыка, звенела в человеке.
Огонь дотла палит солому. Сталь
В огне седею станет и чеканной.
Так, твердой верой поборов печаль,
Я снова думал о тебе, Сусанна.

И ты должна подобной стали стать.
И твой удел — пути борьбы узнать.
Готовь себя к минуте той единой,
Когда ты жизнью сможешь доказать,
Что родила тебя неробкой мать,
Что у тебя в груди не горстка
глины,

А сердце беззаветное стучит,
Познавшее пожары и руины,
Ему любовь к отчизне — верный
щит,

Любовь к суровым звездам
Украины.

Когда же скорбь и горечь бытия
Тебя обступят, как и нас, неожиданно,
Ты вспомни обо мне в тот час,
как я

В час испытаний о тебе, Сусанна!

И пророческие сны я
Видел о твоей судьбе.

Может, долей своенравной
Суждено здесь счастье мне,
Грусть ли песни стародавней
В стародавнем шушуне,—

Песни тихой, но упрямой,
Что ночей не будет спать,
Как подруга или мама...
У меня была ведь мать.

Или суждено, быть может,
Жизнь окончить в краткий миг
Мне в селеньи, что похоже
На невырвавшийся крик.

Пробираюсь к темной хате,
Сам себя не узнаю...
Инза... Инза... Так назвать бы
Можно милую мою.

4. ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ

Под кровлей зеленого дома
Есть радость, что вам незнакома.
Цветы, что не вовсе завяли,
Осенние, тихие дали
Навстречу рассвету раскрыты...
Беседа с рощей шумливой,
С межою, бегущей средь жита,
И с плачем дождей молчаливых,—
Иду я из города в поле.
О, как ты печально, раздолье!
Горят в серебристом тумане
Осенние рдяные ткани,
Свинцовые, сизые лужи,
Все в ряби от утренней стужи,
В холодной воде отразили
Берез опаленные крылья.
Проносится клин журавлиный
Под тучей над рощей унылой.
О близкий до боли, единый,
Мой мир затуманенный, милый!

Вот падает лист и кружится,
А там в колею он ложится,
Блеснув угольком неостылым.
Минута — и нет его пыла,
И пламень и золото гаснут,
Как гаснут в душе ежечасно
Надежды — жестоки, напрасны —
Как гаснет короткое счастье.

О ветер, плыви надо мною,
Не дай мне ни сна, ни покою,
Не дай мне забыться в безволие,
Не дай разлюбить это поле,
Увявшие стебли душицы,
И мокрую эту дорогу,
И грозные эти зарницы,
И вечную грусть, и тревогу.

*Перевод с украинского
ВЕРЫ ЗВЯГИНЦЕВОЙ*

АМО САГИЯН

ЗЕЛЕНЫЙ ТОПОЛЬ НАИРИ¹

Красуешься под ветерком, сверкаешь свежую листвою,
Дневной дороге тень даришь и ночью страстно ждешь зари.
В теснинах сердца моего звонкоголосый говор твой,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Ах, как взметнувшийся костер, стоит зеленый твой огонь.
Я издали тебя молю, гори, мой трепетный, гори!
Изжаждавшиеся поля желанною прохладой тронь,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Поет мой жаворонок-сын, играючи в тени твоей.
Его получше приголубь, порадостнее одари,
Листою веселой осеню, отцовской ласкою согрей,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Меча и пламени певец, хочу я лишь твоей любви,
И если в праведном бою прикажет родина: «Умри!» —
Умру, чтоб верным быть тебе, исчезну я, а ты живи,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Но я вернусь к тебе, примчусь, когда окончится страда,
Когда расправимся с врагом, и ты о встрече говори,
О вольной воле, о любви шуми всегда, всегда, всегда,
Мой незабвенный, нежный мой, зеленый тополь Наири!
1944 г.

Действующий флот

*Перевод с армянского
М. ПЕТРОВЫХ*

¹ На ири — древнее название Армении.

ОСИП ЧЕРНЫЙ

НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ — ПОИСКИ РАЗВЕДЧИКОВ

Повесть

I

В одной половине хаты помещался штаб, в другой жили политработники и бойцы — так тесно, что вестовой, проходя, должен был выбирать, куда ставить ногу.

Горела висючая лампа, и было тепло. В углу на койке устроился начфин полка. Его вестовой готовил еду отдельно, в том углу пахло владьями и жареным салом.

В комнате жила и хозяйка с дочерью. Просто можно было удивляться, как тут все размещаются.

Вечером пришел еще юноша лет девятнадцати, в форме младшего лейтенанта. Его не то чтобы приняли, а пустили. Он вошел неуверенно, стараясь не привлекать внимания. Сидеть было негде. Заметив на полу возле печи солому, он распоясался и положил на нее шинель. Ноги его промокли. Он вытер керзовые сапоги газетой и, не зная, куда ее выбросить, понес во двор.

Узкий сноп света, падавший из окна, пересекал дорогу. Со скрипом проползали повозки, уходя во мглу. Фиолетовая чернота дороги сливалась с полем.

Когда лейтенант вернулся, инструктор, работавший за столом, спросил:

— К нам в полк?

Тот сказал:

— Мне итти дальше.

— В роту назначили?

— Нет, с заданием...

Инструктор покосился, далеко не всему, склонный верить, а юноша больше ничего о себе не сказал.

Вскоре пришли и другие постояльцы, явился боец с котелками.

Ужинали, где кто сидел. Начфин со своей койки поманил младшего лейтенанта:

— Не теряйся, садись с нами.

— Не хочется,— сказал тот.

Он оглядел комнату, все еще не зная, где устроиться. Лицо у него было юношески привлекательное: открытый и ясный взгляд, хорошо очерченный рот и твердый подбородок; за огрубелостью сохранила почти детская нежность кожи. Он был выше среднего роста и легкого

Юноша сел и, достав из полевой сумки бумагу, начал что-то писать.

— Донесение, что ли?— полюбопытствовал инструктор.

— Письмо думал домой отправить.

— А-а, пиши, пиши.

Но лейтенант почему-то стал запихивать бумагу обратно в сумку

— Ты пиши, никто не мешает.

— Пусть, до другого раза.

— Ты откуда сам?— продолжал инструктор.

— Из Москвы.

— Давно?

Не дожидаясь ответа, инструктор решительно поднялся, надел гимнастерку, шинель, затянул пояс. Он пошел, ничего не говоря, и ушел в дверях обернулся:

— А поесть невредно, напрасно стесняешься.

— Нет, спасибо.

— Принести ужинать младшему лейтенанту,— все же на ходу бормотал инспектор бойцу.

— Ужин кончился.

— Поди к повару, объясни: человек с дороги.

— Есть,— сказал тот.

В комнату вошли два сержанта, а за ними дочь хозяйки, Мария. Они забрались на печь, и вскоре оттуда послышался разговор, тихий и заманчивой.

— Ты оставь это, Саша,— говорила девушка.— Понапрасну стараешься.

— Он влюбился в тебя. Правду я говорю, Голубев?

Голубев подтвердил:

— Раз не ложь, значит правда.

— Хватит девушек и без меня.

— Зачем, Муся, так говорить? Раз сердце его задето!

— После войны, ребята,— засмеялась она.

В комнате продолжалась своя жизнь: начфин и инструктор седали решать кроссворд; за дверью хозяйка рассказывала про теленка.

Голубев вдруг решил:

— Не останусь здесь спать!

Приятель сказал ему:

— Оставайся.

— Нет, пойду в штаб.

— А я вам не мешаю,— заметила девушка и спустилась с печи. Крестьянская статность была в ее фигуре, лицо смугло-свежее, волосы темные, а в черных глазах — доверчивость и решительность.

Осмотревшись внизу, она спросила:

— А куда нового человека положите?

Начфин сказал:

— Садись, Мусенька, за кроссворд.

— Не люблю я.

Она, видать, была баловнем всех военных.

— Чего «не люблю»! Садись, Муся. Кроссворд интересный.

— Да ну... Куда положите командира-то?

— Где ляжет, там и спать будет.

Свесив головы, сержанты наблюдали за девушкой.

— Вергайся, Марина,— сказал один.

Она, не ответив, мельком взглянула на младшего лейтенанта, затем вышла в сени. Разговор о теленке кончился, послышался смех.

Марина долго не возвращалась. Придя обратно, она застала юношу в прежней позе, на соломе.

— Вам наверх можно полезть,— сказала она.

Он ответил неуверенно:

— Там ведь и без меня тесно.

— Ничего, как-нибудь.

Он встал, ноги его затекли. Вестовой в это время принес котелок с первым супом.

— Больше нет ничего.

Начфин пригласил:

— Садись ужинать.

— Ой, и невкусный суп! — заметил вестовой, подавая ложку.

— Ничего, ладно.

Марина стояла, дожидаясь.

— На печь, как — полезете?

Он сказал:

— Хорошо.

— Как вас звать-то?

— Латунин.

— А по имени?

К его положению новичка такая простота обращения как-то мало шла. Он смущенно усмехнулся:

— Петя.

— Третий Петя в хате ночует.

Начфин сказал предостерегающе:

— Му-усенька, ты смотри!

Опять она вышла и вскоре вернулась с блюдцем меда и куском леба.

— Кушай, Петя,— сказала она.

За всем этим сержанты наблюдали без сочувствия; в конце концов, с берега ли свою независимость или протестуя, они спустились с печи и пошли из хаты.

Латунин поставил ногу на лавку, собираясь влезть, Марина застегнула промокшие сапоги.

— Посуши их.

Он начал стягивать сапоги, нога о ногу, но, мокрые, они не снимались. Марина нагнулась и помогла ему, решительно и ловко.

На печи было еще теплей, тепло обступило со всех сторон. Латунин

лег на спину. Над ним нависал потолок, свежее-побеленный, праздничный. От его белизны делалось свежее на душе. Марина достала в углу две подушки и подстилку:

— Ложись как следует.

Петя передвинулся послушно, куда она указала. Ее ласковость была для него неожиданной.

— Тут кто еще ночует?

— А что?

— Не широко ли я лег?

— Лежи,— сказала она, неяркою дотронувшись до его лица.— Мать будет спать, я...

— А те сержанты?

— Как захотят.

— Тут каждую ночь так полно?

— Каждую ночь.

Петя улегся и опять увидел низко над собой потолок. Девушка сидела в углу, словно ожидая чего-то.

— Что невеселый какой?

— Нет, веселый.

Он встретился с ее глазами и смутился. Помолчав немного, сказал словно поборов свое смущение:

— А ты красивая.

— Так говорить не надо. Зачем говорить так?

— Я правду сказал.

Она продолжала смотреть на него.

— А почему скучный?

— Не знаю.

— Скучаешь по ком?

Петя пожал плечами:

— Мать осталась, а больше никого.

Он уже находился в какой-то внутренней зависимости от этой девушки, ему хотелось, чтобы разговор не обрывался, пусть бы был ни о чем.

Вскоре пришла мать. Забравшись наверх, она окинула Петю ласковым взглядом.

— Новый, что ли?

— Новый,— сказала Марина.

— А те где же?

— В штаб пошли спать.

— Там тепла не будет.

— Они везде крепко спят... А у него ноги промокли, пусть посушит.

— Пускай,— согласилась мать.

Она стала раскладывать свой матрац и долго возилась. Петя ждал, чтобы она затихла. Мысли о завтрашнем дне отодвинулись, его ждало ожидание чего-то нового, еще неизвестного, малопонятного, но все же, что может случиться.

Внизу кончили заполнять кроссворд и сели пить чай. Начав рассказ о шпионе, пойманном накануне. Вестовые легли на пол, недолго повертевшись, уснули. Голоса разных жизней слились в одну.

Присутствие девушки отвлекало Петю от плавных, все удалявшихся мыслей, которые вели в сон. Сон тем не менее приближался неотвратимо и уже готов был его охватить, когда он услышал:

— Не спишь?

Он встрепенулся:

— Нет.

— Ты спи,— сказала девушка.— Тебе завтра рано?

— Как позовут.

Мать спала. Внизу приспустили свет. Время от времени он давал вспышку, затем бессильно тускнел.

Петя лег на спину, он еще продолжал ожидать чего-то, но мысли вяли все больше, он не умел в них разобраться и уступил обволакивающей силе сна.

2

Продолжалась ночь. Тень слабо колебалась на потолке. Петя повернулся, припоминая, где он, и заметил Марину.

Он спросил шопотом:

— Что ж не спишь?

Она придвинулась ближе, словно ждала его пробуждения:

— Не сплю... Давай разговаривать, хочешь?

— Давай... А о чем?

— У тебя мать хорошая?

— Хорошая.

— Любит тебя?

— Любит.

— И моя меня любит... Если бы не она, я пошла бы с вами.

— Зачем же тебе? Мы воюем.

— После чтоб не говорили, что дома сидела... Пошла бы.

— Не надо, Маруся,— сказал он, огорчившись при мысли, что она могла бы уйти на войну.

Разговор оборвался. Оба слушали дыхание спавших. Лампа опять дала вспышку. Маруся сказала тихо:

— Бензин загорается... Все, все спят, только мы с тобой... Петя, а ты хороший?

— Как все.

— Нет.

На ее лицо падала тень. С черными глазами и смуглым лицом она похожа была сейчас на цыганку.

— Ты завтра в опасность пойдешь,— сказала она убежденно.— Да?

— Пойду.

— Я так и поняла... Я, как увидела, поняла... Тихо как, и войны словно нет... Будешь спать, Петя?

Он ответил:

— Не хочется.

Девушка поддвинулась еще ближе. Она заметила пристальный петин взгляд и, покраснев, спросила неожиданно:

— Ты думаешь, я так и с другими? Да?

— Да.

Смесь подозрительности и юношеской горячности готова была всплывать в нем.

Марина прошептала, едва сохраняя таинственную тишину слов:

— Никогда я, никогда... Чем тебе побойться? Хочешь, матери побойжусь?

Совсем близко были ее глаза, а в них — горячая убежденность.

— Я как тебя увидела, не знаю почему, подумала: «вот как-то он хороший!»

Их отделяло сейчас совсем малое расстояние, они не осмеливались его сократить. Марина провела рукой по петиной щеке и улыбнулась удивленно:

— Какое у тебя лицо нежное!

Он снова смутился. Подождав, она спросила:

— А ты вперед подумал — я плохая?

— Да-да, — нетвердо ответил Петя.

— Правда, подумал?

Они сидели друг против друга, не двигаясь и прислушиваясь. Петя заметил на глазах девушки слезы. Он произнес испуганно:

— Отчего же ты?

— Жалко вас всех... А вдруг я тебя не увижу больше?..

— Нет, я вернусь.

Она посмотрела на него и вытерла ползущие по щеке слезы. Хотя мыслями привел ее к новому, она спросила:

— Вот я корову дою — ничего?

— Ничего.

— Босая хожу...

— Ничего, — повторил Петя.

Ему не хотелось следовать дальше за ее мыслями. Он готов был бы конца смотреть на нее, ни о чем не разговаривая.

Сверчок за печью пел давно, а они слышали его только теперь. Марина спросила:

— Любишь сверчков?

— Я много их слушал.

— При немцах не пел, — сказала она просто.

— Тебе кажется.

— Нет, не пел.

Они слушали. Звук был усердный и радостный. Петя протянул руку к Марине. Она отодвинулась, и в глазах показался испуг.

— Нет, не надо так...

— Надо, Мусенька... Я ведь уйду завтра.

— Не надо, не надо... — повторила она и погладила его, тем же жестом отстраняя. Рука у нее была сильная и нежная.

Пете стало и жалко себя и неловко. С расстегнутым воротом он лежал, опираясь на руку, а мысли его неслись быстрые и неясные.

Они продолжали разговаривать шопотом. Возникшее чувство то становилось явственней, то словно таяло, чтобы вновь притти. Оба чутьем понимали, что его нельзя трогать и не надо пугать, что оно должно еще устояться и что долго еще ему уставиваться. Но по времена

чувство это переполняло обоих, и тогда они оба замолкали, слушая тишину ночи.

— Петечка,— сказала Марина,— тебе спать надо.

Она поправила его подстилку, взбила подушки и положила их одна на другую. Уже собираясь уйти, она вдруг осмелилась и погладила петину голову. Он посмотрел на нее, у него осеклось дыхание. А Марина уже отодвинулась к матери и оттуда знаком показала ему, чтобы он ложился. Петя долго смотрел на нее и так заснул, видя ее перед собой.

3

В комнате было пусто. Дневной свет несмело пробирался в оконце. Сквозь затуманенное стекло не видать ни дороги, ни изб.

Петя спрыгнул с печи. Вчерашнее возникло в сознании, как сон, недостоверно.

Он протер окно. Был сумрачный день. По дороге, разбрасывая брызги, увязая и пробираясь дальше, шел грузовик. Шофер по колению в грязи, толкал его сзади, а другой, высунувшись из кабинки, рулил.

Ночные ощущения настойчиво возвращались. Петя хотел бы не думать о них, но, отказывая себе в этой тайной радости, то и дело поддавался ей.

В комнату вошла мать. Чертами лица и походкой она напомнила ему Марину. Она спросила певуче:

— А Мусенька не была?

— Нет,— сказал Петя.

— Куда же она убежала?

Достав тряпку, она начала обметать печь. Движения ее были ладные и плавные. Он следил за ними, томимый смутными чувствами. Он ждал прихода Марины.

Она показалась в дверях, неся кринку свежего молока; вскинув на Петю глаза и тут же опустив, сказала:

— Пейте.

Мать заметила:

— Угостила бы как следует. Меду принеси, Муся, хлеба, по-людски чтоб было.

Потом мать вышла. Смущенье Марины возросло. Отрезав толстый ломоть хлеба и налив молока, она принялась за уборку. Петя молчал. Где-то далеко за окном гудел грузовик.

— Вот и уходить скоро,— наконец проговорил Петя.

— Молока выпейте.

Она подняла на него темные глаза, ему стало отрадно и немного печально.

— И не вернешься больше?

— Задание исполню.

— Тяжелое оно?

— Нет. Как всякое задание.

— И я бы с тобой пошла.

Петя улыбнулся.

— Нельзя, Муся.

— Нет, пошла бы.

Они говорили коротко. Эти короткие фразы и минуты неловкого молчания между ними сближали их, приоткрывая полный нового значения мир.

Когда вошел Голубев, Марина встретила его затуманенным, почти невидящим взглядом. Он явился, подтянутый, официальный и обратился

— Товарищ младший лейтенант...

Петя встал.

— Командир полка приказал вам быть к тринадцати.

— Буду.

Голубев отковырнул и повернулся, как на ученьи.

— Ты и после войны офицером останешься? — спросила Марина. Ей приятно было сознание его воинской власти.

— Как придется... Видать, толковый он парень, — снисходительно заметил Петя.

Они выходили из состояния стесненности, но опять им помешали. Вошел инструктор и полез доставать из-под койки свой чемодан.

— Эге, вы времени не теряете! — заметил он, взглянув на них. Это снова смутило обоих, и они утратили найденную было свободу слов.

Вытащив из чемодана смену белья и целлулоидный воротничок, инструктор попросил:

— Вот бы ты, Муся, была хорошая — пришей.

Она отозвалась рассеянно:

— Вечером.

— Ну, гурьоте, ребята. А то пошли, лейтенант, в баню? Ну, как хочешь... Тебя командир требовал, знаешь?

Он ушел, оставив воротничок на столе. Трудно было вернуться к прежнему уединению. Тонкая нить, тянувшаяся от минувшей ночи стала словно невидной при свете дня.

Петя поднялся.

— Надо идти мне.

Он остановился в раздумьи, нерешительными движениями надева на себя шинель. Он ожидал чего-то, сам не зная чего.

— Ну, пойду, — сказал он, наконец, и повернулся, не подавая Марине руки.

На снегу тянулась полинявшая колея дороги. От нее шли следы оттоков и луж, но в перспективе она казалась ровной.

Сапоги, просохшие за ночь, опять стали впитывать влагу. Петя шел, выбирая места, где еще лежал хрупкими пятнами снег.

Навстречу попался начфин.

— Тут зайцев до чорта, — начал он. — Ты не охотник?

— Нет.

— Скучаю без охоты. Как свободное время — тянет в поле. Сейчас заяц выбежал на дорогу. Я в него из «Т-Т», а он — под машину. Кинулся от нее, — навстречу другая... Ночь где спал, на печке? — спросил начфин.

— На печке.

— У нас работать останешься?

— Нет,— сказал Петя.— Вот меня вызывает командир полка для задания.

— Ну, ступай, ступай,— сказал начфин и, кивнув одобрительно, пошел дальше.

4

Подполковник помещался в добротной избе с зелеными ставнями. Перед дверью ходил часовой. Пройдя в сени, Петя постучался. Ответа не было. Он открыл дверь.

Подполковник сидел за столом и писал. Лицо у него было мясистое, волосы редкие, светлые.

Петя произнес, как полагалось:

— Явился по вашему приказанию.

Тот продолжал писать. В комнате было тихо, две мухи ползали по тарелке. Наконец командир полка поднял голову. На Петю уставились два внимательных глаза: ясно было, что они хорошо все понимают.

— Доложитесь.

Петя вытянулся и представился.

— А-а... так. Садись,— подполковник показал на лавку.— Рассказывай о задании.

— Приказано получить задание у вас.

— Так... Сколько раз ходил в разведку?

— Четыре.

— Маловато...

Командир изучал лейтенанта, не спуская с него глаз.

— Говорили мне, ты немецкий знаешь...

— Немного.

— Немного— все равно, что ничего. Ты говори, знаешь или нет?

— Знаю немного,— повторил Петя.

Подполковник отодвинул написанный лист; потянувшись за конвертом, он достал из него бумагу и, читая ее, снова мельком взглянул на Петю.

— Характеристика неплохая, хвалят тебя. Задания бывали сложные?

— Одно сложное... Я справлюсь, товарищ подполковник,— произнес Петя сдержанно.

Подполковник недоверчиво поднял брови. Затем взял карту и положил ее между собой и Петей. Она лежала к Пете углом, и сбоку ему были видны синие и красные дужки.

— Вот тут Курслепово... Сбоку лес, видишь? Его нужно обследовать досконально.— Подполковник повторил:— До-сконально. Понял?

Петя спросил, бывала ли там разведка. Подполковник продолжал, словно не слыша:

— В особенности— вот эти два места.— Он придавил сильным красным пальцем два уголка:— Вот эти, понял?

— Понимаю,— сказал Петя.

Ему хотелось бы знать подробности, однако он понимал, что все, не ясное поначалу, выяснится постепенно, и, сдержавшись, ни о чем не спросил.

— Бывают такие места, как будто все о них знаешь... Но... — подполковник подождал, глядя на Петю, — места эти с двойным дном! Понял?

— Понял, — ответил Петя.

— Чует сердце, в лесу что-то есть. Бывали там мои люди. И сегодня пойдут. Но тебе идти придется отдельно.

Подполковник склонился над картой, пододвинув ее к себе. Вмислив линию концом ногтя, он наметил на карте путь.

— Вот так пойдешь, так... Проводят тебя. Тут дальше сарай. Он надо считать, безопасен. Только вперед проверь все же, не лезь. Небось, знаешь, как действовать? В сарае переоденешься...

— Понятно, — сказал Петя.

Подполковник остановился, затем продолжал:

— Сначала нужно пройти в Курослепово, поглядеть на него разнохатъ. Интересует меня эта деревушка! Ясно?

— Ясно, — повторил Петя глухим от напряжения голосом.

— Вот. Затем уже пробьешься в лес. Стало быть, ночью. — Подполковник подумал и добавил: — Туда можешь в форме.

И он проложил ногтем на карте дальнейший петин путь; глубокая линия врезалась в память.

— Посмотришь — два задания, а по сути — одно; они связаны.

Петя сказал машинально:

— Да.

Пристальный и все видящий взгляд подполковника действовал почти гипнотически. Петя не противился его силе, он как бы отдался ей.

— Нужно будет, окажем тебе поддержку, один не будешь. Но задание, верно, нелегкое. Это помни... Водку пьешь?

— Нет.

— Дадим шоколаду.

— Не стоит.

— Неправду говоришь, — засмеялся подполковник. — Сладстена вед меня не обманешь!

— Любил раньше сладкое, верно, — сказал Петя, повеселев.

Подполковник пригладил рукой редкие волосы и призадумался.

— Ну, как думаешь — справишься?

— Думаю. Меня на фронте в комсомол приняли.

— Третью полка у меня комсомольцы. А посылаю тебя. — Он достал коробку и протянул Пете. Не замечая, что тот не взял, он рассеянно закурил сам, спрятал коробку, жадно затянулся два раза, о чем-то думая. Потом продолжал:

— Вот все говорят: «бесстрашный!» Откуда берется этот бесстрашный? Не отступить при страхе — вот дело в чем. Голова-то при опасности как — работает?

— Кажется, да.

— Ну, тогда все! — Подполковник встал и, протянув руку, сильно потряхнул петину. — Сейчас спать иди, а как стемнеет, выведут тебя. Желаю удачи!

Возвращался Петя другим человеком. Подполковник успел завладеть им: сознавая, что себе он больше не принадлежит, ни о чем другом Петя сейчас не помнил. Он удивился, когда, войдя в хату, увидал

Марину. Это была лишь минутная утрата еще неокрепшего чувства: чувство вернулось, уже знакомое, сложное и смутное, как ночью.

— Сюда иди,—позвала Марина с печи.

Он сел подле нее.

— Ну, что?—спросила она, и снова глаза девушки обожгли Петю. Но он не стал рассказывать.

— Мне отдыхать подполковник велел. Вечером отправляюсь.

Марина заботливо подложила под голову Пети подушки, а сама села неподалеку. Она смотрела на него, готовая молчать вместе с ним. Внизу хлопала дверь, разговор в комнате обрывался и возобновлялся.

Хозяйка сказала кому-то:

— Тут командир отдыхает. Потише.

Он лежал, и неясные мысли уносили его куда-то. В доносившемся снизу приглушенном смешении голосов возникало забытое чувство дома. Потом показалось, что девушка дотронулась до его головы и погладила. Любовь до конца жизни впервые померещилась Пете. Возможно, это привиделось уже во сне.

...Был уже вечер. Наклонившись над Петей, Марина шептала торопливо:

— Пришли за тобой... Пришли за тобой...

Все разом возникло в памяти. Он поднялся. Внизу его ждал сержант. Марина выскользнула за ними. Едва намечавшийся месяц пырлял среди туч. Свет его был еще слаб и нежен. Дорога лежала затихшая.

Сержант Голубев прошел вперед. Осмелев, Марина удержала Петю за руку.

— Придешь?—спросила она шопотом.

Петя сказал:

— Приду.

Она взглянула на него:

— Смотри, возвращайся.

Он по-школьному протянул ей руку и в темноте улыбнулся смущенно. Затем быстро пошел от Марины — догонять сержанта.

Пришли в хату разведчиков. Вскоре оттуда вышла группа в семь человек. Петя нес за плечами туго набитый тючок.

Свернули в поле, пошли, проваливаясь в пористом, неокрепшем снегу. Месяц чуть-чуть забелил дорогу. Гряды облаков шли и шли. Месяц то утопал в них, то прорывался, несясь навстречу новым.

Добрались до балки, узкой тропинкой пришли к следующей. Минули командный пункт роты и осторожно подошли к переднему краю. Тишину нарушали редкие одиночные выстрелы.

Голубев знал, где обходить заставу противника. Петя полз позади него. Они продвигались медленно и неслышно, ожидал, когда спрячется месяц и молочная пелена задернет небо.

Голубев прошептал Пете:

— Там, дальше — посты... Нам вправо, а вам — прямо. Дать своего человека в помощь?

— Как вам было приказано?

— На ваше усмотрение оставили.

Петя сделал над собой усилие и сказал:

— Нет, не надо.

Голубев посмотрел на него, ожидая, будто тот еще не ответил.

— Пойду сам,— повторил Петя.

— Ну, удачи, товарищ младший лейтенант.— Голубев снял варежку и протянул руку.

Они стали уползать, а Петя со сжавшимся сердцем глядел им вслед. Это была самая трудная минута — переход к одиночеству.

Переполненный ощущением близкой опасности, Петя вслушивался напряженно. Он слышал дыхание земли и каждый шорох: где-то осыпался снег, хрустнула снежная корка — быть может, птица прошла по ней или заяц. Все пугало сейчас своей интенсивной, казалось, слишком заметной, жизнью.

Поборов оцепенение, Петя пополз дальше, припадая к снегу. Изредка он касался его губами, ощущая раздражающе пресный водянистый вкус.

Прошло много времени. Все, о чем думал Петя, исчезло бесследно. Он не слышал больше лесных шорохов, а слышал только себя.

Показалась слабая тень строения. Замирая, Петя стал прислушиваться, не доносятся ли оттуда звуки. Но ничего не было — тишина. Сарай казался мертвым. Петя приблизился к нему — сарай был открыт и пуст. Он зашел внутрь. На сырой земле валялись обрывки конской упряжки, в углу стоял застывший точильный круг. Через дырявую крышу виднелось небо, в его молочном скоплении изредка мелькала ясная глубина.

Забравшись в угол, Петя стал быстро переодеваться. Он достал из мешка крестьянскую одежду, дрожа от холода, скинул свою, снял с ремня финский нож. Потом завернул в одежду гранаты, вложил все в мешок. Разрыв ножом землю, Петя уложил мешок и забросал его сверху сухим мусором. Нож он спрятал в другом углу.

Выбравшись из сарая, он продолжал свой путь. Поле было безжизненно. Засохшие стебли подсолнуха царапали лицо. Петя полз, словно по чужой земле, отдаваясь, как во сне, слабости своего тела.

Послышался отдаленный звук: где-то лаяла собака. Звуки шли и в глубины, а где эта глубина, понять было трудно. Звуки обнаруживались и терялись; то они слышались достоверно, то лишь угадывались.

Спустившись покатою дорожкой, Петя обнаружил, что находится в дне глубокого оврага. Овраг тянулся далеко. Деревня прилепилась и к скатам его, и к самой глубине. Добравшись до нее, Петя пополза задом, крадучись и остерегаясь. Опасно было появляться тут средь ночи, собаки могли выдать. Не рискуя испортить неверным шагом дело, он решил вернуться обратно и выполз наверх. Найдя одинокий стог, Петя разрыл сено, забрался внутрь и решил остаться тут до утра.

5

Утро казалось непохожим ни на вчерашнее, ни на прежние. Вчерашнее скрылось из памяти, подобно детству, которое до поры и до случая не является в воспоминаниях.

Петя вспомнил вдруг тот памятный день, когда покидал дом. Память сузилась, защищаясь от прошлого, и безразличие закрыло все.

Никого поблизости не было. Петя выбрался из стога. Увидел утро — серое и туманное. Он отряхнул приставшее сено и пошел в деревню.

Чувство одиночества томило его. Новое положение делало его совсем другим человеком. Он даже шел не своей походкой: инстинкт подсказывал ему, как птице, чтобы со стороны казалось, что он занят своей крестьянской заботой и ни к чему другому непричастен.

Возле плетня стояла равнодушная ко всему собака; дети не попадались. Прошли два немца и не обратили на Петю внимания.

Он остановился возле хаты, и, подумав, вошел. Сердце забилось сильнее.

Возле стола, упершись в него локтем, сидела старуха и качала люльку. Она ничего не сказала вошедшему. Немцев не было.

Петя подошел.

— Здравствуй, бабушка.

Она встретила его молча, продолжая толкать люльку ногой. В избе было холодно.

— Озябла?

— Я ничего,— сказала она,— девочке холодно.

На ноги старуха намотала тряпки, поверх юбки лежал рваный платок.

— А печь почему не топится?

— Чем будешь топить?— Она подождала и добавила:— Не велят за топливом ходить, кукуруза не собрана... А ты откуда?

— С Глубокого.

— Там топят, что ли?

— И там то же.

— Казали, у вас немцев полно.

— Много их.

Она толкнула остановившуюся люльку. Ребенок вздохнул, продолжая спать.

— Еще хуже нашего живете?— спросила она.

Петя подумал: «Что от нее узнаешь?» Он смотрел на бабушку с сочувствием.

— Куда же ваши фрицы делись?

Она смахнула со слезившегося глаза застлавшую его влагу.

— Где тепло — живут, а где не топится — там их нет... На лошадей куда-то ездят дня два уже.

Петя продолжал осторожно допытывать. И хотя бабка разговаривала неохотно, кое-что ему все же узнать удалось.

Выйдя из избы, он пошел, примечая, где курится дым. У колодца девочка насаживала ведро на журавль; из сеней вырвалась сытая, чистая коза; кислый запах тепла потянулся из хаты. По запаху можно было определить, что здесь есть и корова. Значит, и немцы живут, решил Петя и, повинаясь возникшей потребности убедиться в этом, вошел. Ему казалось, что лица их что-то ему объяснят или он узнает что-либо из их разговора.

Два солдата сидели перед огнем и, сняв сапоги, грели ноги. Ноги были подняты вровень с огнем, немцы наблюдали за ними так, как будто это жарилось на сковороде сало.

По виду хозяина легко было догадаться, что он живет с ними в

ладах. Петя ступил в глубину хаты и, сам не узнавая своего голоса, спросил, нельзя ли наменять муки.

— На что менять будешь?— спросил хозяин.

— А вот полушубок.

Тот посмотрел на него пронзительно и недобро. Петя застыл вод этим взглядом, стараясь не выдать себя.

— Сам с каких мест?

По плану Петя помнил расположение деревень. Он назвал одну, подальше отсюда и так же удаленную от позиций.

— Двоих тут повесили,— произнес хозяин, не предостерегая, а скорей с намерением утрашить.

— И у нас одного,— отозвался Петя.

Хозяин пощупал его полушубок. Пока он стоял в такой близости, от Пети, тот напрягся до крайности, чтобы не выдать волнение.

— Не возьму,— решил хозяин.— Такого дерьма не надо.

Петя попятился к двери. Он заметил и косые взгляды солдат, и подозрительный вид хозяина. Уже в снях Петя услышал немецкий окрик. Он выскочил и быстро пошел вдоль улицы.

Долго он ходил с побелевшим лицом, способность наблюдать верну^л лась не сразу. Петя прикидывал в уме, в скольких хатах стоят немцы, сколько всего может здесь их быть. Мысль еще не сложилась, и наблю^л деня не вошли в одно русло.

Он заметил, как за угол повели двух одномастных лошадей, солдаты держали их под узцы. Серые лошади веским, медленным шагом пере^л секли улицу.

Петя пошел за ними, но, передумав, повернул в другую сторону и, сделав крюк, вошел в переулок с другой стороны. Он успел заметить сарай, куда повели лошадей. Через открытую дверь, изнутри доносились громкие голоса солдат. Большая часть слов терялась. Петя тер^л ногу о ногу так, как будто занят был сейчас только этим. Потом сел на снег и начал разуваться.

Он напряженно ловил слова, однако они рассеивались, никак не складываясь в фразы. Он проклинал свое неполное знание языка. Ветра не было, но Пете казалось, что слова относятся в сторону. Все же «лес» он слышал. Он не доверился себе, но показалось, что и вто^л рой раз упомянули лес. Разговор шел о доставке туда орудий.

Словно бы от толчка, Петя почувствовал, что близок к верному, следу. Пришла на память догадка подполковника — тот связывал деревню с этим неизвестным лесом.

Это было, как нить, за которую можно держаться. К Пете пришла уверенность. Он перемотал портянку, встал и пошел дальше.

Стоял сумрачный день, обычный день сырой, туманной зимы сорок третьего года. По верхней дороге прошла машина, на прицепе она везла орудие. Оно двигалось вдали, похожее на силуэт. Петя чувствовал, что дорога ведет к лесу; на карте она не обозначена, она шла стороной, и, скорей всего, немцы проложили ее по снегу в последние дни.

Продолжая осторожные розыски, Петя еще в трех сараях обнаружил лошадей. Очевидно, на них перевозились туда орудия. Его волновал

вопрос, дала ли уже разведка эти сведения, или он первый их принесет. Он не знал, куда приведет его эта дорога, но чутьем разведчика сознавал, что нить, которую он держит, верна.

Пробираясь задом, прячась, он продолжал наблюдения. Ощущение времени утратилось, но внезапно Петя понял, что нужно поскорей уходить. Он собирался подняться по крутой улице, ведущей из деревни, когда встречный немец строго его окликнул. Петя пошел было мимо, как бы не слыша. Немец крикнул:

— Рус, я зову!

Он подошел.

— Ты кто есть?

— Деревенский.

— Кто ты есть?

— Из Глубокого.

Немец продолжал строго:

— Что тебе делать здесь?

— Муки хотел достать.

Немец приказал идти за собой. Он повел его боковой улицей, не спуская с него глаз. В хате, куда они пришли, трое других, так же поднося к огню ноги, старательно грели их.

Они начали задавать вопросы. Петя стоял на своем. До Глубокого было километров десять: покамест проверят, пройдет времени много. Наблюдательность его не погасла: из нескольких оброненных ими слов он понял, что имеет дело с артиллеристами.

— Муки?— повторил один.

— Муки.

Тот сказал, не оборачиваясь:

— Германия есть мука.

Петя сказал:

— Ясно.

Немец обернулся и смерил его взглядом. Петя свой взгляд погасил, ощутив, как подымается в нем злой отпор.

Немец отодвинулся от огня и начал обматывать ноги. Покамест он надевал короткие сапоги, казалось, что надежда еще остается.

Но вот он произнес:

— Идем, ты.

— Куда?

— Коминдант идем.

— Зачем?

— Идем,— угрожающе повторил немец.

Выходя, Петя заметил в углу женщину, смотревшую на него с молчаливым сочувствием.

Они шли по улице— Петя и безучастный к его судьбе немец. Петя думал о бегстве, но бежать было некуда.

У коменданта его коротко допросили, затем отвели в сарай. Дверь за Петей закрылась, стало почти темно. Ржаво заскрипел снаружи засов и тяжело упал на дверь.

Петя сел на ясли. От примерзшего к земле прошлогоднего навоза исходил запах, хотя и слабый. Он раздражал, напоминая почему-то о

свободе, теперь утраченной. Винил Петя себя. Мысль о том, что он довел до конца разведку, терзала его.

За стеной ходил немец. Петя со злобой слушал его шаги.

6

Он пошел в армию раньше срока, заявив матери, что уходят и его товарищи. Шесть месяцев Петя учился в военной школе, привыкая к новому. Он не обладал достаточной тренировкой; с малых лет его увлекало чтение.

Падая в грязь, делая долгие переходы, ночуя на снегу, находясь в ночных секретках, он твердил себе, что все, что доступно другим, будет делать и он. Если бы он допустил мысль, что дорога лишений — одна для всех, он бы, возможно, искал для себя послаблений. Но в действиях товарищей Петя всегда находил для себя поддержку.

Он сделал два прыжка с самолета. Ему стало спокойно после того как, перешагнув через вязкий страх, он сам узнал ощущение смелости.

На фронте, после первых боев, в полку однажды стали отбирать добровольцев в разведку. Спросили, кто знает немецкий язык, и Петя сказал, что знает. Комбат взглянул на него, но в группу не назначил. Из четырнадцати лейтенантов, трое, которых назвал комбат, вышли из строя. Петя, связавший с ними за время учебы свою судьбу, стал теперь, словно покинутый.

Он обратился к майору и нерешительно произнес свою просьбу. Тот снова взглянул на него.

— Хорошо, пойдешь, — сказал он.

Петя перешел на левую сторону блиндажа, к тем трем, и почувствовал себя на месте.

Знание немецкого языка пригодилось: сидя в засаде, Петя хорошо произнес несколько слов, и немцы попались в ловушку. Два лейтенанта привели троих пленных.

Он ходил еще три раза. Прежде мысль о защите родины казалась героической и загадочной, теперь он ощутил ее простую весомость.

Донесение о разведке попало в штаб дивизии. Удачи Пети были отмечены, и его взяли на особый учет. На фронте тянулись дни ожидания. Не знали, что и когда случится, но все понимали, что события наступят скоро.

Его перебросили в другой полк. Он ушел, готовый все выполнить. Он не знал, вернется ли в свой батальон, к товарищам, или нужно будет привыкать к новым.

Теперь он сидел в сарае под замком, сознавая в отчаянии, что провалил задание подполковника.

7

Часовой изредка трогал рукой засов. Он ходил вокруг сарая, шагая. Когда его то приближались, то удалялись. Время тянулось медленно, отмеренное его шагами.

Дверь, наконец, открылась, и Петю повели двором. Он заметил пустырь за сараем и скат оврага. Серовато-молочный снег лежал ровным слоем.

У коменданта сидел переводчик, с водянистого цвета глазами и белыми, как у кур, веками. Комендант сидел с другой стороны стола, прямой и неподвижный.

Переводчик начал с вопросов о том, откуда Петя и кто он, затем стал спрашивать про его часть. Переводчик задавал все новые вопросы. Он время от времени обращался к коменданту. Можно было уловить интерес к Пете со стороны обоих.

Комендант сказал что-то, картаво и резко, и уставился на арестованного.

Переводчик крикнул:

— А ну, сбрось полушубок!.. Ведь повесят тебя, Не тянул бы... Скоро ваши наступать собираются? — Он посмотрел, подражая коменданту, и произнес:

— А мог бы в живых остаться.

Петя стоял бледный, глаза его непомерно расширились. Он молчал.

— Жалеть будешь... Все равно допытаемся. У нас десятки таких проходят.

— Ничего не знаю,— сказал Петя.

— Другие скажут...

— Врете, не скажут.

Переводчик быстро взглянул на коменданта, затем, вскочив, толкнул Петю в живот. Комендант сидел неподвижно.

Петя качнулся. Переводчик ударил сильнее. Петя все же устоял и посмотрел на толкнувшего выжидательно. Тоска, томившая до допроса, перестала мучить его.

— Ничего не скажешь, сволочь такая? Нет, скажешь!

Петя глядел на него, не отводя глаз и сжав челюсти. В это время встал комендант. Он подошел вплотную и как бы надвинулся на Петю:

— Н-ну! Говоришь?!

Под его прессующим взглядом стало трудно дышать. Петя опустил глаза, но тут же поднял их снова. Нелегко было отразить этот взгляд. Сделав непомерное усилие, он вызывающе посмотрел на коменданта:

— Ну, что еще будет?

— Говоришь?

— Не скажу!

— Говоришь?— крикнул комендант.

У Пети дрожала челюсть, он знал, что не имеет права отвести глаза. Спасая свою честь, он глядел в глаза коменданта и ожидал удара.

Устояв после первого, он рванулся вперед. Второй удар свалил его.

Оцепенение прошло. Петя хотел непременно схватиться с немцем, он лез на него. Лицо Пети заплывло от ударов, из рассеченной губы текла кровь. Он дотронулся до нее языком и слизнул с жадностью.

Его швыряли на землю. Он подымался и замахивался, и один раз ему удалось ударить коменданта в лицо. Тогда они кинулись на него вдвоем и стали топтать.

Петя сплевывал кровь, он ничего не говорил. В этом молчаливом сопротивлении было что-то, страшившее его врагов. Петя лежал, ничего не видя, глаза его слиплись, волосы намокли. Он отбивался ногами.

Истязание прекратилось, они отошли. Как в тумане, Петя слышал издали их голоса. Невозможно было встать. Он ничего не видел, все плыло. Он качнулся и упал снова. Почти не видящими глазами следил за противниками.

Наконец ему удалось подняться. Он стоял, с трудом сохраняя равновесие. Две лавки, комод, кровать и свисавшая с потолка бумага думух — все ненужно запечатлевалось в сознании. За дверью крестьянин направлял пилу, издававшую высокий звук. Петя посмотрел на переводчика и не смог удержаться: как в детстве при драке, он смерил его взглядом.

— И дермо же ты! Вот дермо! — сказал он.

Тот бросился снова, но, остановленный комендантом, вернулся к столу.

Говорили вполголоса. Горечь охватила Петю, когда он понял плохой уловимый смысл речи: всё относилось к лесу, который он был обязан разведать. С отчаянием сознавая, что то, что он раскрыл, при нем и останется, он тем не менее старался уловить все. Допрашивавший необходимо было что-то узнать о намерениях русских. Комендант резко и коротко произнес решение. Переводчик сказал:

— У тебя время думать до вечера. Вечером будешь повешен.

Солдат обошел Петю сзади и толкнул в спину. Петя пошел шатаясь. Высокий звук направляемой пилы настигал его издали, он продолжал доноситься и в сарай.

Сырость земли охлаждала. В ней заключалось забвение. Петя раскрыл глаза и сквозь щель в стене увидал белое, чистое поле. Сероватый молочный снег казался безбрежным.

Он лежал в забытьи. Вдруг, словно от толчка, открыл глаза. Не было видно ни щели, ни снега. День ушел.

Петя подумал о том, как умрет. На нем брючный пояс, он решил повеситься на нем. Потом, отказавшись от этого, сказал себе, что убьет на допросе переводчика. Он представил себе, как будет душить его; в самозабвении драки умирать казалось легче.

Затем он стал думать о том, как уйти отсюда. Сарай был велик. Петя пополз вдоль стены. Тело болело ужасно, он останавливался, закрывал глаза. Медленно ощупывая доски, Петя обнаружил в одном месте дыру близ земли. Он попробовал оттолкнуть доску, но она казалась словно чугунной.

Он еще раз прополз вдоль сарая и наткнулся на торчавшее из земли острие; он стал разгребать руками место вокруг него. Земля была крепкая, и, казалось, он сейчас обломает ногти. В конце концов ему удалось извлечь торчавший предмет, — нож — без ручки, широкий ржавый и давно затупившийся.

На минуту Петя отдался отдыху, затем пополз к щели. Он посмотрел в узкое отверстие; смерклось, ничего не было видно. Захотелось опять уснуть. Он пересилил себя и начал копать.

Первые движения показали всю шаткость его надежды, — земля поддавалась плохо, а нож ранил руку. Петя не спрашивал себя, что и этого выйдет, он продолжал работать; от напряжения боль делалась менее чувствительной. Он ни о чем больше не думал, все ушло в движения рук. Он работал, как крот.

Отбрасывая землю на себя, Петя закладывал щель сеном. Время от времени он останавливался и слушал шаги немца. Когда тот приближался, он прерывал работу.

Руки были изранены, но нашлись приемы, облегчавшие труд. Он стал вскапывать землю всем лезвием, чтобы больше сгрести; затем начал вскапывать отдельно, а откидывать после.

Отверстие росло, его скрывала темнота сгустившегося вечера. Петя работал в забвении, не думая больше ни о чем. Вдруг он услышал движение засова. Он успел сделать еще несколько отчаянных бросков, разгреб землю и полез в дыру. Он успел добраться до середины — тело его застряло.

Дверь открывали. Оставалось, быть может, еще две-три секунды для спасения. Петя рванулся из последних сил. Край доски впился в него. Он сделал невероятное усилие, доска впилась больней, следуя за его вырывающимся телом. И вдруг она его отпустила: он выполз и, не теряя времени, заткнул дыру своим ватником. Мелькнул свет передвигавшегося в сарае фонаря. Петя стал отползать; руки действовали, управляемые инстинктом жизни.

Затем он побежал. Он пересек пустырь, взобрался по скату оврага; провалился в одном месте в ручей и, не задерживаясь, перебрался на другую сторону.

Сзади стреляли. Выстрелы были беспорядочные — пули неслись в разные стороны, и несколько просвистело над его головой. Он упал, затем бросился дальше.

Его нагоняли. Петя задышался, он слышал, как его настигают. Он заметил впереди ров, кинулся туда, но сообразив, что там его обнаружат, отбежал в сторону.

Он пробежал шагов сто и свалился в яму. Голые ветки дерева были распростерты над ней. Расчерченное ими, над головой висело туманное, смутное небо. Сердце у Пети билось ужасно, — совсем пропавшее сердце.

Тяжелые звуки сапог послышались близко. Если бы с немцами шла собака, они бы его обнаружили. Но звуки удалялись. Петя слышал, как шумно дышали два немца, преследуя его. Он пополз в другую сторону.

Все тело покрылось испариной. Припав распухшим лицом к снегу, Петя почувствовал облегчение. Сердце билось попрежнему бурно, с ослабевшей силой.

Голоса, наконец, удалились, и наступила тишина. Из деревни доносились редкие звуки.

Он начал дрогнуть. Он провел рукой по лицу, оно показалось ему изуродованным окончательно. Неожиданно вспомнилась Марина: она увидит его безобразия. Думать об этом он больше не стал, отложив до другого, более легкого времени.

8

Долго полз Петя до сарая, где лежало под землей его платье. Он был весь потный и тяжело дышал. Действуя финским ножом, он открыл свой мешок. Больше всего следовало опасаться за гранаты, однако

следов сырости на них не оказалось. Опять он обладал оружием при мысли об этом испытал радостное облегчение.

Натягивая гимнастерку, Петя задел ею лицо, — оно отозвалось мучительной болью. Действовать он все же мог и, не теряя времени, выбрался из сарая и определил направление леса. Нужно было выйти к дороге, по которой днем провезли орудие. Опять он пополз — то мягкому снегу, то по скользкой земле.

В голове Пети складывалась общая картина того, что он видел днем. Еще не имея плана действий, он знал лишь, что непременно должен добраться до леса. Ощущение было такое, словно среди врагов он не ходит не день и не два, а что так давно уже определилась его судьба.

Он находился уже близко от цели, когда над головой просвистел снаряд. Впереди раздался удар. Второй снаряд разорвался сбоку, не долетев до леса. Петя прижался к земле, уткнувшись лицом в грязь. Снаряды неумолимо прорезали воздух.

Петя прислушался: снаряды летели с востока, стреляли по немцам. Догадка осветила его — ему помогают нащупать расположение врага. Ощущение связи со стрелявшими вернулось к Пете. Он смотрел пристально, стараясь пронзить темноту. Переполненный ощущением этой вновь обретенной связи, Петя сознавал, что сложные силы боя пришли к нему на помощь. Весь измазанный в земле, он за мгновение до этого чувствовал себя бессильным и жалким. Он и теперь лежал, прижавшись к мокрой земле, но поддержка, которую ему оказывали, вернула силу.

Лес молчал. Вспышек не было видно. Петя не знал еще, что должен делать, но хотел действовать немедленно.

Он подполз ближе к разрывам. Здесь земля оказалась суше, а снаряды ровней. Он напрягся, вслушиваясь. Вероятно, напуганные немцы поспрашивали в блиндажах. Дорожка самыми драгоценными минутами, Петя устремился вперед.

На место разума снова пришел инстинкт, он помогал находить движения самые верные. Петя забирал то одной, то другой рукой, словно плыл. Вспомнились упражнения в военном училище. Теперь действовал несравненно быстрее, охваченный страстью.

С невиданной силой его пронзило чувство жизни. Словно будущее раскрылось и обнаружило свой самый сокровенный секрет. Петя спросил себя: «А жить останусь?» — и сам испугался этого.

Снаряды ложились ближе, но он не опасался их. Мало ли оставалось для них места, не обязательно же им попадать именно туда, где он лежал. Он занимал такую малую часть земли, что легко мог уцелеть и непременно должен был уцелеть.

Петя прополз мимо опушки. Немцев нигде не было видно. Чтобы не наткнуться на их окоп, он во время повернул обратно и стал углубляться в лес, успев привыкнуть к свисту и близким разрывам. Немцы прятались, а Петя лежал неслышный, как упавший лист, и прибавлял все дальше, обшаривая глазами темноту.

Впереди показалось косматое сооружение. Скрывшись за деревьями, Петя стал его изучать. Он подполз ближе. Все время помня, что сзади наши, веря в их помощь, он делал при каждом разрыве броска.

Один снаряд разорвался так близко, что Петю швырнуло. Он ус

ухватиться за ствол дерева и, прижавшись к земле, на мгновение закрыл глаза.

Потом сделал новый бросок. Теперь можно было разглядеть очертания предметов впереди: это стояли орудия, замаскированные со всех сторон. Прислуга лежала близко. Петя услышал перепуганные тихие голоса. Он знал эту речь в медленном чтении, но с картавостью и особенностями диалекта она казалась ему воплощением чужого — того, что прошло по его земле. Чувство необыкновенной, все пересилившей гордости наполнило Петю при мысли, что он так глубоко забрался в гущу врагов.

Он стремился запомнить приметы места. Нужно так же установить калибр орудий, примерно определить площадь, какую они занимали. Раздался еще один разрыв, а за ним, после затишья, осторожные оклики: справлялись друг о друге. Он услышал не два и не три голоса.

Он понимал теперь свою цель и с постоянной осторожностью ползал, изучая положение орудий. Шумели высокие сосны. От обстрела возникла какая-то новая жизнь, в двух местах загорелся лес. Пламя, однако, не разлилось, остановленное сыростью. •

Он испытал чувство крайнего, высшего облегчения, когда понял, что многое уже знает. Вспышки освещали деревья, за которыми Петя прятался. Он переползал от одного места к другому, продолжая свои наблюдения.

Внезапно раздался окрик. Петя приготовился отскочить, держа наготове гранату. В свете вспышек обозначились тени других орудий. Окрик послышался сзади. Петя прижался к земле. Лес оживал угрожающе, обстрел кончался, и лишь треск замиравших пожаров как бы охранял Петю.

Он услышал знакомый тяжелый бег. Все, что его окрыляло, что приблизило надежду на счастливое возвращение, вдруг сгорело в его отчаянии. Петя сжал гранату и повернулся лицом к бежавшим.

Нельзя было оставаться там, где его застали окрики. Он отскочил в сторону. Немцы шли, еще не видя его. Он дрожал, и дрожь ужасно мешала. У него стучали зубы и тряслись колени. Он приготовил гранату и размахнулся, рассчитав силу броска. Граната сыграла, он упал.

Яростные крики огласили лес. Голоса, разбуженные взрывом, были сильней догорающих пожаров и треска качавшихся сосен.

Петя вскочил после броска и опять отбежал назад. Выход из леса он помнил. Беспорядочная стрельба и беготня немцев помогали ему. Но избежать встречи с ними было уже нельзя. Чувство страшного одиночества охватило Петю, и сердце стеснила слабость. Мелькнуло в памяти что-то забытое, милое и далекое — тишина жизни, блеск спокойной воды. Все тихое от рожденья так завлекло его, что Петя даже закрыл на мгновение глаза.

Услышав крик: «Стоп!», он рванулся в сторону и оказался за группой деревьев. Сзади, ломая ветки, бежали. Петя увидел три тени, расплывавшиеся в темноте. Он смотрел на них и вдруг потерял из виду. Показалось, что сейчас они окажутся около его ног. Таинственность, форму которой приняла опасность, чуть было его не погубила, — он стал смотреть не туда.

Между тем немцы тоже устали от неизвестного и залегли. Простой расчет времени должен был подсказать Пете, что они не могли еще очутиться так близко. Он успел пережить отчаяние неизвестности, но затем вернулось спасительное чувство времени — ощущение, по которому можно определить, где находится враг и когда нужно ответить действием на его действия. Петя стал глядеть в верном направлении и в конце концов снова обнаружил немцев.

Они не стреляли: он лежал, защищенный деревьями. Петя подготавливал гранату, швырнул ее, глотнув глубже воздух, и бросился бежать, слыша позади себя крики и чуть не наткнувшись на пулемет.

Он бежал и падал. Теперь уже трудно было определить, выбирается ли он правильно из леса, однако он продолжал бежать.

Новая вспышка стрельбы огласила лес. Она, к удивлению Пети, шла издали. Как будто то, что здесь происходило, отозвалось в другом месте и непонятным образом расширило зону боя.

Эти выстрелы вернули Пете представление о границах леса. Каждый раз после мгновений раздумья требовалось снова собрать силы, чтобы действовать. Он решил пробираться туда, откуда слышны были выстрелы.

Три пули одна за другой просвистели рядом. Петя успел заметить вблизи от опушки танки. Его обдало чем-то горячим. Показалось, что ухо прострелено. Он продолжал ползти, а деревья все больше редели.

Он уже видел конец леса, когда впереди заметил часового. Петя схватил гранату, но во-время остановился. Он выстрелил из нагана, одна за другой пять пуль пролетели мимо, но шестая нашла часового.

Над головой уже виднелось открытое небо. Еще бы совсем немного, и он оторвался бы от погони. Заскрипели высокие сосны. Затем сразу много голосов стало его наступать. Он почувствовал удар в бок и спину; возникла ужасная боль в ноге.

Он уползал, теряя понимание происходящего. Его охватывала все большая вялость. Она заманивала его, захотелось остаться в поле, закрыть глаза и отдаться своей судьбе. Но спасительная тревога в последнем толчке дошла до сознания. Петя лизнул губы. Неприятная и чужая сухость вывела его из беспамятства. Он снова пополз, видя впереди себя молчаливую и смыкающуюся темноту. Внешняя стрельба доносилась слабо, слух Пети потухал. Он понял уже, что никогда ему не добраться до места, откуда стреляли, и все же тянулся туда, словно там было последнее его прибежище.

9

Начфин получил письмо из дому. Он сообщил всем, что у него больна дочь. Он долго о ней рассказывал, потом стал рассказывать о жене. Затем позвал вестового и приказал подавать ужин.

За ужином он вспомнил:

— Не вернулся тот лейтенант... Наверно, убили. Как думаешь, капитан Смагин?

Инструктор Смагин не любил дурных предсказаний. Он ответил:

— Отчего же? Придет.

— Задание у него, слышать, щекотливое.

— Мало ли куда ходят,— возвращаются!

Марина пытливыми и ожидающими глазами по очереди смотрела на всех. Догадки эти ее беспокоили, но не пугали. За день, прошедший с ухода Пети, она много о нем думала, не тревожась, впрочем, за его судьбу. Но с наступлением вечера почувствовала страх.

После этого разговора Марина вышла из хаты и начала всмагриться в темноту. На небе появлялись редкие вспышки, но фронт был попрежнему тих. Она вообразила себе, как Петя ходит теперь посреди опасности. Ее охватила тревога, а еще больше — нежность.

Вернувшись, Марина забралась на печь. Сидеть в углу, притулившись, было лучше всего — думать тайком. Но она не умела долго сидеть в бездельствии и начала вязать.

Пришел Голубев и тоже залез наверх. Он сел близко от нее и, помолчав, спросил:

— Что, скучаешь?

Она посмотрела на него отсутствующим взглядом.

— Эх, девушки! — сказал он. — Предательницы вы — вот и все!

— Неправильно ты говоришь, — возразила Марина.

Он укоризненно помотал головой, но не ответил. Марина вязала шарф. Голубев поглядывал на нее сбоку; он успокаивал себя тем, что через неделю они уйдут отсюда, придут в другую деревню — он забудет о Марине. «Только вот здесь зажились, — говорил он себе, — да скоро двинемся».

Но что-то все же его глодало, и он не в силах был отогнать чувство огорчения. Он пристально смотрел на девушку. Руки ее двигались быстро. Ему нравились ее руки, а лицо будило в нем беспокойство.

Голубев думал-думал и неожиданно для себя произнес:

— Придет твой милоч, вернется.

— Оставь ты! — сказала Марина.

Ей захотелось спросить, что он знает о Пете, но она не решилась. Часто хлопала дверь, слышались посторонние голоса — веселые, грубые, деловые и снова веселые.

Снизу крикнули:

— Голубев!

Он спустил ноги и, ловко намотав на них портянки, натянул сапоги.

— Голубев! — повторили снизу. — Живей ты!

— Иду!

Марина продолжала вязать. Свет доходил сюда плохо, на руки падала длинная тень, однако Марина быстро ловила спицей петли.

Сержант вернулся и, не снимая сапог, опять влез на печь.

— Вот ведь дело какое... — начал он.

Ничего для себя не ожидая, Марина медленно подняла на него глаза.

— Ты нашему брату не веришь... Через полчаса отправляться: вчера ходили, а сегодня опять.

— Далеко ли? — спросила она.

— Твоему лейтенанту на помощь.

Она не поверила тому, что Пете так уж нужна помощь этого сержанта, и ей стало досадно, что именно он пойдет, Голубев.

Ушел Голубев вскоре, не попрощавшись ни с кем,— вышел и вернулся. Марина осталась одна на печи. Тревога мешала ей работать. Девушка не выдержала, спустилась и, накинув на плечи платок и чай-ватник, вышла на улицу.

Вечер был темный. Марина долго глядела, стараясь проникнуть в его глубину. Лучше не ждать здесь, а самой пойти с ними и сделать то же, что и они.

Она услышала сдержанные голоса и среди них различила голос Голубева. Мимо прошло несколько человек. Марина, крадучись, последовала за ними и, прислушиваясь к тому, что юни говорили, дошла до конца улицы. Она услышала упоминание о Черной Балке и подумала «Лучше бы пробираться Гнилой».

Дальше она не пошла. Голоса удалялись и вскоре совсем пропали. Она долго стояла, затем пошла обратно.

В хате начфин рассказывал что-то о прошлом, о давнем прошлом в котором было столько неистребимого благополучия.

Вдруг где-то ударило орудие. Разговор оборвался.

Начфин сказал:

— Что-то я и забыл, когда стреляли.

Все настороженно ждали. За первым ударом последовали второй и третий. Капитан Смагин слушал с выражением тревожной готовности начфин — как спокойный соучастник.

Вбежал вестовой:

— В штаб всех требуют!

Вслед за ним вошла мать Марины и с доверчивым простодушием спросила:

— А чего ж это бьют?

Она подождала очередного удара:

— Может, наступление началось?

Начфин ответил:

— Нет.

— А то наступление?

— Попугать хотят немца,— сказал он.— Чтоб не спал.

Все в комнате собирались поспешно.

— Чтоб ему сна не было!— ругалась хозяйка.— Ни на том свете ни на этом.

Смагин выбежал первый. Он и пяти минут не отсутствовал.

— Ну, что там?— спросил начфин.

— В подразделение уходим.

— Так-так,— отозвался он.— Добре...— Он потер руки и добавил:— Чего-то, значит, ждать...— И обратился к вестовому:— Сегодня не будешь ложиться. Мусенька!— крикнул он.— Ставь самовар!

Подполковник много раз брал в руки трубку: вызывали сверху а еще чаще он вызывал своих. Из отрывистых фраз трудно было понять происходящее. Связист, подавая то одну трубку, то другую вряд ли знал все намерения подполковника, однако смотрел на него с выражением полнейшей готовности.

Папиросы кончились, подполковник достал кисет и, примяв желтым пальцем табак, стал крутить самокрутку. У него была тонкая папиросная бумага, он облизал ее неторопливо.

— Вызывай тридцать девятый.

Связист, зажав одну трубку плечом, стал звонить.

— Слушают,— сказал он.

— Ну, что у вас там такое?!— закричал подполковник.— Чорт вас дерит! Мне докладывают, что вы выпустили пять снарядов по целям!— Те, видимо, были собой довольны. Он нетерпеливо мотнул головой:— Какого чорта мне ваши сведения! Бейте, как было указано. Ишь, ученые Нашли время громить!

Связист смотрел на него, полный преданности, не понимая, что нужно подполковнику.

Тот, вернув трубку, приказал:

— Давай хозяина.

Вид у него стал более сумрачный, однако, он вернул себе сдержанность, необходимую для разговора с комдивом.

— Докладывает Полбицын... Артиллеристы расшалились немного,— говорят, охота бить... Моя ответственность, товарищ генерал. Позвольте довести до конца. Если те сведения получу, расчет правильный, а нет,— пустая тревога... Я понимаю... И вчера разведка ходила, у нас материал есть, да этот дорог... А? Очень дорог... Вытащу, товарищ генерал, вытащу... Слушаю.

Отдав трубку, он в рассеянности некоторое время держал руку вытянутой.

Связист произнес виновато:

— Курить нету...

— А-а, не надо...— опомнился начальник.— Давай теперь командира третьей.— Он сел на корточки, засунув кисет в карман.

В блиндаж вошел адъютант:

— Привезли ужин. Можно давать?

Подполковник сидел в прежней позе и слушал, как бьют орудия.

— Опять не туда!— Он крикнул связисту:— Давай батарею!— и, вырвав трубку, яростно закричал:— Баловаться будете долго? Отдам под суд! Стрелять, как указано! Что? А я все вижу... Чего-чего? Ушами вижу, ушами! Я дальнзоркий на слух.

Он вернул трубку.

— Ишь ты,— продолжал он спокойнее и пригладил редкие волосы,— обмануть думали.

Адъютант стоял у входа в блиндаж и ждал приказаний.

— Как насчет ужина?

Подполковник спросил незаинтересованно и хмуро:

— А чего там есть?

— Оладьи есть, каша с обеда, консервы.

— Кашу ешь сам.

— Оладьи как?— продолжал адъютант, не смутившись.

— Давай.

Он сидел на земле, вытянув крепкие ноги. Связист, не отрывавшийся от аппарата, смотрел на него любящими и веселыми глазами.

— Эх, жизни!— произнес подполковник.— Ужли сорвется?

Связист сказал почтительно:

— Не должно.

Подполковник медленно посмотрел на него и, снова достав книгу и бумагу, протянул. Связист взял щепоть, уложил и с такой же стателльной любовью, как начальник, лизнул край бумаги.

— Зови штаб,— сказал подполковник.

Начальник штаба, майор, работал во второй половине блинда. Он вошел в валенках, меховушке и ушанке.

— Аль замерз?

— Жизнь сидячая... В батальон послали бы, там было бы жар

Подполковник нахмурился.

— Ладно, работай...— сказал он.— Как операция?

— Все готово.

— Задача понятна всем?

— Понятна... Товарищ подполковник, а ну, как тот парень пропа

— Вернется.

— Могли убить.

Подполковник, смотревший в сторону, перевел взгляд на майора прямой и пристальный:

— Вы людей понимаете?

— Думается — да...— Он подождал, затем спросил:— Ну, и что же

— Такой сделает все, что нужно.

Начальник штаба опять подождал, из вежливости.

— А вы его хорошо знаете?

Подполковник ответил сухо:

— Видел один раз.— После молчания он произнес неожиданно: Я такого в сыновья себе взял бы. Да...

Припомнилось лицо Пети. Он представил себе юношу в смертельной опасности и, резко оторвавшись от этих мыслей, сказал:

— Олады давайте!

Ужинали втроем — он, начштаба и адъютант. Олады брали из заварнутой в полотенце кастрюли и клали в рот, обходясь без тарелок. На свежеобструганном столе светила лампочка от батареи. Подполковник не говорил об операции, как будто забыл о ней. Поев, он выпил кружку горячего сладкого чая. Адъютант отдал вестовому посуду и сказал вполголоса, что привозить завтра. Связист возле телефонов пил чай, громко кусая сахар.

— Давайте карту сюда,— сказал подполковник.

После ужина он омрачился: он любил поесть, и ожидание еды его взбадривало. Теперь это уже позади и куда было уйти от главных мыслей. Он ревниво думал о роли и судьбе своего участка. Эта роль сейчас стала большей, чем вначале предполагалось. Подполковнику не хватало, однако, сведений: вчерашняя разведка существенно нового ничего не дала. Латунина нужно было найти во что бы то ни стало. Подполковник отбрасывал неудачные варианты, но самому себе не мог не признаться в том, что надежд на возвращение Латунина не так много.

Он закурил папиросу и в задумчивости молчал. Начальник штаба сидел с картами. Подполковник вспоминал лицо вчерашнего своего собеседника: этот юноша расположил его к себе. Он поставил на него почти без колебаний.

Опять подполковник резко оторвался от своих мыслей.

— Показывай позиции,— обратился он к майору.

Он отложил папиросу и наклонился. Синие и красные дужки сохраняли стабильность. Лес в районе Курослепова был обведен двойной чертой. О нем известно многое, и все же секрет его не до конца разгадан.

У начальника штаба имелась отдельная карта леса. На нее было нанесено то, что уже засекли и разведали. Подполковник подвинул ее к себе.

— А тут?— он отчеркнул одно место погтем.

Майор без слов, движением лица показал, что тут слабо.

— А это?

— Вот и является вопрос, начинать ли под утро, если не уточним.

— Уточним,— сказал подполковник.

Успокоительно было слышать, что командир так уверенно ждет результата. Уверенность эта, хотя и непонятная, укрепляла надежды начальника штаба. Сам добываясь точности, он любил начальника за то, что тот всегда вносил в дело элемент риска. Это придавало действиям полка большую широту.

Подполковник снова провел на карте заметную борозду:

— Вот тут должно быть кое-что. Я вчера ему показывал. Что принесет — посмотрим... Какие меры приняли?

— Разведка ушла.

— Сколько минут стреляли?

— Да минут двадцать, не меньше.

— Он не мог не быть там... Сообразил, наверно.

— Да ведь вы его не так уж и знаете! Дела покажут, сообразил ли.

Подполковник поморщился, но ничего не сказал. Он подумал: «Быть может, в самом деле лучше было послать снова Голубева? Хороший разведчик, находчивый. Но есть в нем излишняя горячность, а у Латунина этого нет». Он помнил и другое преимущество Латунина — знание языка. С этого именно и началось, но затем перешло в область душевных свойств молодого разведчика. О них и думал теперь подполковник, незаметно для себя отвлекшись от боевой задачи.

— Нет,— сказал он,— послали правильно.

— А ну, как сядет в калошу?

Подполковник, не рассердившись, ответил:

— И так может быть.

Связной сидел тихо. Заметив движение начальника, он наклонился вперед, ожидая распоряжения.

— Давай двадцать третий...— Он обратился к начальнику штаба:— Прислал Черной Балкой?

— Да.

Он взял трубку, и лицо его приняло прежнее хмурое выражение.

— Какие новости?— спросил он. Он слушал, все время двигая пальцами и сохраняя неподвижность лица.— Сколько там километров, три? Общайте все место. На своей земле ищите, не на чужой! — Повернувшись к выходу, он спросил:— Адьютант где?

Связной, покинув аппараты, бросился к выходу, но адъютант гремел уже навстречу, сбегая по ступенькам.

- Лошадь давай,— приказал подполковник.
- Куда сейчас ехать? Подождите до утра. Я съезжу, все выясню.
- Давай лошадь,— повторил тот бесстрастно, думая о своем.

11

После ночного обстрела линия фронта точно натянулась, образуя напряженную и тугую нить. Тем не менее разведчики рассчитали, немцы еще не успели усилить ее новыми группами. Они направились старым путем, через Черную Балку. Голубев запретил подавать голубы и всем дал повязки на руку, чтобы в случае чего опознать друг друга. Они проходили опасную полосу самостоятельно, готовые, если будет необходимо, вступить в бой. Халаты маскировали их. Разведчики, хорошо зная все изгибы и складки этих мест, ползли уверенно; они почти ползли немалое расстояние, прежде чем снова объединились.

Тихое поле окутал туман. Он густо залег в балке, а в воздухе стоял невысоким слоем. Чуть забеленное народившимся месяцем не слабо просвечивало сквозь него.

Леса не было видно; его положение разведчики хорошо знали. Когда оттуда донеслась стрельба, Голубев по беспорядочному ее характеру понял, что она случайная и непредвиденная. Он, не колеблясь, связал ее с разведкой Латунина. И все поняли, что дело в том младшем лейтенанте, которого снарядили вчера. В них заговорили профессиональная связь и гордость, им стало до крайности необходимо выручить своего человека.

Рядовой Лаптев подполз к Голубеву и тяжким от усилия шепотом сказал:

— Чего теперь делать-то? — Голубев слушал, зажмурив глаза. Убиты его там,— продолжал Лаптев.

Неприятно было слушать Голубеву это, хотя о том же, быть может, думал он сам. Нетерпеливым движением он оборвал Лаптева и сделал вид, будто весь поглощен наблюдением.

Стрельба не утихала. Она носила бурный, но разбросанный характер; не бой, а смятенье. Голубев приказал продвигаться дальше. Они рассредоточились и поползли как возможно быстро.

Разведчики находились еще далеко от леса, когда наткнулись на шедшую навстречу группу немцев. Тех было человек девять, они шли по-двое по тропинке, пересекавшей кукурузное поле. Первым заметил их младший сержант Кононов: он ближе всех подобрался к тропинке, чуть не попался им. Уйти было некуда, он лег и лежал, как ком сна, взбугрившийся и неподвижный.

Голубев, находившийся правей, заметил прохождение немцев. Он знал, что разведчики себя не обнаружат и рассчитывал на укрывавший их туман.

Но в то же мгновение ему пришел в голову новый план: внезапно решившись, Голубев выпустил из автомата очередь. Немцы упали. Услышав выстрелы со своей стороны, разведчики, не медля, поддержали стрелявшего. Со стороны немцев полетели две гранаты: они перелетели редкую цепь разведчиков и разорвались позади.

Стрельба, которую открыл Голубев, должна была помочь Латунину услышать, что поддержка близка. Однако Голубев сознавал, что стрельбой этой он изменил ход операции, нуждавшейся в тайне. Он оправдывал себя тем, что иначе все легло бы на плечи того младшего лейтенанта и еще неизвестно, выбрался ли бы он из леса, не имея поддержки.

С немцами было быстро покончено. Один человек в отделении Голубева получил легкую рану, но, быстро перевязав ее, пополз дальше со всеми. Разведчики изменили путь и, двигаясь параллельно лесу, стали уходить от места стычки.

В это время затихла стрельба и в лесу. Весь напрягшись, Голубев застыл, ожидая ее продолжения.

Лаптев снова зашептал:

— Убили, не иначе...

— Брось ты!...— зло сказал Голубев.— Убили да убили! Тогда найди труп!

— А труп чего же— в лесу...

— Ну, в лес проберемся!

Он сознавал несостоятельность своих слов и, собственно говоря, не имел еще твердого намерения, хотя и был уверен, что никто из разведчиков не откажется идти разыскивать тело младшего лейтенанта.

Терять времени было нельзя. Голубев ждал появления немцев со стороны, где только что произошла стычка. Он приказал всем, действуя самостоятельно, обшарить места вокруг.

Но они ничего не обнаружили и решили вернуться туда, где перебили немцев: если Латунин жив, он непременно поползет на выстрелы.

Разведчики лежали в стороне от тропинки, среди сухих стеблей кукурузы, образуя растянувшееся полукольцо. Первый, кто заметил бежавшую на них собаку, был снова Кононов. План его сложился без промедления: схватить собаку за горло и, прежде чем она начнет лаять, задушить.

Собака почуяла людей и кинулась на них. Кононов злыми глазами стерег ее. Не добежав, она с исступленным лаем бросилась вперед. Обманутая выражавшей бессилие позой Коконова, она кинулась на него. Он успел схватить ее. Собака вцепилась в руку, но другой рукой Кононов, как обручем, сжал ей горло.

Немцы, шедшие по ее следам, услышав, что лай прекратился, остановились. Они встревожились и предусмотрительно залегли. Разведчики, пользуясь преимуществом, открыли стрельбу. Позиция немцев оказалась менее выгодной— по ложбинке можно было их обойти; и трое разведчиков двинулись по ней, в то время как остальные открыли огонь. В то мгновенье, когда гранаты, брошенные в немцев сзади, произвели среди них смятенье, остальные разведчики кинулись вперед, чтобы одним ударом довершить то, что начали обходившие.

Подполковник ехал верхом. Лошадь подбрасывала его на ходу размерно, но сильно. Он перевел шаг на более медленный. Навстречу бежал командир восьмой роты.

— Что за стрельба?
— С той стороны, куда Голубев послан,— сказал тот.— Прикажи бой поддержать?

— Можно туда бросить ваших?

— Отделения два, пожалуй, просочились бы.

— Давайте,— сказал подполковник.— Бегом назад.

Лошадь рванулась вслед за побежавшим. Из-под копыт вырвалось несколько комьев земли. Подполковник опять поехал медленней.

«Напутал Голубев! Эх!» — подумал он, освобождая поводья.

Впереди маячила плохо различимая тень, в тумане она казалась крупной. Подполковник приблизился к ней и, не доезжая, окликнул

— Эй, кто там?

Адъютант опередил его, доехал до той неясной в тумане фигуры и, наклонившись к ней, заговорил о чем-то. Затем он вернулся и долго жил:

— Девчонка, шут ее знает...

— Что за девчонка?

— Деревенская, что ли...

Подполковник подъехал туда и остановил лошадь. Перед ним стояла девушка в ватнике; в темноте трудно было ее разглядеть.

— Кто такая?— подозрительно спросил он.

— Здешняя.

— А зачем здесь ходишь?

— Я на выстрелы побежала.

— А что тебе до выстрелов? Война, вот и стреляют.

Девушка не нашла, что ответить.

— Ну?— произнес он.

— Я помочь хотела,— сказала она.

— Это кому же?

— На войне помочь...

Она стояла против него, неотчетливо выделяясь в тумане.

— Ну вот что,— сказал подполковник.— Иди спать.

— Не пойду.

Он тронул было лошадь, затем задержался.

— Почему не пойдешь?

— Нужно мне,— сказала она.— Вы не думайте, я в санроте работаю. Я помочь могу.

Подполковник смотрел на нее сверху: слова ее или голос подействовали на него умиротворяющим образом. Он сказал со снисходительной добротой:

— Иди, дорогуша, спать.

Лошадь снова двинулась, позади пошла лошадь адъютанта. Девушки последовала за ними и вскоре нагнала подполковника.

— Я тут все места внаую... Позвольте пойти, товарищ подполковник. Я перевязывать умею.

— А откуда ты знаешь, что я подполковник?— спросил он, продолжая медленно ехать.

— У нас в хате полно командиров.

Ему показалось, что сзади кто-то движется по дороге. Он обернулся и, придержав лошадь, спросил:

— А там кто?

Человек приблизился и доложил:

— Инструктор Смагин.

— Наш!— сказала девушка радостно.

— Вы ее знаете?

Тот подошел к ней и взгляделся.

— Марина! Ты что здесь делаешь?

— В медсестры просится,— сказал подполковник.— Вы, вот что, возьмите в восьмую роту, пусть с вами побудет... Она места хорошо знает.

— Знаю,— убежденно ответила Марина.

— Держите ее про запас.

Он осторожно хлестнул лошадь; она охотно двинулась и побежала. Уже удаляясь, подполковник крикнул инструктору:

— Чаем ее там напоите!

Он поехал еще быстрее, адъютант за ним, и вскоре оба скрылись в тумане ночи.

13

Уничтожив вторую группу немцев, разведчики быстро ушли. Не успели они отползти, как над ними взвилась ракета. Вокруг стало светло, вторая и третья ракеты взмыли кверху, осветив поле. Голубев приказал отойти в известный им овражек. На дне его протекал ручей. Они лежали, освещенные сверху, ослепленные светом, держа готовые гранаты. Из-за кустов, росших по краю, можно было разглядеть голубое от света поле. Дымка тумана светилась насквозь, увеличивая фантастичность раскраски. Ничего не было на снегу заметно, ни следа.

К Голубеву подполз Лаптев.

— Ну и баня же будет!— сказал он.

— Будет баня... В первый раз, что ли?

— Раненого там, говорят, нашли, товарищ сержант.

Голубев резко обернулся:

— Какого?

— Вот не знаю... Не того ли, что ищем?

— Да ты толком выясни!— приказал он, затем нетерпеливо махнул рукой:— Где там, показывай!

Он пополз вслед за Лаптевым. Было неприятно двигаться под оставившимся ярким светом. Неподвижные ракеты словно вели свое наблюдение. Две потухли, и показалось, что теперь стало немного свободнее.

Они добрались до ручья, протекавшего на дне овражка. На спуске у берега лежало распростертое тело. Боец Новожилов, сидя на корточках, стерег раненого. Было слышно, как течет незамерзший ручей.

Голубев с тягостным удивлением рассматривал изуродованное лицо лежавшего. Он узнал в нем вчерашнего лейтенанта. Инстинкт ли, воля ли, последняя ли настойчивость привели Петю к этому месту, где он оказался укрытым.

Сержант произнес осторожно, как будто не желая тревожить лежавшего:

— Командир, а?

Раненый не ответил. Голубев дотронулся до него: тело было безжизненно слабо, но теплота сохранилась.

Лаптев спросил:

— Сильно пораненный?

— Сильно.

— А жив?

Голубев приложил ухо к груди. Ушанка мешала слушать, он снул ее. Свет вверху гас, но еще удалось разглядеть лежавшего: мертвое-белое лицо лишено было какого-либо выражения, не выражало да боли.

Голубев произнес без уверенности:

— Живой...

— Да вы сами-то в крови! — заметил Новожилов.

Следы крови оказались повсюду. Они были на одежде Пети, руках, на шее. Они были теперы и на лице Голубева.

Свет погас, стало темно и мрачно. Обрисовались суровые очертания кустов, а дальше все скрылось. Лишь постепенно возвращалась р-ведчикам острота видения.

Голубев вытер лицо рукавом, достал флягу с водкой и разжал Пете рот. Однако тот не сделал глотка, и водка потекла обратно. Голубев запрокинул петину голову и опять попытался влить.

Лаптев сказал с огорчением:

— Сильно раненый, навряд ли жить будет.

Сержант повернулся к нему с угрозой и опять занялся Петей. Он готов был на все, чтобы спасти его. Словно они дрались вместе и кровь скрепила их дружбу, — все сосредоточилось для него на том, как спасти младшего лейтенанта. Он не думал теперь ни о чем другом, наконец, заставил его проглотить жидкость. Потом снова уложил Петю и стал растирать ему руки.

— Лейтенант, а лейтенант! — позвал он.

В наступившей темноте лицо казалось еще более безжизненным.

— Слышь, Петя, — продолжал сержант, вспомнив, как тот назывался вчера. — Давай просыпаться, тут все свои... а?

Он еще раз приподнял его и осторожно потряс за плечи. Вдруг Новожилов заметил:

— Мигнул, глядите!

И в самом деле, что-то похожее на слабое шевеление, едва приметная рябь оживила лицо Пети. Он лежал с закрытыми глазами, и все же, как прежде, неподвижный. Однако жизнь к нему возвращалась.

Голубев, забывший до этого обо всем, заторопился, сделался терпеливым. Обстановка во всей ее сложности опять возникла перед ним. Он стал уговаривать Петю, словно тот был в сознании:

— Пробуждайся, слышь?.. Отобьемся, ничего. Мало ли из каких дел выходили. Ты ничего, держись только шибче, бодрись... Слышь тебе, или ты в беспамятстве? Ты хоть головой покажи.

Он вглядывался в темноте в лицо Пети, те двое тоже смотрели все глаза. Все трое заметили, что Петя едва приметно кивнул.

У Голубева отлегло от сердца, главное было сделано: лейтенанта он нашел. Он приказал разостлать плащ-палатку и положить на нее Петю. Потом, наклонившись, произнес:

— Водки дать? Ты скажи— все, что нужно, достанем. Выпотрошим, а достанем! Главное, что живой,— остальное дело второе.

Он показал знаками Лаптеву, чтобы тот остался при Пете, а сам, не без сожаления, уполз с Новожиловым.

Постепенно к Пете возвращалось понимание того, что с ним. Ему показалось, что вокруг него праздник и горят цветные огни. Когда он опять посмотрел, ему померещилось слабое отражение загадочных красок. Лишь затем он понял, что вокруг все темно. Он не все еще понимал, но от сознания того, что рядом с ним люди, ощущал какое-то успокоение. Все плыло, ему казалось, что можно закрыть глаза и отдаться слабости. Но что-то тревожное стало распространяться, мешая возникшему было ощущению покоя. Оно не имело явного очертания и лишь постепенно обратилось в боль. Петя чувствовал ее все сильнее. Понимая, что это боль тела, он опять захотел отдаться чувству душевного покоя, забыться, но оказалось, что и тут что-то мешало; беспокойство шло не только от боли. Петя делал усилия, стараясь найти его причину. Он не находил для него слов, и это было мучительно. Лишь постепенно Петя пришел к пониманию того, что должен что-то сообщить сержанту. Он сделал движение головой. Голова оказалась тяжелой. Он поднял ее, но она тотчас же опустилась.

— Лежи, лежи,— сказал Лаптев,— сила-то у вас небольшая.

Петя произнес сначала беззвучно, а затем с великим трудом повторил более явственно:

— Где сержант?

— Сержанту теперь забота,— сказал Лаптев.— Сержант теперь немец стережет.

— Позови сержанта.

Лаптев с сомнением покачал головой:

— Может курить желаете? Под палаткой можно бы,— не видно.

Петя не отозвался, чем-то занятый; наконец главная мысль, беспокоившая его, нашла для себя слова. Он прислушался к тишине. Ночь слабо светилась сквозь молочно-нежную дымку. Петя повторил с трудом, но настойчиво:

— Давайте сержанта.

Тот не стал больше возражать и куда-то исчез. Петя впал в забытие, а когда ему удалось опять на минуту открыть глаза, перед ним снова был Лаптев. Может быть, сознание пропадало не надолго.

Лаптев сказал:

— Сейчас сержант будет.

Петя находился в туманном мире, в котором реальное перемешалось с призрачно-смутным.

Раскрыв глаза, он прежде всего заметил кусок посветлевшего неба и совсем рядом со своими — другие глаза, которые где-то видел прежде. Спустя некоторое время все определилось отчетливей: перед ним был Голубев.

— Есть связь с полком?— едва слышно спросил Петя.

— Пока что нет.

— Нужна связь.

— Нет у меня рации,— сказал Голубев.

— Доставьте меня в полк.

Он не заметил, как Голубев усмехнулся. Потом, посмотрев в сторону, сержант сказал:

— Да ведь выберемся ли еще, товарищ младший лейтенант...

Петя не понял, о чем идет речь.

— Мне необходимо в полк,— опять сказал он.

В ответ послышалась стрельба: она шла с края оврага и приняла сразу бурный характер. Голубев сказал в утешение:

— Будем пробиваться.

Он приказал Лаптеву охранять Петю, а сам скрылся в темноте. Из глубины оврага видны были частые светлые вспышки. В бескрайней темноте то и дело загорались и гасли резкие полосы. Петя глядя на эту картину, не отдавая себе в ней отчета, Лаптев накрыл и вскоре он снова впал в беспамятство.

Уже находясь наверху и руководя операцией, Голубев вспомнил слова Латунина и тут без колебаний решил, что нужно во что бы то стало доставить Петю к подполковнику.

Стрельбу открыли немцы. Сколько их, невозможно было определить. Голубев приказал двоим отстреливаться, а остальным отходить. Они прошли южным краем оврага и выбрались из него с другой стороны. Петю несли на плащ-палатке. Сквозь забрызганную стрельбой, то его тащили плавно, то начинали трясти, один раз чуть было не уронили. Разведчики ютились, а заслон попрежнему вел стрельбу. Но когда и он отошел, немцы, заметив его исчезновение, быстро двинулись в юбок оврага. Разведчики уходили быстро, не так уж много оставалось им до того места, где они перешли линию фронта, когда обнаружилось, что немцы охватили их с двух сторон.

Вблизи нашлась более или менее сносная складка, за которую спрятались люди. Голубев расположил их полукольцом и сам лег в центре. Положение было трудным — тыла у группы не было, и в любую минуту ее могли окружить.

Разведчики отстреливались яростно, и резкие вспышки далеко вешали небо. Голубев приказал отходить в другую сторону, минуя завалы, и идти параллельно фронту. Снова оставили здесь заслон и старались пробиваться небольшими группами.

14

Подполковник Полбицын находился в батальоне, ближе всего к мыкавшему к месту действия разведчиков. Он имел возможность в любую минуту следить, куда передвигался Голубев и, как бы мыслила засекая точки его передвижения, напряженно ждал, чтобы разведчики пересекли фронт.

В это время командир взвода Лебедев принес известие, что место, где прошел Голубев, немцы оградил усиленным охранением, и разведчики не пройдут.

Подполковник сидел возле печки. В блиндаже находились Смагина и Марина. Она сидела по другую сторону печки и словно ждала своего срока. Подполковник успел к ней присмотреться и разговаривал с ней открыто.

- А еще проход есть?
- Другим не пользовались.
- Он сказал недовольно:
- Как же без запасного? Эх, раззявы!
- Этот до сих пор не подводил.

Командир роты, старший лейтенант, стоял, ожидая распоряжения.

Подполковник угрюмо молчал.

- Разрешите — пробьемся, — сказал старший лейтенант.
- Куда там пробьетесь!

Он думал теперь не столько о Латушине, сколько о группе Голубева, — как бы и ее не захватили. Приближалось утро. Еще небо было темное и холодная пронзительность рассвета не ступила на землю, но командир полка чувствовал движение времени, его неумолимый ход. Он чувствовал, что наступит утро, а нужных данных и, следовательно, окончательно уточненного плана действия не будет.

— Смагин, если вас пошлю, справитесь? — обратился он к инструктору.

— Справлюсь.

— Командир взвода выделит двенадцать бойцов. Нужно найти проход и притти на выручку Голубеву.

— Разрешите мне, — сказал старший лейтенант.

— Нет уж, оставайтесь.

— Товарищ подполковник, на моем участке не был подготовлен запасной проход...

— Чего там говорить! Пойдете вы, — он обратился к Смагину, — и за самое короткое время постарайтесь вернуться. Дела сегодня хватят.

Марина была попрежнему неподвижна. Поза ее и полужакрытые глаза говорили о том, что, попав в землянку, она дальше не рвется. Но когда Смагин вышел, она незаметно выскользнула за ним.

Через несколько минут Смагин вернулся, на его лице было смущенье.

— Ну что? — спросил подполковник. — Медлить нечего, отправляйтесь.

— Уходим, — Смагин сделал шаг в его сторону и сказал: — Разрешите обратиться?

Подполковник бесстрастно на него посмотрел.

— Девушка говорит, что знает в этих местах все тропы.

— А ее-то вы хорошо знаете?

— Как сказать правильной?.. Пожалуй, поручился бы.

— А не жалко вам девушку?

— Товарищ подполковник, — сказал тот, — я хочу сберечь людей.

Подполковник помедлил. Затем произнес холодно:

— На ваше усмотрение.

Смагин вышел. За дверью блиндажа его ждала Марина. Небо скривилось, туман казался еще более далеким. Слышны были частые выстрелы, и казалось, что они близки, что до них легко добежать, — стоит лишь пересечь поле, которое таинственным образом уходило вдаль.

Но для Марины таинственности не было: эти места она несчетное число раз пробегала прежде, они казались ей продолжением ее дома, деревни и детства.

Марина ждала капитана, готовая повести людей. Она не видела предстоящем опасности и не испытывала страха.

Вскоре собрались назначенные в группу бойцы. Смагин придирочно оглядел каждого, поскольку это оказалось возможным ночью. На его шинель была надета кое-как. Он ощупал ее и сказал:

— Заправиться надо получше.

Боец провел рукой по груди, не понимая, к чему еще он должен думать.

— Все одно,— сказал он.

— Ну-ка, заправься!

Бойцы поглядывали на неясно выделявшуюся в темноте девушку.

— Пошли,— сказал капитан.

Они взяли резко вправо, много правей того места, где до этого находился Голубев. Они пошли осторожным ночным шагом. Марина шла рядом с передними, и казалось, что ведет не она, а другой человек.

Но, пройдя немного, Смагин спросил ее:

— Теперь как же?

Они пробирались едва заметной тропинкой, ее давно замело снегом, и только ноги чувствовали протоптанный след.

До этой поры Смагин шел, не отделяя девушку от остальных, но когда пришлось ползти, и Марина оказалась впереди, он неожиданно вспомнил тепло ее хаты: лежала бы на печи, ничего не зная, и как бы после всех превращений ночи, так или иначе все бы узнала. А ведь ползет наравне с его людьми, подвергаясь такой же опасности.

Она попрежнему не испытывала страха и уверенно продвигалась вперед.

Вглядевшись, она начала колебаться, правильно ли повела их. Здесь одно такое тайное место, где немцы вряд ли могли оказаться. Когда-то, убежав летом из дому, она ненароком открыла его. Когда-то лежал усохший ручей, от него вылилась дорожка, и когда Марина пошла, то, к удивлению своему, оказалась не там, где ожидала. Дорожка сделала два незаметных витка и привела ее много выше. Марина не раз потом забредала сюда, и зимой и летом, и всегда это место сохраняло свою глухую безлюдность. Оно было узкое, тут и там не прошла бы, и людям неудобно — их легко можно окружить.

Чутье говорило Марине, что и сейчас тут никого нет. Слушая рассказы Голубева, она всегда представляла себе места, про которые он говорил. Все места она знала. Однако Гнилая Балка не упоминалась ни разу, и Марина была уверена, что и немцы не знают о ней. А знают — так легко будет захватить их, потому что подобраться к ним можно совсем незаметно.

Они продвигались дальше. Марина слышала, как дышит позади молодой солдат; другой чуть не закашлялся, но во-время удержался. Ей было слышно, как он осиливал раздражение гортани.

Марина не заметила, как подползли к Гнилой Балке. Оглянувшись и не увидев поблизости Смагина, она впервые забеспокоилась.

— Дальше как? — спросил инструктор, выпотая к ней из темноты.

Он все время прислушивался к продолжавшейся перестрелке, которая носила беглый характер. Несколько раз ему казалось, что Голубев

клоняется от цели. Судя по звукам, он отстреливался, все время меняя позиции.

Марина рукой показала вниз. Трудно было что-либо определить в темноте, но когда двинулись дальше, тропинка в самом деле повела извилисто и отлого книзу. Они ползли по-двое, осматриваясь при каждом шаге, — нет ли чего по сторонам. Кусты таили в себе разные неожиданности. Смагин, поравнявшись с Мариной, заглянул ей в глаза, и ему передалась ее уверенность в том, что путь этот верный.

Он больше не удивлялся тому, что девушка, вчера угощавшая их медом, участвует в таком предприятии. Он доверился ей и, как всегда при совместных опасных действиях, отдал ей частицу своей судьбы.

Чем больше спускались, тем глуше делались выстрелы. Поглощенные переходом, бойцы меньше следили за ними. Они ждали, когда оплчаты витки тропинки и опять начнется подъем. Они ждали этого подъема, как будто именно он заключал в себе решение их задачи.

15

Между тем у Голубева ранило двоих, и Петю задела еще одна пуля, — она скользнула по рукаву, оцарапав руку. Он слабо вскрикнул и тут же умолк.

Голубев приказал нести раненых. Их тащили на трех плащ-палатках, все время отстреливаясь. Они отходили по старому направлению, не подозревая того, что там невозможно пройти. Двигались с большим трудом; каждый раз, оставляя заслон, ползком удалялись. Они поворачивали то влево, то вправо, вводя немцев в заблуждение. Но силы их иссякали. Тащить троих, выдерживать бой и находить путь для отхода — все вместе требовало слишком большого напряжения. Темнота ночи и блеклый туман охраняли их, но приходилось все время следить за тем, чтобы враг не очутился позади.

Им казалось, что самое трудное они уже одолели, когда Новожилов вдруг сообщил, что с правой стороны приближаются немцы. Голубев был весь в поту, в глазах он ощущал сильную резь.

Он спросил хрипло:

— Где видишь?

Новожилов показал направление. Голубев убрал мешавший ему автомат, прополз немного вперед и сказал:

— Не вижу.

Ему показалось, что огонь слабеет. Он резко повернулся в сторону противника и, не целясь, выпустил очередь. Опять он посмотрел, куда указал Новожилов, и произнес:

— Ничего не замечаю.

— Вон там, — Новожилов протянул руку в неопределенно далекое пространство.

И тут оба увидели туманную фигуру, бежавшую к ним из темноты. Они приготовили гранаты, но выжидали чего-то: слишком уж странным и необъяснимым показалось намерение одного человека бежать на группу.

— Ну, и дурной! — сказал Голубев. Он спрятал гранату и сунулся за автомат.

В следующее мгновение он опустил автомат и приподнялся: бежит девушка. Что-то знакомое померещилось Голубеву. Он еще не ведал себе, настолько велико было изумление.

— Да то ж Маруся! — произнес, дивясь, Новожилов.

Они опустили руки. Со стороны немцев донеслось несколько очередей, наверное, и они заметили эту тень.

— Убьют... — почти без голоса произнес Новожилов.

Тогда Голубев вскочил и побежал к ней навстречу.

Марина ползла впереди Смагина. Все чутко прислушивалось к стрельбе. Они подыались уже по извилистой тропинке, потеряв на время представление о стрелявших, и когда услышали ее снова, им стало ясно, что Голубев отступает прежним путем. Все поняли, что с каждым шагом подходит ближе к ловушке.

Марина ползла бледная. Поглощенная своими усилиями, она заметила, как очутилась впереди. Оглянувшись и никого не увидев, почувствовала страх. Ей показалось, что никто, кроме нее, не знает еще, что грозит Голубеву. Волнение охватило ее, шумело в ней, и она ничего больше не слышала. Она двигалась все быстрее, но больше не в силах была терпеть такое медленное приближение к цели и, наконец, побежала.

Бежала она в туманной молочной темноте, не сознавая близости немцев и чувствуя приближение к своим. Она не сознавала и того, что свои же могут ее поразить гранатой.

Она услышала свист пролетевших пуль, но, отгороженная от страха крайним, напряженнейшим стремлением, продолжала бежать.

Вдруг кто-то на нее налетел. Она успела сжать кулаки, но не смогла замахнуться. Человек сшиб ее.

Она услышала:

— Кто ж так под смерть кидается, дурная!

Они лежали рядом. Она уже поняла, что это — Голубев, и была рада ему, как родному.

— Не туда отходите, — повторяла она, задыхаясь. Там немцы.

— А они повсюду.

— На Черную Балку нельзя... на Гнилую идите. К нам отходите.

Голубев тут же понял важность ее слов. Задача заключалась теперь в том, чтобы отвести свою группу и соединиться с той, которая шла на выручку. Голубев и Марина добрались до разведчиков. Они продолжали отходить прежним путем, когда Голубев приказал повернуть.

Марина приблизилась к раненому, лежавшему на плащ-палате. Сердце ее вдруг отказало; она наклонилась, ожидая увидеть Петю. Глаза лежавшего светились в темноте, она уловила их сильный блеск. Это был не Петя.

Раненый встретил ее спокойными словами:

— Вот, сестричка, куда ты забралась.

Ей необходимо было ползти дальше, но она знала, что оставить раненого нельзя. Еще со вчерашнего дня у нее в кармане остались три бинта. Она достала один и, спросив бойца, куда он ранен, начал неумело, но со старанием делать перевязку: подняла шинель, не снимая

затем гимнастерку и, велев раненому повернуться стала мотать вокруг туловища бинт.

Больше она не слушала выстрелов. Она занималась своим делом. Лаптев потащил, не предупредив ее, плащ-палатку.

— Погоди...— начала Марина, но тут же сообразила, что ждать не приходится.

Она поползла за палаткой. На следующей остановке Марина перевязала еще одного. Петя оказался третьим.

С тем же чувством опытной утешительницы Марина, различив его в темноте, глянула на него, распростертого на плащ-палатке. Что-то кольнуло ее, очень больно.

Она наклонилась и произнесла тихо:

— Петенька...

Ей показалось, что он мертв. Лицо его было безжизненно, изуродованное и распухшее, без движения и без надежд.

— Петенька,— повторила она, полная невыразимой жажды сделать все и все отдать для его спасения.

Голос Марины дошел до Пети словно из сна. В забытии, в котором он находился, много видений проходило мимо. В одном из них явилась какая-то девушка. Он не пытался открыть глаза, его мучил холод, и только с холодом он боролся в своем забытии.

Петя услышал повторный оклик, мягкий и полный заботы. Он лежал в прежнем положении, ожидая, чтоб виденье повторилось. Но оно пропало.

Марину потребовали к Голубеву — показать, куда надо отходить. С тяжестью на душе, но безропотно она оставила Петю, молча на него посмотрев.

Отсутствие Марины Смагин обнаружил после того, как прополз порядочное расстояние. Он подождал остальных. Никто не знал, куда она скрылась. Впереди ее не было. Группа его, продвинувшись дальше, попала вдруг под обстрел. Смагин приказал не отвечать на стрельбу. Между тем перестрелка, за которой они следили, сначала удалилась, затем послышалась много ближе.

Он не успел еще принять решение, когда из темноты возникли фигуры движущихся навстречу людей. Момент был трудный: если приближались немцы, он, давая им подойти, мог погубить и людей, и все дело; если же это были свои, он, открыв стрельбу, погубил бы их.

Отделение лежало, подтянувшись к нему, не дыша. В это мгновенье решалось, схватятся ли разведчики в молчаливой схватке с немцами, или найдут своих.

Кто то сказал:

— Та девушка...

Чувство отрадного успокоения охватило бойцов. Они еще зорко всматривались, проверяя, не ошибся ли сказавший, но вскоре убедились, что он увидел верно. Группа Голубева подползала человек за человеком! Перетаскивали раненых. Нехватало двоих, прикрывавших последний ее бросок.

Все с нетерпением слушали перемежающуюся стрельбу. Она становилась все более редкой. Нельзя было терять ни минуты, но Смагин

приказал ждать. Он выставил охранение, готовое, если покажутся немцы задержать их.

Уже на небе начала высветляться темносиреневая полоса. Приподнялся один человек. Долго ждали другого. Томительно было слушать редкие выстрелы, одинаково понятные для обеих сторон. Немцы могли показаться с минуты на минуту.

Новожилов попросил разрешения идти на выручку. Смагин сказал сухо:

— Потом еще и за вами посылать?

Время растянулось до последнего предела. На темном крае неба укреплялась полоска рассвета. Она менялась медленно, но все смотрела на нее, и казалось, что она разрастается у них на глазах. Наконец в тумане обозначилась тень ползущего. Было тихо, больше никто не стрелял, и лишь со стороны немцев продолжалась стрельба — сильная, но беспорядочная. Судя по ней, они потеряли направление ушедших.

Группа быстро двинулась в сторону Гнилой Балки. Марина могла нести Петю. Тело его безжизненно покачивалось на плащ-палатке.

Он очнулся уже в овраге. Края палатки закрывали его от остальных. Он заметил лишь руки, державшие его. Не сразу Петя сообразил, что одна рука — женская: она была меньше других. Он что-то припомнил, ничего не помня. Затем видение вернулось, послышался знакомый голос. Он захотел подвинуться, но не смог. Ему удалось издать слабый звук. Над ним склонилась Марина. Он не сразу узнал ее, но, узнав, он удивился.

— Скоро, Петенька, — сказала она.

Он слушал ее и медленно впитывал слова, приносящие успокоение.

Но тут Петя вспомнил, что дело его не закончено, и удивился, как это до сих пор не думал об этом. Беспокойство охватило его и вернуло силы. Он оперся на локоть и попробовал приподняться. Тело ответило сильной болью. Петя застонал и повалился. Не вставая больше, он что-то сказал: в первый раз его слова не дошли — было лишь движение пересохших губ. Петя повторил, сам не слыша себя.

Марина, наклонившись, переспросила. На этот раз она поняла.

— Мне нужно в штаб, — говорил Петя.

— Донесем, — сказала она.

— Нужно скоро.

Плащ-палатку опустили на землю. Заметив, что все остановилось, Петя начал волноваться. Он сказал, что ему нужен старший. Марини привела Голубева.

Не узнавая его, Петя произнес с большим усилием:

— В штаб... срочно...

Тот сказал:

— Донесем.

— Срочно надо...

— Сведения?

Петя нетерпеливо кивнул.

Голубев предложил передать сведения ему, — он пошел бы вперед. Но Петя не мог собрать свои силы. Он не в состоянии был рассказывать.

Тогда Голубев выслал вперед бойца, чтобы предупредить в штабе. Когда разведчики выбрались на дорогу, им навстречу ехали две повозки.

раненых уложили на сено. Маруся села сбоку Пети. Она держала его за руку, не говоря ни о чем. Вся жизнь проплывала мимо, жизнь с жертвами, большой любовью и большой заботой,— такой, что у девушки защемило от боли сердце и захотелось плакать.

Когда повозка подпрыгивала на выбоинах дороги, Марина заботливо поддерживала тело Пети, охраняя его больше желанием и чувством, чем реальной своей помощью.

Фронт словно замер. Стрельба кончилась, ночные события ушли в подпочву. Загадочность военной ночи и таинственность темноты пропали. Когда повозки въехали в деревню, уже занялся рассвет.

16

Подполковник приказал внести Петю прямо к нему. Он ждал его в своей хате и туда же вызвал врача.

Снаружи послышался медленный скрип колес, цокнула лошадь. Подполковник поднялся и пошел к двери.

— Сюда-сюда,— сказал он.

Петю осторожно внесли. Глаза его были открыты. Он увидел подполковника, и на его лице промелькнуло едва уловимое движение.

— Ну, молодец,— сказал тот. Он обернулся к начальнику штаба:— Говорил тебе, а?

Петя все теперь сознавал. Он понял, что в чем-то здесь сомневались; он знал, что не нужно было сомневаться, но не стал тратить сил на этот разговор.

— Смотри, врач,— сказал подполковник.

Когда врач подошел, Петя, как-то мучительно изловчившись, приподнялся. В комнате еще горел свет; лампа, стоявшая на столе, отбрасывала тень, она скользнула по лицу Пети. Он сделал движение и попал в полосу света. Все увидели, что лицо его обезображено опухолью и заплыло. Но Петя не помнил вчерашних истязаний и не заметил выражения боли в глазах подполковника.

Подполковник сказал:

— Смотрите, доктор, скорей.

Но Петя вмешался:

— Передам материал сначала.

— А можешь?

— Могу,— ответил он.

— Тогда все выйдите,— приказал подполковник.

Он обвел взглядом лица и тут заметил Марину:

— Вон кто здесь!.. Ты с какой хаты, дружок?

— По этой же улице, на том конце...

Он сказал, уже занятый чем-то другим:

— Ладно...

Врач попробовал было вмешаться:

— Хорошо бы сначала перевязать.

Но Петя решительно отказался. С ним остались подполковник и майор. Пришло время рассказывать. Он волновался, опасаясь, что не сумеет передать все с нужной точностью. Подполковник велел подать

карту. Оба привыкли уже к обезображенному, похожему на искусное осами, лицу юноши.

Он понял, что нужно рассказывать не события, а свои наблюдения — Можешь по карте показать?

Они перенесли Петю на кровать. Майор поднес лампу. Наклонившись, Петя искал места, где видел орудия. Нужно было восстановить ход своего передвижения и понять по карте, откуда он проник в лес.

С мучительным, заслонившим боль усилием Петя восстанавливал обстоятельства ночи. Подполковник ждал. Он, видимо, сам начал волноваться. Он оказался прав, доверив дело этому юноше, но теперь был бессилён в его присутствии и зависел от него.

— Как?— сказал он сдержанно и, по видимости, спокойно.— Дело идет на лад?

Петя продолжал припоминать, болезненно ощущая напряжение на чальника.

— Да ты не спеши, все рассмотри— время у нас еще есть.

Майор тайком посмотрел на часы: без двадцати минут восемь. Каждая минута на счету. Он перевел взгляд на командира: непонятная ему уверенность подполковника снова вернула ему надежду.

Петя продолжал глядеть на карту. Он нашел Курослепово, стал припоминать, где его там взяли и как повели. Ему показалось, что он понимает расположение того сарая, куда его заперли. Он припомнил положение снежной дороги.

— Ну, как?— спросил подполковник.

Петя боялся сбиться. Он вспомнил угол, под которым стоял сарай по отношению к улице, положение пустыря. Ему показалось, что место, откуда он проник в лес, найдено.

— Припоминаешь?— терпеливо спросил подполковник.

Его лица не было видно, оно находилось в тени. Поглядывая и на Петю, он думал с огорчением: «Не выдержит— потеряет сознание! Упорство и напряжение, с которым Петя искал свой путь, вернули подполковнику вчерашнее чувство, и с внутренней ласковостью он смотрел на распухшее лицо юноши.

Желваки на щеках майора нервно двигались; он нервничал за обоих.

— Вот так...— начал Петя.

Его палец вступил в зеленую зону леса.

— Здесь,— показал он.— Здесь... здесь...

— Что здесь? Рассказывай.

Будь что будет,— Петя стал размещать на зеленой краске карты огневые точки.

Достав из планшетки другую карту, майор сличал. Началась работа, столь привычная для штабиста. Он сличал и устанавливал, в чем петины сведения не совпадают с прежними, что уточняют, что оставляют невыясненным и что открывают вновь. Видя состояние Пети он опасался верить его показаниям. А подполковник между тем повторял

— Так... подходяще...— Он провел ладонью по волосам, словно отделяясь от мешавшего возбуждения, и сказал:— Правильно говоришь.

Они переглянулись, майор и он. Майор хотел было что-то возразить, но уверенность командира победила его: они посмотрели друг на

друга, как два человека, одинаково сознающие значение полученных сведений.

Петя продолжал показывать. Они слушали теперь, уверенные в его правоте и готовые положиться на эти сведения.

Петя закончил, а подполковник все еще продолжал глядеть на карту. Майор ждал.

— Что же у нас тут?— произнес, наконец, командир полка.

И они начали разбираться в том, чего Петя не понимал. Исползовав лес, немцы наметили в этом районе удар. Кое-что в полученных показаниях подполковник дополнил чутьем. Он хорошо знал район леса; мелочи, подробности, которые Петя запомнил, создавали уверенность в том, что сведения правильны.

Больше нельзя было терять ни секунды. Подполковник сказал начальнику штаба:

— Звони хозяину.

Он обернулся к юноше и посмотрел на него новыми глазами:

— Куда ж тебя, милоч, покалечило?

Петя ответил:

— В несколько мест.

— И что, до сих пор не перевязали?

— Меня та девушка забинтовала.

— В живот не попало?

— Нет.

Подполковник протянул руку, дотронулся до петиного плеча.

— Не зря они тебя калечили, много ты у них из-под носа стащил...

А в деревне как было?

Тогда Петя припомнил события дня; казалось, это было очень давно.

Он сказал:

— Истязали меня.

Подполковник ничего не ответил. Такие мысли пробудились в нем, такая теплота подступила к сердцу, что, забыв, как дорого время, он стал думать о чем-то, о чем можно думать, когда касается дело очень близкого человека.

— Спасибо тебе!— сказал он потом.— За всех спасибо!

Осторожно опустив Петю на подушку, он вышел из комнаты за врачом.

17

На небольшом протяжении фронта было, разумеется, трудно понять масштаб происходящего. В это утро, когда туман рассеялся и мглистый рассвет усилился до полной зимней зрелости, начались боевые действия на участке в сто восемьдесят километров. Артиллерия заговорила не сразу — сначала в одном месте, затем в другом и в третьем. Если бы удалось услышать ее на всем протяжении начавшегося боя, показалось бы, что один за другим включаются регистры чудовищного органа.

В ту ночь таких разведчиков, как Латунии, в тыл к немцам про-
никло не два и не три. Истинно дело было лишь частью общего, отме-
тившего эту богатую происшестввиями ночь.

Но когда открыла огонь артиллерия и сотни орудий заговорили внят-
ным для всех языком, данные подполковника, те, в какие он больше
всего поверил, оказали свое влияние на ход борьбы: через полчаса посл-
начала обстрела лес в районе Курослепова был обессилен, его огне-
вые точки подавлены. Резервы, которые имели здесь немцы, были раз-
громлены. Бойцы полка, захватив первую линию траншей, без промед-
ления двинулись дальше. Они шли по проломам, которые образовало
и немецких линиях действие огня.

Подполковник с утра находился на командном пункте. Руководя
боями на своем участке, он не знал еще точно, как широко разливается
по фронту волна наступления. Ему донесли, что взята вторая линия и
бойцы подошли к лесу. Следующее донесение говорило о том, что лес
окружают и немцы в нем сопротивляются слабо. Затем последовал пере-
рыв. Подполковник приказал наладить связь с командными пунктами
батальонов.

Он сидел внешне спокойный. Волнения его не замечали окружаю-
щие; он курил, фантастические планы заполняли его голову. Это он
убедил командира дивизии в том, что отсюда выгодно будет ударить
удар намечался прежде не здесь, потому что считали, что одолеть лес
будет трудно.

Подполковник ждал новых сведений. Не получив их, он собрался
уже ехать в подразделения, когда телефонист, наконец, добился связи.
Возле телефона был адъютант. Он схватил трубку:

— Ну, что там?— Затем переспросил:— Чего-чего?— Еще раз спро-
сил и закончил:— Ладно! Только связь держите надежней. Хозяин
сердится.

Вернув трубку, он посмотрел на командира.

— Что у них?— спросил тот не торопясь.

Адъютант еще немного помедлил, для большего впечатления.

— В лесу находятся,— торжествуя, сказал он.

Подполковник не удивился.

— И немцы в лесу?

— Им завидовать не приходится, товарищ подполковник, даже если
они в лесу.

Тот простил адъютанту вольность и сказал миролюбиво:

— Ну что же, тогда поехали.

Адъютант убежал и, вернувшись спустя две минуты, доложил, что
лошади ждут.

На дороге не замечалось особого оживления: проехал обоз с ящиками
мин, затем прошли две машины. На дороге, куда свернули, тоже было
малоллюдно, хотя она и вела к линии фронта. Подполковник подхлесты-
вал лошадь и вскоре оказался у недавнего переднего края. Перед
траншеями тянулась проволочная сеть. Колья во многих местах
были выворочены, и проволока бессильно свисала. В окопах лежали
убитые.

Дальше дорога была черной от грязи. По краям ее валялись опроки-
нутые тележки, двуколки на резиновом ходу, трупы лошадей. Вперед

слышны были частые выстрелы. Ровное с едва заметными складками место скрыло картины многих горячих ночных боев. Несколько ворон кружило над полем недавнего боя.

Лес наметился вдали невысокой густой полоской. Подполковник свернул туда. Заметив шесть связи, он приказал связисту, схавшему позади, слезть и связаться с командным пунктом. Тот привычно принялся за дело: подключил аппарат и, накрывшись с головой шинелью, стал вызывать узел связи. День был тихий, и ветра не было. Сыроватая пелена едва настилала землю. Подполковник ждал, не слезая с лошади. Провода свисали, образуя плавные мягкие дуги.

— Что говорят?— спросил подполковник.

— Курослепово взяли.

— Нужно будет командный пункт перенести,— сказал подполковник и двинулся дальше, сохраняя задумчивость.

Он знал, что главное впереди: еще не настала минута, когда необходимо он,— именно он, а не кто другой. Он словно берег себя для этой минуты.

Они были уже на опушке леса. Лошадь подполковника неожиданно испугалась чего-то и заупрямилась.

— Ну ты!— сказал ей хозяин.— Чего?

Она стояла с опущенной головой. Он потянул за повод. Она не подняла головы и двинулась неохотно. В нескольких шагах, в стороне за деревьями, лежала павшая лошадь. Внутренности ее вывалились.

Верховые медленно углублялись в лес. Наконец они добрались до батарей. Подполковник разглядывал следы тщательной маскировки. Ничего почти не осталось от зеленых навесов, орудия лежали опрокинутые или сдвинутые с мест и поврежденные. Одно уткнулось в землю стволом, другое сползло с колес. Он имел возможность оценить, какая огромная сила сопротивления была выведена метким ударом при начале боя.

Ночные плутания и поиски Латунина предстали в новом свете, и хотя все было уже позади, подполковник, вдруг представив себе, что перенес юноша, утратил за него. То, к чему он, казалось бы, привык, выросло в его сознании в подвиг.

Осторожно объезжая воронки, трупы орудийной пристуги и части орудий, подполковник проехал лес до конца и выехал из него с другой стороны.

Он ехал в Курослепово, предварительно приказав адъютанту связаться со штабом дивизии. Бой развивался сообразно своим законам, позади был большой, кропотливый труд.

— А обед куда привозить?— спросил адъютант, собиравшийся вернуться в деревню.

— В Курослепово, а то, может, и дальше — как пойдем.— Он помолчал и затем прибавил:— Теперь пойдем, затишье кончилось...

Петю перенесли в избу санроты. Его уложили на две составленные вместе скамьи, на них перед тем положили матрац. Раны оказались серьезными. И лицо, и ноги, и плечо были забинтованы. С трудом он

находил положение, при котором боль была бы не так тяжела, но все проходило в полубеспамятстве. По временам его охватывала тревога: с усилием что-то припомнить и после тягостного усилия вспоминал, что все уже сделано. Тогда становилось легче, и он опять забывался.

Заметив возле себя Марину, он посмотрел на нее долгим и, показалось ей, безучастным взглядом. Она ждала его слов,—хоть одно бы слово он сказал ей. Она вышла из хаты и осталась в сенях. Проходивший мимо военфельдшер увидел, что она плачет.

Он собирался войти, взялся уже было за ручку двери, но остановился

— Ну чего, чего?— сказал он.— О чем? Жених, что ли?

Марина ответила.

— Нет.

— Так чего же? То все помогала — молодец молодцом, а тут ослабла. Чего ты?

— Ничего,— сказала она.— Сама не знаю.

Военфельдшер пожал плечами, не зная, как ее утешить. Он еще задержался недолго, но, не найдя решения, вошел в комнату.

Петя лежал в прежней позе, глаза его были закрыты. Военфельдшер взял его руку, пощупал пульс. Пульсом он остался доволен. Затем оттянул книзу закрытое веко.

— Отправить бы нужно,— сказал он.— Вечером будет машина.

Марина еще стояла в сенях. За это короткое время чувство любви как бы отдалилось от нее: она поняла безошибочно и с неожиданной женской трезвостью, что он — больной, сильно раненый, что его спасти нужно, что ему нужно делать уколы, перевязывать раны, давать лекарства и кормить с ложечки; что он долго еще будет слабый и даже после госпиталя будет нуждаться в заботе. На место пылкого чувства в сердце пришли усердие и преданность. Она готова была день и ночь ходить за ним, отвоевывать его у болезни. Стало стыдно думать о счастье, которое она вчера себе вообразила.

Она вернулась в то время, когда фельдшер делал укол. Петя, не раскрывая глаз, поморщился мучительно, когда конец шприца вошел под кожу. Затем к нему вернулась прежняя истомленная неподвижность.

Марина все хотела спросить у фельдшера, как будет с Петей дальше, но не решалась. Она подошла к столу и взяла пузырек.

— Что ты даешь?

— Доктор приказал.

Он посмотрел на ярлык, взболтнул:

— Давай, ладно.

Затем передумал:

— Нет, после укола пропустим.

Все же лекарство Марина дала. Затем села у изголовья кровати и стала терпеливо глядеть на улицу.

И улица и вся жизнь представлялись другими,—не потому только, что военный успех, еще не названный, уже вошел в сердца всех, кто услышал утренний гром артиллерии и первый рывок возникшего боя. Марина своим опытом дошла до нового понимания того, чего раньше не знала. Случилось это неожиданно, она не могла бы сказать, когда именно. Она глядела на улицу. Дорога была пуста, редко-редко проезжали повозки, еще реже — машины, звуки боя успели удалиться.

Марина чувствовала себя не наблюдательницей: случилось так, что великая многолюдная сила подхватила ее и понесла с собой; ощущая себя маленькой, почти невесомой, Марина все же сознавала, что ее окружает эта многолюдная сила.

Вскоре стали приводить и приносить первых раненых. Марина засуетилась, но и в заботах не потеряла этого нового всеохватывающего ее чувства связи с происходящим.

Иные после перевязки уходили в санбат; фельдшер писал направление, объяснял маршрут. Несколько человек осталось. Они лежали в разных позах, кто на носилках, кто взобрался на печь. Марина пошла к хозяйке и приготовила раненым поесть. Она напоила их чаем и принесла махорки. В хлопотах она ни на минуту не забывала о Пете и ждала лишь знака с его стороны, чтобы прийти на помощь.

Но он попрежнему ни о чем не просил. Она, наконец, освободилась, подошла к Пете, опять села у изголовья и потихоньку окликала его.

Петя не отозвался. Без всякой надежды она снова позвала. Петя медленно раскрыл глаза, посмотрел на нее. Рука его с трудом потянулась из-под одеяла. Марина испуганно смотрела, еще не понимая, что он хочет сделать. Петя медленно освободил руку и, протянув ее, взял руку девушки. Ей захотелось сказать ему что-то — от самого сердца, что он узнал, как она его любит. Но она лишь наклонилась и спросила:

— Больно тебе?

Он покачал головой.

Он не отпуская ее, лежа в полузабытыи. Рука то слабела, то сжималась сильнее, передавая непонятное для Марины, но приворожившее ее движение чувств. Она сидела, не смея двигаться.

Один из раненых попросил покурить. Марина высвободилась — осторожно, чтобы Петя не заметил. В последнее мгновение он попытался ее удержать.

Она принесла еще махорки и снова села возле него. Петя лежал с раскрытыми глазами, он смотрел на Марину ясно, будто после сна.

— Наступают? — спросил он.

Марина сказала:

— Да.

— Хорошо наступают?

— Хорошо, — сказала она, — уже и боя не слышно.

— А тот лес?

Сожалая, она ответила:

— Про лес не слышно было.

Тогда Петя попросил:

— Позови кого-нибудь, Муся.

— Кого?

— Из командиров.

Она быстро накинула платок и вышла. По привычке, она побежала домой. Странно было ей после стольких событий опять возвращаться в свою хату.

Там, где помещался штаб, уже было пусто. В комнате остался лишь начфин. Он укладывал папки с делами, и вестовой, с молотком в руках, ожидал, когда можно будет прибить крышку ящика.

Вслед за Мариной вошла мать. В ее глазах мелькнули беспокойство и испуг и радость.

— Где ж это ты была, от господи!

Марина не успела придумать, что скажет ей.

— На фронте была,— призналась она.

Мать переспросила:

— На фронте?!

Опять глаза ее отразили попеременно разное: и испуг, и удивление. Марина по блестящим глазам матери поняла, что та и поражена, горда.

— Чуете, какая у меня дочь?— сказала она начфину.

Он был занят делом и ответил торопясь:

— Так и думал.— Лишь передав ящик вестовому, он распрямил и весело посмотрел на Марину.— Девка у вас золотая! А ну, Мухомор, рассказывай!

Она сказала:

— Вас тот лейтенант зовет.

— Какой это?

— Который ушел в разведку, Петя.

Начфин сказал горячо:

— Веди к нему, где он? Сам хотел искать его. Идем!

Мать успела взглянуться в лицо Марины. Она безошибочно угадала, что с дочерью случилась какая-то перемена. Ей стало чего-то жалко: минувшего детства дочери, что ли. Заметив, что Марина готова итти, она сказала:

— Да куда ж ты? Все уходят, что теперь делать будешь?

Только теперь Марина поняла, что, действительно, все уйдут, а оставят. Ей показалось, что без них никак невозможно будет жить.

Они вышли. По дороге начфин рассказал ей о разведке Латуни. Марина испытывала все большую привязанность к Пете, это чувство наполняло ее беспредельно. Отрешившись от чего-то радостного и естественного, Марина подумала, что, если он изуродован, так и это хорошо, и никто не скажет, что она на лицо польстилась. Но втайне она и не думала, что лицо Пети опять станет прежним.

На улице было тише обычного, выезжали отделы штаба, проехав кухню, на которой сидели девушки из полковой столовой. Марина посмотрела им вслед и спросила себя: не лучше ли было бы и ей отправиться вместе с ними?

День был на исходе. На горизонте сквозь облака просвечивала багровая полоса заката.

Они пришли в избу санчасти. Петя лежал в сознании. Начфин как вошел, сразу заговорил:

— Никто к тебе не являлся? Вперед все ушли. Небось, явятся позже. О тебе, брат, страсть что рассказывают. Ну как, сильно тебя скрутило?

Петя сделал попытку усмехнуться, но лицо его потеряло способность отражать частные оттенки, оно выражало лишь главное и основное. Оно было напряженным, словно Петя стоял на посту. Он посмотрел на начфина с пытливой строгостью и ничего не ответил. Тот от этого сердца хотел утешить его или развлечь. За всем этим стояло невысказанное уважение к петиному подвигу.

Петя спросил, где его сумка. Он вспомнил о письме, которое начал писать. Он попробовал приподняться и не смог. Кое-как, положив бумагу на кусок фанеры, он нетвердой рукой написал несколько слов. Он известил мать о том, что жив, но ранен, что раны нелегкие, но жить он останется, что он напишет с нового места, а куда отправят, еще неизвестно. Письмо носило почти деловой характер.

Был вечер. Деревня стояла тихая. После отъезда отделов она казалась пустой.

Врач, вернувшийся из батальона, зашел осмотреть Петю. Он сказал: — Ничего, починят! Опять будешь целый ходить.

Петя спросил:

— А нельзя здесь остаться?

— Зачем?

— Не хочется в тыл.

— Нельзя,— сказал врач.— Тебе ведь не два дня лечиться.

Петя не стал настаивать; он понимал, что это бесполезно, и спросил лишь, долго ли придется лежать.

— Долго,— сказал врач, не щадя его.

Марина, стоя в стороне, перематывала старый бинт и думала о своем. Ей больше всего хотелось быть с Петей до тех пор, пока он не встанет. Она не знала, возможно ли это, и не смела об этом говорить.

Начфин принял у Пети письмо и обещал завтра отправить. Он говорил что-то ободряющее. Петя слушал безучастно. В его душе происходила медленная работа: сквозь боль и усталость он все еще продолжал вести для самого себя неясный счет. Мысль о том, что сегодня он сделал что-то важное, разливалась в нем, как тепло и покой. Она проникала повсюду, и всему существу делалось от нее легче.

Он знал, что бой ушел далеко, и не испытывал зависти к его участникам, сознавая, что свое все же сделал. Его ночные действия скрылись, казалось ему, в недрах той ночи. Особенных слов для своего поступка он не искал.

Было хорошо от того, что рядом Марина. Того бурного взлета чувств, который так странно родился в первую ночь, Петя не ощущал. Появление Марины здесь он воспринял, как продолжение давнего и хорошего прошлого. Но вот, перехватив ее взгляд, встретив его так же — неподвижно и пристально, Петя стал думать о ней. Мысли его, густые и пебыстрые, настойчиво обращались к ней, и была в них неразличимая поэтичность.

— Где тебе больней всего?— спросил начфин.

— Все болит,— сказал Петя.

— Теперь — дело второе. Главное было выбраться!

Пете казалось, что и начфина он знает с малых лет, с очень давних лет. Он не чувствовал себя молодым в эти минуты: сознание многоопытной взрослости наполняло его.

Начфин продолжал:

— И воевать тебе больше, брат ты мой, не придется,— кончится война без тебя.

Петя сказал:

— Нет, придется.

— Куда там! К тому времени от немцев лужа останется.

— Я вернусь,— повторил Петя.

— Ты хорошо воевал, Латунин, можешь честно смотреть всем глаза. Кто у тебя дома, отец, мать?

— Мать,— сказал он.

— Невеста, небось, одна да другая!

Петя, недоумевая, свел в складки лоб и посмотрел в сторону Марины. Ему стало досадно, что начфин задел ее. Марина не заметила этого взгляда.

В хате пахло лекарствами. Двое раненых спали на печи, один лежал на носилках. Начфин разговаривал о том, о сем. Петя присаживался к его пустым словам и к боли в своем теле. Время от времени он натягивал ослабевший бинт.

Резко отворилась наружная дверь.

— Еще не отправили?— спросил кто-то.

Знакомый был этот голос, но Пете не видно было, кто вошел. Начфин встал.

— Здесь, товарищ подполковник,— сказал он торопливо.

Дверь распахнулась шире,— распахнул ее командир полка. В хату вошел командир дивизии, генерал.

Он был среднего роста, на нем хорошо сидела бекеша. Папаха и лала его выше. У него было характерно тонкое лицо грузина. В разговоре с ним подполковник казался могучим.

Генерал обошел комнату и подошел к петинной лавке. Петя попытался встать, но не хватило сил.

— Лежи, лежи,— сказал генерал.— А врач где же?

Начфин сказал:

— Был здесь. Опять уехал вперед.

— Помощники у него есть?

— Все на передовой.

— Помощь оказали?

— Да,— сказал Петя.

Генерал огляделся. Он заметил раненых, которые не проснулись. Начфин сделал движение в их сторону, генерал показал рукой, что их не тревожили.

— Как вчера действовал?— спросил он и, не дожидаясь ответа, произнес сам:— Все знаю. Хорошо действовал! Молодец! Молодец Латунин!— Он протянул руку, которую Петя не догадался принять. От лица командования благодарю.

Все последующее происходило в какой-то странной для Пети и реальности: генерал достал из кармана коробочку и, наклонившись, начал шарить по петинной груди; он наколол булавкой рубаху слегка задел грудь.

— Родина вас награждает.

Петя не видел ордена и не знал, какой это орден,— он не решился на него взглянуть. Все несло мимо, увлекая с собой его впечатления, и лицо подполковника, смотревшего на него с добротой, и характерное лицо генерала, и лицо Марины, блеск глаз которой он видел.

Наконец Петя приподнялся. От подушки отделилось его распухшее изуродованное лицо, выражавшее и страданье, и волнение, и решимость. Он сказал:

— Спасибо, товарищ генерал.

— Эх, не по правилам отвечаешь! — засмеялся тот. — Ну, ничего, зато по правилам действовал. — Он обернулся к стоявшим и спросил: — Неплохую молодежь комсомол подготовил, а?!

Начфин отозвался первый:

— Чего там говорить — орлы!

И генерал, удовлетворенный этим словом, повторил:

— Орлы, верно.

Петя молчал, смущенный и сбитый словами пришедших. Он думал, что нелегко теперь будет себя оправдать — и этот орден, и похвалу, и легко. Один день он прожил правильно, а впереди еще столько дней. Теперь нельзя уже прожить их bestолку. Он думал об этом, но слабость мешала, мысли были не очень отчетливыми. Он понимал лишь, что предстоит еще совершить что-то необыкновенное.

Подполковник вспомнил и пошутил:

— А когда уходил, шоколада так и не дали?

— Я обошелся, — сказал Петя.

Генерал заметил:

— Это поправить можно. Выпиши там ему.

— Сделаем, — сказал подполковник.

Разговор носил полужутливый характер. Неожиданно генерал сказал строго:

— Сегодня ночью эвакуировать. Следить за ним, из виду не теряйте. Выздоровеешь, опять к себе возьму.

Пете очень хотелось спросить о результатах дня. Он, наконец, получил эту возможность.

— Голубчик мой, — сказал командир дивизии ласково и насмешливо, — генеральное наступление началось. Понимаешь ты или не понимаешь?

— Понимаю, — сказал Петя, не отрывая глаз от него.

Такое волнение охватило его при мысли, что он участвовал в общем наступлении, что все смешалось и стало необыкновенным.

Генерал быстро ушел. Все пошло за ним из хаты, и даже Марина, которая стояла все время молча, пошла их проводить.

Тут подполковник заметил ее и сказал командиру дивизии:

— А эта, думаете, товарищ генерал-майор, так — медсестра? Она-то моих разведчиков и провела в тыл.

Генерал торопился.

— Ладно, ладно, — сказал он на ходу. — Об этом доложите подробно.

И, успев лишь покоситься в сторону Марины, исчез в темноте.

Шофер нажал грушу, неизвестно кого предупреждая. Он отворил изнутри дверцу, и оба сели. Машина тронулась. Начфин, как замороженный, побежал за ней. Он пробежал несколько шагов, а затем пошел обыкновенным шагом.

Марина осталась одна. Ей стало грустно. Что-то новое пронеслось рядом и задело, оставив щемящее чувство. Она стояла, не двигаясь, и легкий сырой ветер колебал ее волосы.

События этого дня теснились в сознании, она снова переживала их и готова была принять жизнь такую, какой впервые увидела из глубины уходившего дня.

АЛЕКСАНДР ЗОНИН
МОРСКОЕ БРАТСТВО

Роман¹

Николай Ильич нагнулся над умирающим Ковалевым.

— Я разыщу ее после войны. Слово даю тебе, Андрей Артемьевич.

— Крепкое слово ваше, Николай Ильич. Матросское спасибо за него, я много раз слышал, а теперь и сам скажу...— Резкий крик прервал его речь. Он что-то беззвучно шептал, и потом Долганов услыхал:— Я бы с флага не ушел... На вашем новом миноносце плаваю.

Так неожиданно повернув свои объяснения, Ковалев заволновался и кровь стала обильно накапливаться на его губах. Николай Ильич стер кровь платком, повторил:

— Твои родные и мне, и жене будут родными, Андрей Артемьевич.

Но Ковалев думал теперь о другом. Веки его с усилием поднялись широко открылись заблестевшие глаза, и с жалостью к себе он заговорил:

— Через десять лет... большие эскадры... не увижу... адмиралом будете... вспомните... Ковалев мечту имел в океанском флоте служить, а сейчас надо было... кто куда, поближе к войне...

Новый неистовый удар в киль рванул тело раненого с дивана, он всхлипнул, и кровь хлынула из судорожно скривившегося рта.

Николай Ильич подsunул ладони под плечи Ковалева и, не отрываясь, глядел, как умирала жизнь на лице Андрея. Судорога прошла. Мечтательное выражение застывало на губах, в гаснущих глазах, в поднятых бровях. Андрей перестал дышать.

Долганов был потрясен смертью Ковалева надолго. Между приказами и докладами, в деловитом бодрствовании и в наплывающей кроткой дремоте, он признавался себе, что не сумеет рассказать об этой смерти правдиво. «И никто никогда не расскажет так, чтобы на суше поняли такую всепоглощающую любовь моряка к флоту», — думал он, расхаживая по мостику в конце этого дня.

Качка продолжалась от крупной мертвой зыби, и транспорт продолжал делать суматошные движения, то натягивая буксир, то рыска вперед, но циклон промчался. Под стон чаек с палуб сгоняли воду сгинули для сушки чехлы, обтирали металл, проверяли хода орудий.

¹ Окончание; см. №№ 1, 2 «Знамя», 1945 г.

Обычные деловые будни вернулись во все помещения корабля, кроме лазарета, где лежал обернутый в простыни и закрытый флагом Андрей Ковалев. Косые лучи солнца пробивались между холмами воды через иллюминатор. Они бродили по лбу, по лицу, продолжавшему хранить высокую мечту. Сенцов, только что оставивший койку, с вывихнутой рукой на перевязи, долго силился разгадать смысл этого выражения. Потом он поднялся к Николаю Ильичу и спросил, о чем говорил Ковалев в последние минуты.

— Если я повторю слова, будут ли они такие весомые, такие большие? Нет, не возьмусь, Сергей. Ковалев меня научил, что как хорошо мы ни думаем о наших матросах, в чем-то мы просчитываемся, чего-то недооцениваем. А с ними все возможно.

Он помолчал, набил трубку, затянулся и повторил:

— Все возможно, даже операция, какую я надумал.

Сенцов поправил свою перевязку и покорно сказал:

— Я пойду с тобой. Может быть, и в самом деле я тихходный тральщик.

28

Теперь это не было преувеличением. Лицо Наташи действительно стояло перед ним в затуманенном мокром стекле кабины. При последнем телефонном разговоре он угадал вот это самое презрительное и злое выражение ее лица... Она была права. Оказалось, что Кононов плохо усвоил школу войны...

Самолет трясло, как будто машина не летела, а ползла по кочкам. С усилием Кононов резко вытянул вперед руку, с усилием провел рукавицей по стеклу, избавляясь от навязчивого представления. В раненой позе при движении остро повернулся осколок, и его охватило тошнотворное головокружение. Инстинктивно, до синевы под ногтями, он сжал рукоятки штурвала, перевел руль высоты вниз.

Когда он опять посмотрел вперед, самолет на крутом крене врезался в дождливое облако, за стеклом струилась вода и смывала укоряющий образ.

— Правый мотор дымит, и вытекает масло,— сказал штурман.

— Убираю газ до малого, перевожу винт на большой шаг,— хрипло ответил Кононов. Он стыдился, что штурман говорит в спокойном, деловом тоне, ни словом не упрекнув его. Небрежность в момент, когда снаряд вражеского истребителя подбил мотор и из всасывающих патрубков высунулся язычок пламени, была явной. Десятилетний мальчуган обнаружил бы его непростительную глупость. Надо было быстрым разворотом вправо облегчить стрелкам отражение атаки. А он растерялся, сделал что-то совершенно несуразное, и немец всадил еще два снаряда, расстрелял Ладо за бронированной спинкой, повредил правую сторону Руля высоты.

Он мало думал о них, мало. Значит, это он привел к гибели товарищей, чудесных парней, веривших в него. Едва замечал их, а теперь вспоминает десятки случаев, когда они показали себя самоотверженными, добрыми, преданными, выносливыми, веселыми... Почему он так плохо

ценил их, почему позволил себе забыть, что рискует не только своей жизнью, но и их жизнью?.. И еще было мучительно, что из его смерти сделают героическую легенду, что никто не узнает, как он опозорил себя в этом вылете. Внезапно он принял решение, которое его облегчило: если неповоротливую теперь машину догонят немцы, он даст радиogramму о своей преступной ошибке. Надо умереть честным человеком.

С этим решением вернулась ясность мысли. Он стал трезво обдумывать положение, пока самолет, тяжело гудя, рассекал полосу дождя.

Выход из торпедной атаки происходил на форсаже. Когда транспорт взлетел на воздух, моторы работали на полную мощность, и температура была на максимально допустимом пределе. Надо было увеличить смазку, а доступ масла в правый мотор резко сократился: вызвал быстрый перегрев, падение оборотов. Он правильно сделал, что убрал газ и перевел винт на большой шаг. Тряска уже уменьшилась.

— Им теперь не до преследования. Лишь бы перышки сохранить в бою с «Яками», — нарушил молчание штурман.

Кононов не отозвался. Ему казалось, что он видит, как в соседней кабине штурман отрывается от карты и обдумывает, как бы поделится с ним помощью командиру восстановить душевное равновесие. Гордость Кононова возмутилась. Он малодушно молчит о своей вине, штурман притворяется, что не презирает его за малодушие. Впервые за много, много месяцев он ощущал, что чье-то превосходство бесспорно, и никуда не мог укрыться от внутреннего признания своей душевной бедности. Но он столько времени жил одиноко и замкнуто, не нуждаясь в людях и думая о них только как об исполнителях разных функций: как о начальниках и подчиненных, что сблизиться с ними, понять и подойти к ним с открытой душой показалось невозможным. Они не поймут его нового отношения. Они истолкуют его как слабость после сегодняшней ошибки.

Он застонал, и штурман с беспокойством спросил:

— Трудно? Может, мне взять запасной штурвал?

— Нет, ничего, я неловко повернулся. Посмотрите, продолжает ли дымить мотор.

Торпедоносец заметно снизился. В разрывах облаков росло море. Оно было в белых прожилках, синело и вздувалось, растекалось бесконечной равниной. И берегов не было. Не было! Торпедоносец тащился как безрессорный рыдван.

— Мотор перестал дымить. Пожалуй, можно рискнуть и прибавить газ, — доложил штурман.

Кононов удовлетворенно кивнул. Он этого и хотел. Но нужно было создать дополнительную тягу, чтобы сохранить высоту, иначе машина скоро перейдет на бреющий полет, а затем упадет. Он приказал стрелку выбрасывать тяжелые вещи.

— Оставлять только совершенно необходимое, оружие и приборы.

Облегченная машина тяжело набирала высоту. Кононов увеличивал число оборотов поврежденного мотора постепенно, опасаясь резкого повышения температуры. И все же тряска быстро возобновилась. Давление масла продолжало резко уменьшаться.

Нога Кононова стыла, будто ее обложили снегом, а голове было жарко, из-под шлема на лоб стекали капли пота.

Штурман не пытался вновь вступать в разговор. За двадцать минут Кононов услышал лишь доклад стрелка о том, что выброшено все согласно приказанию. Кононов уловил в докладе стрелка жалобу человека, вновь обреченного на безделье, и представил себе, как ему должно быть неуютно в продурывленном самолете рядом с трупом товарища, в неизвестности, удастся ли спастись.

— Тамбовский,— сказал Кононов,— выпейте и закусите. Согрейтесь. Лететь еще долго.

— Через полчаса дотянем к берегу,— вмешался штурман.— Запросить разрешение на посадку у Осыки?

Аэродром у Осыки был много ближе, чем своя база, но Кононов чувствовал, что и туда дотянуть будет трудно, если правый мотор откажет, а он выжимал из него последние силы. Впрочем, все сроки для возвращения вышли. Все равно надо доносить о своем месте и обстановке. Он спросил:

— Разве прием есть?

— Приема нет. Я сообщил об этом командованию. На аэродроме увидим, поняли нас или нет.

— Ладно, напишите и прочитайте мне,— согласился Кононов.

Тряска возрастала непрерывно. Но Кононов не снижал оборотов поврежденного мотора. Пускай к черту выходит из строя, но он использует мотор до предела. Вести торпедоносец на одном моторе почти невозможно.

Альтиметр показывал высоту около восьмисот метров, когда Кононов заметил береговую черту. Но стрелка дрожала и рывками устремлялась вниз. Правый мотор теперь работал со всхлипами и давал последние обороты с перебоями. Уже не приходилось спрашивать, дымит ли он. Едкие запахи проникали в кабину. Дымок застилал надвигающиеся плоские каменные гольцы и трещины, заполненные сероватым прошлогодним снегом.

Семьсот, шестьсот метров высоты. И больше нечего выбросить, чтобы создать дополнительную тягу. Самолет упадет на скалы...

Кононов повернул обратно в море. Левый мотор работал безотказно, но правый неистовствовал в дыму, и надо было совсем убирать газ. Путешествие заканчивалось, торпедоносец был обречен.

— Я планирую на воду,— объявил Кононов сдержанно.— Приготовьтесь оставить самолет, захватите документы.

«В бортовых баллонах воздух не израсходовали. Машину затянет не сразу, если волна не велика. Но дальше все равно гибель»,— подумал Кононов.

Море поднималось перед ним синей волнующейся стеной, а слева уходили вверх тучи и вставал неприступный берег.

Триста, двести пятьдесят метров, двести. Самолет все-таки слушался руки Кононова. Даже когда он выключил второй мотор и стал планировать. Но что с того! Впереди неизбежная гибель.

Кононов резко окликнул штурмана.

— Если вы спасетесь, доложите командованию, что тяжелые повреждения самолет получил по моей небрежности. Стрелки не могли отгонять противника.

Штурман попробовал отшутиться:

— У нас одинаковые шансы, товарищ командир. Да и не совсем так было.

— Это не просьба, а приказание, — оборвал Кононов.

Штурман смутился. Он начал летать с Кононовым недавно, и летчики предупреждали, что у Коконова долго никто не держится в экипаже: что Кононов требовательный и холодный человек. А оказывается, командир прежде всего предельно требователен к самому себе. Умирает собирается, а хочет, чтобы на его ошибках учились.

Что-то рябило в воде. Штурман приник к стеклу и радости вскрикнул:

— Торпедные катера! Идут и сигнализируют. Вправо глядите товарищ подполковник.

На воду легли широкие пенистые дороги, потом за стеклом поднялись утлые корабли — один и другой. Они шли в одном направлении самолетом. Торпедоносец медленно обгонял их, снижаясь к воде.

— Выбирайтесь на левую плоскость, — сухо сказал Кононов. — И за помните мое приказание.

Гул катерных моторов и шум моря ворвались в самолет, потом перед самолетом встал бурун, обрушился на кабину и крыло. Кононов снял руки с штурвала и уперся ими в ручки кресла. Но нога не повиновалась и острая боль снова вызвала тошнотворное головокружение. Он рванул от себя дверь, и брызги воды на секунду вернули ему сознание. Он увидел штурмана и стрелка, бегущих по плоскости с какими-то чужими людьми, услышал странно знакомый командующий голос с катера и опять хотел встать. Но голова перевесила его тело и упала на штурвал.

Кононов проснулся в землянке. Тусклый свет пробивался через узкий верхний фонарь. Через фанерные двери доходил сдержанный шум голосов, скрипели шаги по сухим половицам. Ноздри защекотал запах какого-то варева.

Поднявшись на локтях, летчик осмотрел свою плотно-забинтованную ногу и прикрылся пушистым нежащим одеялом с чувством давно не испытанного уюта. Боли в ноге почти не было, только тупое, саднящее ощущение. Он попытался припомнить, как попал в эту землянку. Он лежал на палубе катера, и возле него на корточках сидели штурман и стрелок. Он заметил в стороне неподвижное тело Ладо... Потом он очнулся, когда его тряхнули на носилках, внося в санитарную машину... Затем, кажется, вытаскивали из ноги осколок...

Землянка ничем не была похожа на госпитальную палату. Три телефона на столе, пачка книжек, карта на стене. Скорее полевой штаб. И постель со свежим тонким бельем явно принадлежала офицеру, обосновавшемуся здесь прочно, надолго.

Один из телефонов зазвонил, и тогда с противоположной стороны стола кто-то, не видимый Кононову, шумно двинул стулом и протянул руку к трубке.

— «Каталина» поднялась? Очень хорошо. Когда увидим ее в воздухе, отправим экипаж самолета и еще одного пассажира.

Осторожно ступая, говоривший пошел к двери, и тогда Кононов окликнул его:

— Товарищ...

К нему повернулось молодое улыбающееся лицо.

— Капитан-лейтенант Игнатов, командир отряда торпедных катеров. Будем отправлять вас на Большую Землю, подполковник. Не дают погостить у нас, выслали за вами «Каталину».

— Кажется, гость и так доставил вам много хлопот,— вставил Кононов, немного оглушенный звонким жизнерадостным голосом.

— Тащить вас с тонущей машины было действительно нелегко. Но, видите, все обошлось благополучно.

— Если не считать, что торпедоносец лежит на дне моря.

— Э, было бы кому летать, самолетами обеспечат. Бывает хуже в Варангер-фиорде; бывает, что не возвращается экипаж... Однако перед дорогой надо закусить. У нас готов ужин. И я еще не доложил капитану второго ранга, что вы проснулись.

— Ваш начальник?

— Бывший мой начальник, тоже гость, который помогал мне поутру. Мы ведь возвращались из операции, когда получили радиogramму командующего организовать поиск. Николай Ильич вас взвалил на плечи, как куль! Никогда не думал, что он такой силач.

— Николай Ильич?

— Ага, Долганов. Он говорит, что вы с ним старые друзья.— Игнатов взялся за ручку двери.— Сейчас я его позову.

Кононов вдруг испугался встречи с глазу на глаз с человеком, в глазах которого он должен выглядеть неудачливым вором.

— Помогите мне подняться,— попросил он, удерживая Игнатова.— Я попробую выйти на воздух.

Морская, он торопливо выпростал ноги, натянул брюки и сапоги — рана была выше колена, и сейчас ясно было, что она пустячная. Прихрамывая, Кононов проковылял во вторую половину землянки. Катерники и его экипаж сидели за столом, и раскрасневшиеся лица их выражали полное довольство.

— Время не потеряно? — пытаюсь шутить, спросил Кононов.

— Нельзя же не выпить за спасителей,— серьезно ответил Тамбовский.— Спирт из нашего неприкосновенного запаса, товарищ подполковник.

Не останавливаясь, Кононов пошел за Игнатовым в темный длинный коридор, пробитый в скале.

— В первую зиму немцы частенько прилетали бомбить нас. Другой бухты для позиционной стоянки нет, и поневоле пришлось здесь основательно устроиваться,— объяснил Игнатов, включая фонарь. Но уже в конце коридора заблестел дневной свет.

Кононов глубоко вдохнул свежий воздух и сел на теплый камень у входа.

— А это Пиратка, постоянный страж нашей позиции. Каждую весну рожает дюжину щенят,— сказал Игнатов, ласково дергая за уши крупную собаку с узкой мордой и добрыми преданными глазами.— Когда я пришел сюда на прошлой неделе, она меня узнала, хотя не видела почти год.

Он что-то еще рассказывал о надписях на верхних камнях в память боев и показывал пальцем на памятные воронки, но Кононов не слушал. Он смотрел на тропу, поднимающуюся между валунами от причала. По

ней быстро шел морской офицер в фуражке с золотым ободом козырька, и Кононов догадался, что это Долганов.

«Зачем он здесь? По какому капризу судьбы именно он встречается мне, когда я разбит и унижен?»

Чтобы рассказать Наташе, как он меня вытаскивал из кабины самолета? Чтобы я именно ему признался, как глупо ткнул машину под удары немцев?»

Он вскочил, готовый укрыться снова в землянке. Но Долганов уже заметил Кононова и приветливо махал рукою. И устыдил его совсем по другому поводу.

— Катерники выкопали могилу для твоего стрелка, Виктор. Если ты не возражаешь, можно сейчас хоронить.

Кононов вздрогнул, отступил и вдруг порывисто обнял Николая Ильича.

— Николай, — сказал он. — Я бы хотел вернуть твое... ваше уважение.

— Наташа будет счастлива, что ты жив.

— Нет, нет, я знаю, она меня презирает. И права.

Долганов кивком головы удалил Игнатова и усадил Кононова рядом с собой.

— Не будь мальчиком, Виктор. Иначе наделаешь новых глупостей. Что ты наговорил своему штурману? Прошил стрелка четвертый «Фокс-Вульф», заходивший с тыла. Без твоего случайного разворота могло быть хуже. Но, допустим, что ты ошибся. Кто воюет, кто живет без ошибок? По какому праву ты считаешь свои переживания самыми важными на свете, важнее твоего участия в войне?..

— Да, да, вина во мне самом, — признал Кононов. — Я это сам понял. Сегодня в полете. Чорт его знает, как это вышло... Я разучился думать о людях... Так, крутился в собственной тоске и все...

Николай Ильич нагнулся и поднял неуклюжего щенка, тыкавшегося в ногу черной мокрой мордочкой.

— Вот ему нужна ласка. Поскуливает и трется об руки. А твоего одиночества не замечали. Иногда мы говорим о заботливости к человеку, а не замечаем самого нуждающегося в душевном участии.

Николай Ильич положил щенка на колени летчика, и щенок стал лизать пальцы Кононова.

— Самые правильные люди делают ошибки. Петрушенко вернулся из последнего похода после дьявольской трепки, дважды заглянув смерти в глаза. И говорит жене: шесть лет ты жила моей жизнью, и так больше нельзя. Вернемся из Америки — он туда командирится для приемки кораблей — надо что-то менять. И, представь, Клавдия Андреевна, которая ничего в эти шесть лет не знала, кроме Федора Сильча, вдруг от радости сразу же в театр побежала, все ноты перевернула, поет и плачет, плачет и поет. Она, оказывается, о том же думала, да сама не понимала, как ей этого хочется...

Долганов умолок, вспомнив о прекрасной смерти Андрея Ковалева и снова не решаясь говорить о ней. Даже родному брату его было так все трудно объяснить. Как же он объяснит это постороннему человеку?

«Хорошо бы без этих душевных передрыг, — думал он. — И так хватает неприятностей».

Случилось то, чего он боялся, и, хотя он не позволял себе раскиснуть и готовился к боевой операции, не выдавая никому своего состояния, он сомневался в том, что будет проводить ее. Было возможно, что со дня на день его снимут с должности.

Долганов знал, что в рапорте Ручьева и в докладах комиссий, работавших на кораблях дивизиона, на него взвалены многие вины. Он-де развалил боевую подготовку, допустил ослабление партийно-воспитательной работы, замазал факты недисциплинированности.

Даже несмотря на успех штормового похода и спасение «Папанищца», Ручьев подал Военному Совету односторонний и неверный доклад.

«А, будь что будет — бог не выдаст, чорт не возьмет, свинья не съест», — решил он, прогоняя мысль о ближайшем будущем и возвращаясь к делам Кононова.

А тот, предоставив щенку грызть свои пальцы, задумчиво сказал: — Мне сейчас трудная работа нужна. Без такой работы я задыхаюсь...

— Трудную работу я тебе предложу! — воскликнул Николай Ильич. — Помнишь, еще весной хотел с тобою работать. Нынче в план новый элемент введен — торпедные катера. Я для того и выезжал сюда. Походил с ними, посмотрел их на разных задачах. Мне понадобится на главном командном пункте общий авиационный начальник. А ты универсал! Знаешь и разведчиков, и истребителей, и штурмовиков.

Кононову было трудно переключиться на мысли о совершенно новом деле, но он ухватился за него.

— Это где же командный пункт? На корабле?

— Разумеется. Миноносцы будут главными силами. С прикрытием и содействием с воздуха — самолетов, а на море — катеров.

— Оригинально. Сам придумал?

— Вот тот молодец, Игнатов, меня навел. Он у меня на миноносце лучшим офицером был. Поспорили мы с ним о миноносцах и катерах, а у меня и загорелось. Ну, разумеется, командующий, как всегда, углубил и расширил план.

Кононов бережно опустил щенка на землю и вздохнул.

— Здорово может получиться, — сказал он с грустью. — И я завидую и тебе, и тому летчику... А меня командование ВВС после сегодняшнего случая не утвердит. Свою машину утопил, а тут полсотни доверять надо! Не выйдет.

— Выйдет, слово даю. Я завтра же адмиралу назову тебя, если согласен. По рукам?

— Ну, по рукам, — сказал Кононов.

Из земляники высыпали гурьбой катерники и летчики. Все пошли в гору к могиле. Место выбрали рядом с остовом сгоревшего фашистского самолета, — лучшего временного памятника юноше нельзя было придумать. Кононов первым приложил губы к запрокинутому холодному лицу и обнажил голову. Один из катерников махнул флажком, и у причала откликнулись тремя очередями пулеметчики дежурного катера. Пока могилу забрасывали торфом и камнями, люди, не имевшие лопат, молчаливо стояли вокруг ямы. Потом Тамбовский и штурман положили на холмик большой кусок дерна и нагнули плиту с короткой надписью. Кононов подошел, зачем-то прикоснулся ладонью к холодной

плите, и вдруг лицо его сморщилось и задрожало. Он надвинул на фуражку и почти побежал вниз, к дороге.

«Каталина» медленно и величественно пролетела над бухтой к аэродрому. На дороге нетерпеливо гудел «Виллис».

На прощанье Кононов крепко пожал руку Игнатова.

— Увидимся, товарищ Игнатов, в деле. А потом можно будет веселее вспомнить первую встречу.

Игнатов озорно шепнул:

— Вы поторапливайте Николая Ильича с операцией. Не то я уеду на свободную охоту, а там щип ветра в море.

29

Клавдия Андреевна начала работать в театре. Теперь она бывала дома реже, чем Наташа. Ее концерты имели шумный успех в Доме флота и на маленьких клубных сценах. У ней появились многочисленные флотские знакомые; мир с каждым днем расширялся, и она говорила: «О боже, как же я жила в раковине!» А Федор Сильч едва ли больше любил свою Клушу, возвращавшуюся всякий раз с рассказом о встреченных ею людях, о спорах в театре. Легко и просто создавались у Петрушенков новые отношения. Федору Сильчу перед длительной командировкой в США надо было съездить в наркомат за инструкциями и, конечно, было соблазнительно вместе побывать в столичных театрах, походить по музеям. Но то, что она вступила в труппу театра и согласилась на новое для нее амплу драматической актрисы, оставило Клавдию. Она потихоньку выплакала грусть и досаду и заявила:

— В Москву, Федя, поезжай без меня. И от Америки мне будет правильнее всего отказаться. Тут работа, а там ведь я просто туристкой буду... Но только, наверное, соблазнусь...

В Мурманск Петрушенко уехал с провожающими. Клавдия Андреевна уговаривала Наташу отправиться с нею. А так как Николай Ильич выбрал, наконец, время повидать Лизу Ковалеву, Наташа согласилась на поездку. С ними шел на катере и Иван Ковалев.

Странно, но пришлось долго убеждать Ивана Ковалева познакомиться с женой брата. Подводник сначала резко заявил, что ему нет дела до этой женщины. Федор Сильч развел было руками, — поступай как хочешь, — но Николай Ильич резко напустился на Ивана.

— Коли так, Ковалев, нет у вас уважения к памяти вашего брата. Я был его другом и знаю, что он серьезно любил свою жену. Да как бы он иначе женился? А по-вашему выходит, что Андрей был пустой человек, путался бог весть с кем.

— Я этого не говорю.

— Но так только и можно понять ваше отношение. Конечно, вы вольны не видаться, но тогда признайтесь, вы равнодушны к желаниям покойного.

Еще немного, и Николай Ильич рассказал бы Ивану, сколько горя доставили Андрею упреки Ивана перед последним походом.

Он пристально смотрел в лицо подводника. Русыми волосами, зачесанными вверх над высоким лбом, русским мягким носом, широко расставленными глазами, большим упрямым ртом, всем обликом Иван

вспомнил брата. Однако хмурой складки между бровями, темных глаз, плотно сжатых губ у Андрея не было. Его лицо всегда выражало спокойную силу, а Иван был скор на опрометчивые суждения. «Еще не устоялся», — подумал Николай Ильич, расхаживая по комнате. А у Ивана уже навертывались слезы. Он вскочил и сел, весь дрожа. Он хотел крикнуть Николаю Ильичу: «Не знаете вы о моей любви к Андрею! Не только братьями, — товарищами и друзьями мы были. И я не желаю делиться братом ни с кем. И с вами тоже...»

— Не можете вы знать моих чувств, — резко заявил он поднимаясь. Федор Силыч лучше Долганова знал Ковалева и примирительно сказал:

— Ты, Иван Артемьич, должен жену брата узнать. В ее руки — можно ли вручить, скажем, орден Отечественной войны брата, или нет? Она твою фамилию носит. Я-то не сомневаюсь, что встретишь хорошую женщину. Правильно говорит товарищ Долганов — пустую девушку твой брат не полюбил бы. Ну, а вдруг... тогда мы иначе тебя слушаем.

Хотя Иван после этого заявил, что в Мурманске — знает он девичье сословие — не могла пайтись пара Андрею, но со своих позиций он был сбит и покорился необходимости навестить невестку.

Николай Ильич уговорил Наташу съездить в Мурманск, и на катере Наташа уединилась с Иваном.

— Наверное, для жены вашего брата его смерть большее горе, чем для вас, товарищ Ковалев, — храбро начала она. — Вы еще не любили? Тогда, понятно, вы и думать об этом не могли. Не скажу, что любимый муж заслоняет мир. Это — старина, хотя и сейчас ее можно встретить. Но во всяком случае все, чем женщина может жить — дело, дети, знания, — все осознается через любовь, все ею окрашивается.

— Вы, может, по себе судите, товарищ Долганова? — возразил Иван Ковалев.

Наташа почувствовала грубоватую лезть этих слов, но не смутилась. Поправляя перед зеркальцем волосы легкими прикосновениями тонких пальцев, она склонилась к Ивану.

— Надо людей любить, верить людям, товарищ Ковалев. Ведь у вас замечательные товарищи на корабле? Ну, конечно. Встретите плохое — тогда осуждайте. А так нельзя. Очень самонадеянно и неправильно.

Иван порывался оправдаться, но не находил слов и, пошевелив губами, продолжал слушать Наташу.

— Я, товарищ Ковалев, порадовалась за жену вашего брата, когда узнала, что вы к ней поедете, а потом очень расстроилась. Несправедливо и жестоко равнодушие в близком человеке. Я потому и решила с вами говорить. Ну, что же это такое?! Бедняжка одинока. Ей и плакать, наверное, не с кем? Не здешняя?

— Костромская, — ответил Иван на вопросительный взгляд Наташи и опустил глаза.

— Ну, вот видите. Только узнала счастье, и счастьем конец, а тут и пренебрежение ваше! Да вы сами, товарищ Ковалев, меньше хмуриться будете, когда ее сестрой назовете.

Он упрямо покачал головой. Сестра была одна — Маша. Как это люди не могли понять!

— Не могу я сразу перемениться,— сказал он.— Никто со мной так не говорил. Андрей— он неразговорчивый. Сказал раз, что ждущая девушка, и все. Ну, а я считал, что несерьезно это, не видел.

— Значит, присмотритесь, Ваня, с открытым сердцем, с сочувствием ее горю. Как мужчина.

Он кивнул головой.

— Расстроили вы меня до слез. Уж простите, что так много пришлось потратить...

Они условились, что Иван приведет Лизу в гостиницу, и на прощанье расстались.

Лиза в этот день, как и во все дни после извещения о смерти Андрея, выполняла свою работу с обычной добросовестностью. Иногда, если в ее руки попадали письма с номером полевой почты Андрея, ее охватывала тоска. Она выкладывала из мешка и сортировала конверты всех цветов и форм, открытки и аккуратные треугольные и слезы катились из ее глаз, и она застывала перед стопками писем.

С вечера же, когда кончалась работа, она со страхом входила в свою комнату; здесь некуда было скрыться от своего горя. Здесь Лиза лежала, уткнувшись в подушку мокрым лицом, и старалась подавить рыдания, чтобы не разбудить подругу.

Однажды Лиза осталась на ночное дежурство. Она была одна и стала читать газету. Глаза остановились на заметке о нахимовских училищах. В углу газетного листа улыбались ребята. Они были в аккуратных форменках, и эти форменки делали ребят какими-то близкими. Может быть, через несколько лет Андрей учил бы их своему делу... Она стиснула голову горячими ладонями.

Зачем береглась стать матерью?! У нее мог быть сын, она вырастила бы второго Андрея Ковалева, гордого воспоминаниями об отце.

Эта мысль удвоила ее горе. Как будто она сразу потеряла и мужа и ребенка. Она не могла уже подавить возникшее материнское чувство и растревляла свою боль, представляя себе, как рос бы мальчуган, к которому она приучала бы его гордиться профессией отца, как впервые повела бы его в матросском костюме, как он пошел бы в морскую школу...

Эти мечтания мучили ее воображение до тех пор, пока она не нашла им выхода. В ней еще говорило какое-то чувство обиды. Ее нет среди людей, которые увековечили память Андрея на флоте. Андрея Ковалева море отняло совсем только у ней, а его товарищам и начальникам досталась морская душа Ковалева,— он в почетных списках корабля, списках неумирающих героев флота. А своим решением Лиза могла вернуть флоту нового Ковалева.

Накануне приезда Ивана в Мурманск Лиза получила разрешение своего командования взять на воспитание и усыновить сироту, и она собралась выехать в детский дом за город, когда ее вызвали к Ивану.

Он ждал Лизу, твердя наташные уроки и сознавая, что ничем кроме неловкого и холодного любопытства, он не испытывает. И что помимо всего, трудно сердечно встретить незнакомую девушку в этих обтрепанных стенах, под однообразный, скучный стук штемпелей по бумаге под гул голосов и шарканье ног.

А Лиза, когда сказали, что ее спрашивает подводник, бегом пустилась по коридору.

— Ваня! — крикнула она и бросилась к нему. И прежде чем он понял, что эта тоненькая женщина с большими грустными глазами и есть Лиза и совсем она ему не чужая, она плакала на его груди, а он недовольно обнимал ее и гладил худенькие вздрагивающие плечи.

А потом они шли по улицам, и Лиза говорила:

— Как ты во-время приехал! Это словно бы Андрей хотел одобрить мое решение. Ведь ты согласен, Ваня? Ты на Андриюшу похож, очень похож!

И Иван с нарочитой небрежностью сказал:

— Ладно. Поедем за племянником. К морю приохотить его помогу.

30

После отъезда Федора Сильча Клавдия Андреевна совсем пропадала в театре. Молодой режиссер и актеры не хотели копировать других постановок, искали свое творческое решение спектакля. Клавдия Андреевна много работала в новой постановке над ролью девушки, провожающей возлюбленного в море, и поразилась бедности драматического образа. Она отказалась играть наивное, сентиментальное существо. Клавдия Андреевна читала беспомощные лирические фразы с веселой насмешкой, а в ее нежности чувствовалась подлинная сила; и актеры аплодировали ей, а режиссер, задорно ероша волосы, кричал:

— Молодцом, молодцом! Жизнь на сцену — и пускай автору будет стыдно!

Когда в конце недели Наташа забежала за приятельницей, чтобы идти в театр, Клавдия Андреевна встретила ее растерянная и ошеломленная своим успехом.

— Ничего не спрашивайте, Наташенька, походим и помолчим, — шепнула Клавдия Андреевна.

— Тогда давайте я сама пока похвастаюсь, — заявила Наташа. — Я назначена вместо Чики и чувствую себя настоящим доктором погоды.

Клавдия Андреевна заглянула в глаза Наташе:

— Давно ли? Кто от сводок не отходил при последнем шторме? Кто две ночи не спал?

— Теперь штормом и не пахнет. Установилось довольно длительное равновесие воздушных масс. Можно летать и плавать, не ожидая никаких каверз, — весело ответила Наташа.

Они подошли к лестнице, с которой открывался вид на причальную стенку, и Клавдия Андреевна, показывая на корабли, сказала нараспев:

— А у нас опять будет гость!

— Не может быть! Он позавчера ушел!

— Ушел и пришел.

В самом деле, брейд-вымпел комдива развеялся на «Упорном», который Наташа быстро узнала по маскировке высокой носовой части.

Миноносцы, вероятно, уже давно цришвартовались, потому что к бортам были подведены кабели освещения и связи и шланги водопровода. Но на причале не толпились, как обычно, матросы, и на палубах было безлюдно. Мерно гудели воздухоудвки, и над широкими трубами жаркое дыхание котлов колебало воздух.

Вахтенный у трапа звонком вызвал дежурного офицера, и тот, безпо козырнув, сообщил, что капитан второго ранга на совещании что докладывать ему он не может, а когда окончится совещание, он знает.

— Но вы внезапно не уйдете?— спросила Наташа и покраснела, потому что вопрос был неловкий и отвечать на него не полагалось.

— Мы приходим и уходим по приказанию,— нашелся офицер. Всего лучше звоните перед чаем.— Он наклонился к Наташе и шепнул: еле слышно:— Хозяин у нас...

В готовности к походу были все миноносцы дивизиона, но в главную базу пришли только «Умный» и «Упорный». Командующий еще не в времени навестить экипажи после их штормового дела, и хотя операция была объявлена приказом, он не изменил своей привычки лично встречаться со всеми, кто приходил с моря.

На «Умном» он появился неожиданно, велел проводить артиллерийское учение, сам давал целеуказания, придирчиво вслушивался в приказания офицеров и внимательно считал время по хронометру. Потом он прошел к торпедным аппаратам и здесь учинил такую же жесткую проверку готовности к скоротечному бою.

Капитан-лейтенант Неделяев шагал за командующим, пытаясь понять, что думает адмирал. Но он не был психологом, лицо командующего было непроницаемо, и он ожидал разноса, хотя заметных заторов в испытании не обнаружилось.

Но адмирал с неожиданной улыбкой сказал очень громко и отчетливо:

— Благодарю за службу, капитан третьего ранга Неделяев. Надеюсь встретиться с противником, будете работать так же лихо, грамотно и устойчиво, как в проводке «Папанинца».

Нахимовский козырек Неделяева взлетел вверх под толчком друнувшей руки. Неделяев знал, что адмирал не делает обмолвок и что это подчеркнутое в обращении новое звание не случайно.

Продолжая держать сжатые пальцы у козырька, Неделяев ответил:

— Экипаж «Умного» готов к морскому бою, товарищ командующий.

Адмирал кивнул головой, он сделал несколько шагов в сторону и остался с Неделяевым вдвоем.

— Были основания списать вас с корабля,— тихо сказал адмирал. Хорошо, что вы перестали брыкаться и мальчишествовать, Неделяев. Еще раз повторяю: я доволен вами.

За плечом адмирала в группе офицеров Неделяев увидел Долганова и Ручьева и взволновался.

— Товарищ адмирал,— сказал он.— Капитан второго ранга Долганов научил меня работать, и он меня защищал, когда я глупо злился.

— Ну вот, глядите же, не подведите Николая Ильича. На войне как на войне, а то бы я поберег этого умницу.

Он простился и быстро направился к «Упорному». Корабль показался с кормы, и адмирал, вскинув голову, с неудовольствием посмотрел на флаг командира соединения, развевавшийся на грот-мачте. Он повернул к офицерам.

— Разве контр-адмирал уже здесь?

Произошла маленькая неловкая замашка.

— Нет еще. Это я пришел на «Упорном»,— смущенно выдвинулся вперед Ручьев.

— Вы? Ну, что ж, пройдемте к вам,— проговорил командующий, наступая на сходни.— А вы, Долганов, готовьте совещание. Кононов и катерники прибыли?

— Все на корабле, товарищ командующий.

— Прекрасно. Я недолго заставлю вас дожидаться.

Командующий умел быть язвительным, когда сталкивался с людьми, которые не любили и не понимали истинной морской службы.

Адмирал отодвинул сигареты, любезно придвинутые Ручьевым, и закурил свою папиросу. Его охватил гнев при взгляде на назойливо, неко времени поднятый флаг командира соединения. А сейчас его окончательно взбесило, что Ручьев бесцеремонно вытеснил Долганова из штатной каюты. У Долганова эта каюта была постынным жильем всю войну, и к тому же Ручьев знал, что Долганов назначен руководителем операции и теперь ему особенно нужны нормальные условия и для работы, и для отдыха.

— Вы здесь устроились? Собираетесь проситься как старший офицер в руководители набеговой?

Ручьев стоял перед адмиралом и пстирал за спиной холодеющие руки. Ему по секрету совершенно определенно сказали, что, в связи с возвращением контр-адмирала, он получает пост в штабе и повышение на категорию. На «Упорном» он расположился только для удобства— корабль может простоять еще сутки— и занимался с утра своими личными делами, выяснял, с кем можно обменяться квартирой, так как в базе миноносцев у него было отличное помещение. И еще жена дала ему десяток поручений в связи с предстоящим переездом.

Вопрос командующего застал его врасплох.

— Ваш приказ, товарищ командующий, я не собирался обсуждать. И вообще, эта демонстрация, разработанная Долгановым, на грани задач боевой подготовки...

Гнев адмирала улегся, и он с презрительной усмешкой притушил папиросу.

— Вам не следовало приходить без вызова. Вам в Москву надо собираться, Ручьев. Нарком разрешил вас откомандировать, а уж там направление кадров придумает, где вас использовать.

Ручьева даже нехватило на то, чтобы протестовать против списания с действующего флота, и командующий продолжал с безжалостной откровенностью:

— Не понимаю, как мы вас выдвинули на серьезное морское дело. Вам же нельзя доверять людей, Ручьев. А вы еще смели о партийности писать в рапорте на Долганова.

— Но начальник политотдела...— попытался оправдаться Ручьев, облизывая пересохшие губы.

— Что начальник политотдела? Начальник политотдела разобрался в писаниях своего инструктора, сам просидел несколько дней на «Упорном» и на «Умном» и явился с откровенной повинной к члену Военного Совета. Итоги истории с этим гадом Орловым и итоги работы с Неделеяевым могут быть истолкованы только в одном направлении, капитан первого ранга Ручьев. Настоящий советский командир, настоящий вос-

питатель офицеров и матросов — Долганов. И вы должны были думать, что имеете честь служить с ним.

— Возможно, я ошибся, — пробормотал Ручьев. — Но интересы службы и дисциплины...

— Заставляют вас отравлять жизнь прекрасному офицеру?

— Я не знаю, что говорил Долганов, но...

— И я не знаю, потому что он мне ничего не говорил. Может быть, и собирался, да когда же... Он в конвоях был, а вернулся, полетел к катерникам, и мне только о своем плане операции докладывал. У меня, Ручьев, создалось такое впечатление, что Долганов еще и философ. Он, видите ли, считает, что осенние мухи всегда кусают и против природы же попрешь. Ну-с, а мне на флоте ни осенних, ни летних мух не требуется.

Он поднялся, и Ручьев понял, что беседа закончилась.

— Разрешите не присутствовать на совещании и уйти в бригаду? — спросил Ручьев.

— Да, конечно. Кстати, флаг командира соединения можно спустить не медля, — уже в дверях жестко бросил адмирал и вышел, не протянув Ручьеву руки.

Собравшиеся на совещание командиры догадывались, что происходит в каюте Ручьева. Все офицеры в кают-компании были настроены, как всегда бывает, если старший начальник сердится. Но адмирал вошел в самом отличном, даже веселом настроении и, здороваясь, пылливо оглядывал вставших командиров. Многих он знал еще до войны, а в последние три года все, что эти люди делали смелого и творческого, было в его большой бережливой памяти. Он угадывал их стремления, вел строгий и справедливый счет проступкам и ошибкам, болел за них, неуклонно поддерживал их, чувствуя, что именно эти люди станут представителями новой североморской школы.

Долганов стоял между Петровым и Кононовым. Среди этих видных офицеров с Золотыми Звездами над полосками орденских ленточек Николай Ильич в рабочем кителе выглядел, может быть, слишком буднично. Адмирал добродушно подшутил:

— Ишь, хитрец, двух Героев выбрал себе в помощники и расположил их так, чтобы наглядна была собственная скромность.

Боевой приказ, наставления, походный порядок были размножены и предварительно разосланы. Участники совещания не сомневались в том, что их ожидает успех, если будет проявлена настойчивость. И командующий это знал, но он почти каждому командиру задавал вопросы, хорошо понимая, что документы можно прочитать по-разному и потом будет поздно доказывать, что А поступил неверно, Б поторопился, а В опоздал.

Но в этот раз документы, проработанные Николаем Ильичем с каждым офицером в отдельности, были освоены одинаково, и командующий сдержанно, но удовлетворенно улыбнулся.

В первый, но не в последний раз собирались представители самых различных родов флотского оружия на крупном корабле. Комбинированными ударами авиации и катерников флот уже начал новую главу своей истории, и это совещание было отправным в развитии более сложных действий.

Масштабы изменяются, и, когда молодой флот будет иметь в первой линии линейные корабли, крейсера и авианосцы, операция, от которой сейчас зависит престиж североморцев, может быть, покажется маленьким эпизодом. Но он, командующий, никогда не сможет забыть, сколько потребовалось трудов, чтобы такая операция стала реальностью. От исторического дня, когда Сталин со скалы над Екатерининской гаванью осматривал морские рубежи и определил первые задачи строительства Северного флота, и до этого дня прошло всего несколько лет. А в них заключена эпоха! Гигантские усилия народа и моряков — пионеров флота студеного моря! Давно ли текущий ремонт миноносца и подводной лодки были здесь проблемой? Давно ли выход катеров-охотников в открытое море казался страшным неопытной молодежи? Для того чтобы в уютной неделе шторма предельной силы, собрались эти выверенные люди, надо было учить и строить, строить и учить, потом выдержать напряжение сорок первого года — почти без самолетов, с немногими кораблями, бросать моряков на сушу, сводить их в ударные батальоны, пройти долгую школу войны, уже на ходу осваивая новую технику и проводя на новых кораблях подготовку к бою.

Адмирал начал с частного дружеского замечания:

— Я тоже буду слушать на вашей волне, товарищи миноносники, катерники и блетчики. Учтите это и не говорите зря, не мешайте друг другу работать.

Потом он подчеркнул, что масштаб операции и характер ее несколько новы, но, естественно, вызваны обстановкой войны.

Конвой, который немцы сейчас собирают в фиордах выше Гаммерфета, много больше того, который побит катерниками в Варангерфиорде. Там было тридцать вымпелов. А сейчас разведка уже насчитала до сорока. Кроме тральщиков и сторожевиков — не меньше шести эсминцев. Будет, конечно, и прикрытие с воздуха.

— Даже при внезапном ударе вам придется основательно повозиться, — объявил адмирал. — Но так или иначе победу надо завоевать полностью. Нанести немцам потери можно и без такого сложного плана. Смысл вашего комбинированного удара заключается в том, чтобы конвой разгромить и уничтожить. — Он дважды повторил эту фразу строго и даже жестко. Потом улыбнулся. — Наши летчики умеют настойчиво действовать. На этот раз их задачу облегчите вы, Кононов (сидите, пожалуйста). Сможете оценивать обстановку на месте. Ведь ваше положение будет относительно неподвижное. Тридцать узлов — это не десять километров в минуту. Катерники! В этот раз вы тоже по-другому будете воевать. Хоть и дальше от своего берега, но под крылом Долганова. Взаимодействие — великое дело. Если вы не будете горячиться, оно даст решительную победу.

— Вот еще Анастас Иванович Микоян обижается, товарищи, — улыбнулся адмирал. — Мы, правда, прибрежный лов обеспечили. Но траулеры хотят далеко ходить. Иначе не рентабельно топливо жечь. Надо немцам в Баренщевом море все дороги заказывать. Надо стать полными хозяевами своего моря. Начнем это дело всерьез. — Он встал. — А теперь рекомендую вам отдыхать. Место конвоя сейчас уточняется, и, наверно, к началу

суток вам придется выходить. Желаю успеха и жду: к себе со славными сообщениями.

Бекренев предложил командующему чаю. Адмирал взглянул на час и отказался.

— Давайте, командир, не стеснять друг друга. Вас никто не привлекает на берегу? А вот Долганов ждет не дождется, когда я уйду чтобы побежать к телефону. Впрочем,— с усмешкой добавил адмирал,— ему нужно погоду выяснить у главного синоптика.

Когда командующий вспомнил Наташу, Кононов смутился. Он даже не сразу расслышал, что адмирал спрашивает у него о состоянии раны.

— Заживает, заживает,— ответил он поспешно, забыв, как три дня назад уверял, что рана уже зажила.

— А все-таки после этого дела в отпуск прогонию,— сказал командующий.— Проветриться надо. Сразу хотел послать, но Долганов так за вас просил, что мы с генералом не устояли.

— Я очень благодарен, товарищ командующий.

— Хотелось, чтобы именно вы приобрели опыт руководства ударами авиации в море,— сказал адмирал.

Его взгляд и быстрое пожатие руки не позволили Кононову сказать, что он ценит дарованное ему прощение за гибель машины, но сам себе этого не простит. Он вздохнул и проковылял в коридор, к каюте, которую занимал вместе с Петровым.

Катерник устраивался на ночлег и рекомендовал последовать его примеру.

— Как выйдем, тут уже будет не до сна.

Но, растянувшись на койке, Петров передал Кононову привет от Игнатовца, своего командира отряда, а потом очень просто стал рассказывать о великой силе взаимной выручки. Кононов мог бы тоже перечислить десятки случаев выручки, но у Петрова в манере вспоминать было что-то особое, выдвигавшее вперед человека, и он заслушался, не перебивая рассказчика. И вот Петров уже заснул, а Кононов продолжал сидеть, вытянув больную ногу.

...Осколки подожгли катер Петрова, катер оседал на нос, терял ход, и Петров, отворачиваясь от лизущих языков пламени, радировал товарищу «Гибну», и упрямые советские люди обливали палубу бензином: «Пусть гибель настанет скорее, только бы немцы не захватили катер». А товарищ прорывался сквозь огонь нескольких кораблей, и враг не взял ни Петрова с экипажем, ни катера...

— Виктор,— неожиданно позвал Николай Ильич, заглядывая в каюту.— Наташа на причале и послала меня за тобою. Ну! Полно тебе бирюком сидеть.

Николай Ильич сразу вслед за командующим покинул корабль и поспешил к Наташе. Они расстались всего два дня назад, но молчаливо, жадно и тревожно разглядывали друг друга. Николай Ильич искал в Наташе перемен и не находил. Ему почему-то казалось,— Наташа должна была подурнеть и покрыться веснушками, но этого не было! Может быть, она ошиблась? Он растерянно спросил:

— Не шевелится?

— Что ты!— засмеялась Наташа.— Еще рано.

Она взглядела в милое лицо: два дня назад Николай Ильич был

утомлен штормом, поездкой к катерникам, какими-то планами, какими-то придирами Ручьева. Но сейчас она чувствовала в муже, кроме озабоченности, какое-то чересчур торопливое стремление все-все сразу узнать о ней. Это было предходящее. Не случайно она почувствовала, едва подойдя к кораблю, особую строгую торжественность. Наташа требовала от себя спокойной выдержки, никогда не позволяла себе спрашивать мужа, но сегодня ей было особенно тяжело. «Все же легче было бы, если бы он сказал: «Завтра я буду в бою». Но не скажет. Придумает что-нибудь правдоподобное, обманет».

— Завтра хлопотливое учение,— сказал Николай Ильич,— но к вечеру, возможно, я буду дома.

«Так и есть. Солгал. Перед обычным выходом на сутки он никогда так не предупреждал». Наташа провела пальцами по волосам мужа. И Николай Ильич ощутил, что Наташа ему не верит, что совсем не надо было упоминать об уходе, но упрямо продолжал:

— Ужасно хлопотливо. И катерами командовать, и авиацией. Знаешь, Кононов со мной идет.

— А его ранение?

— Пустяки для такого случая... Прегулка в море, я хочу сказать, даже полезна.

Наташе стало невыразимо страшно. Она повторила про себя: «Такой случай». Она понимала, что Николай идет в море сражаться. Но она знала, что об этом нельзя говорить, и молча склонила голову к его плечу.

От Наташи веяло весной, клейкими березовыми листочками, какими-то простенькими цветами. И Долганову захотелось, чтобы после войны они съездили к отцу на Оку. Мальчик будет сидеть в горячем песке, а старик сварит уху, угостит медом и баснями о том, каким он был победителем женщин в молодости. На самом деле он прожил однолюбом, но почему-то стыдится этого.

— Письмо получил, цела наша ленинградская квартира и даже вещи остались,— сказал он вдруг.

— А я как-то боюсь возвращаться туда.— Она поглядела на него искоса и жалобно усмехнулась.— Почему-то мне кажется,— приеду и опять буду тебя ревновать...

— Наташенька. Но это же дико... нелепо... и к кому?

— А ты не ревновал?— воскликнула Наташа.

— Ну и стыдился.

— Все ревнуют,— сказала Наташа.— Так уж создан человеческий род. Это мы выдумали какую-то другую жизнь, а ты в нее поверил.

— Кто выдумал и почему я поверил?— спросил Николай Ильич смеясь.— Разве я с тобою об умных книгах разговариваю?

— Спасибо, значит, со мною неинтересно о них разговаривать?

— Ты самая интересная из книг. Лучше всех героинь. Да, да,— повторил он, потому что она хотела возразить.— Я никогда не понимал толстовской Наташи, способной увлечься этим болваном Курагиным, не понимал ее измены настоящему, большому человеку. Ты никогда бы не смогла...

— Перестань,— сказала Наташа с укором и даже каким-то испугом, словно он совершал святотатство.

Она даже освободила свои руки и прошла к окну. Николай уже за- был свою тревогу перед ее возможной изменой и принимает ее стойкую любовь как неизменный дар жизни. А если бы Кононов был осторожнее, тоньше в выражении своих чувств? Куда может завести жалость и любопытство? Разве что-то не потянулось в ней навстречу летчику в тот первый вечер, когда они танцевали? Она боролась за свою любовь и Николаю, боролась с чужой волей и победила ее, а Николай этого никогда не оценит, не поймет. «Ну и что?—спросила она себя.—Разве это так важно? Может быть, завтра он перестанет жить...» Наташа вскрикнула от внезапно охватившего ее страха и порывисто обернулась.

— Что ты, Наташа?— Долганов неслышно подошел и обнял ее.

— Ничего, ничего. Это нелепо, что мы не о том говорим перед твоим походом.

— Дался тебе этот поход. Ведь на несколько часов,— беспечно сказал Николай Ильич.— Когда будет опасность, я с тобой вместе составлю завещание. Хорошо? А сейчас одевайся, проводи меня к кораблю. На счастье...

По улице они шли молча, и Наташа не выпускала из своих пальцев руку Николая Ильича. Уже на причале она неожиданно спросила:

— Сережа Сенцов тоже идет?

Она старалась говорить спокойно, но он угадал какой-то скрытый ход ее мысли и ответил:

— Идет на «Умном». Инспектирует.

— А Кононов какой? Переменился? Он стал серьезнее?— продолжала Наташа.

— Не надо о нем плохо думать,— осторожно ответил он.

Наташа остановилась и погладила руку Николая Ильича.

— Я хочу его сейчас повидать. Ты не рассердишься на мою просьбу?

— Сначала спросила о Сергее, потом о Викторе. И всё поклонники.

Изволь, сбегая...

День кончался в багряных и фиолетовых красках, но ночные тени уже бежали прочь перед новым днем.

Кононов стоял перед Наташей, опираясь на палку, и ему казалось, что весь свет мира сосредоточился в Наташе. А она несмело подняла на Кононова глаза и почувствовала, что он стал добрый и домашний, как Сенцов. Она взяла за руку Николая Ильича, сжала ее, точно просила не сердиться и потерпеть, и он слабо ответил на это рукопожатие, потому что в самом деле ему было не по себе в этой «нездоровой обстановке», как мысленно определил он.

Наташа еле слышно заговорила:

— Мне захотелось сказать, что не надо вам во всем винить друг друга... Я тоже была слишком резка с вами... Надо бы говорить иначе и в другое время, но ваша прогулка... Она может быть очень серьезной, эта прогулка, и потому...

Голос Наташи осекся, и оба испугались, что она сейчас заплачет, но Кононов только сильнее оперся на свою палку, а Долганов опять деланно улыбнулся:

— Ну, скажи ты, Виктор. Ведь самый обыкновенный выход.

Кононов с трудом, будто он одолевал какую-то высоту, глухо проговорил:

— Да, Наталья Александровна. Завтра летчики сделают больше, чем Николай ждет от них.

— Ну вот, ну, что ты наделал, чудак! — крикнул Николай Ильич, склонясь к Наташе и пытаясь закрыть ее лицо от прохожих.

— Нет, это ты чудак! Теперь не будет этой неизвестности, и я встречу тебя! Вот увидишь, как встречу, — всхлипывая и сжимая руку мужа, сказала Наташа. — И вас, Виктор Иванович. Я знаю, что встречу всех и будет очень, очень хорошо..

31

Миноносцы вышли из залива и выстраивались в походный порядок. На воде лежал сырой плотный туман. Из мглы скупно пробивались лучи позывных и гасли. Свет прожектора и «ратьеров» бежал будто издалека и на пути терял мощь; ссырими тешами торпедные катера проскальзывали вдоль борта вперед к назначенным им местам. Одолеваемые возрастающим дневным светом, огни маяков пробивались к кораблям поверх мглстой пелены. Даже с мостика видна была низкая поверхность тумана. Пелена испарений колыхалась, медленно свивалась в столбы, пыталась взмыть вверх и снова прижималась к воде. Она осталась за кормою лишь на траверзе северного побережья Рыбачьего полуострова.

Тут засвежевший ветерок сразу сдул и порвал в клочья мглистое покрывало, и веселые зеленовато-синие волны заплескались у бортов. Обозначалась дорога, проложенная винтами корабля, и один за другим горделиво появились на ней из тумана «Упорный», «Умный», «Уверенный» и «Увертливый» и заныряли в волнах торпедные катера, бежавшие впереди миноносцев широким клином.

А потом рассеянными желтыми пучками брызнули лучи солнца, заблистали стволы орудий и пулеметов, и на лицах под боевыми касками исчезли остатки дремоты. Стало тепло, в сторону полетели полушубки, тулупы; люди затопали ногами, замахали руками, ускоряя кровообращение. И тревогу, казалось, унесло свежим ветерком, иссушивало солнцем.

Николай Ильич еще перед выходом получил сведения, что в составе немецкого конвоя семь транспортов, прикрывают их миноносцы, сторожевые корабли, тральщики и группа больших катеров-охотников. Теперь в море к нему поступили уточняющие донесения. Самым важным из них было подтверждение, что в конвое шесть эскадренных миноносцев. Три из них были замечены разведчиком во главе эскорта, а другие три замыкали движение конвоя.

Вернее всего было предположить, что противник обеспечивает с наименьшими затратами времени перестроение на обратный курс. При повороте «все вдруг» хвост станет головой и будет иметь равную силу. Но не значит ли это, что у старшего офицера конвоя нет твердой решимости прорваться в Варангер-фиорд, что психологически он подготавливается к отступлению? Разрыв в дистанции между двумя группами немецких кораблей был выгоден Долганову для удара. Четыре миноносца Долганова будут на первых, самых действительных залпах иметь преимущество в числе выстрелов. Но вариант ухода противника Николая Ильича никак не устраивал. И он стал обдумывать, как заставить противника принять бой и драться до конца.

Николай Ильич перебирал все возможные варианты действий немцев, и все способы парировать их; он прикидывал варианты своих маневров, решал, что возможно противоставить им. Во всех случаях оказывалось, что ничего нового к боевому наставлению он не может добавить. А успеть того, что было записано и преподано участникам операции, зависело от двух факторов. Удастся скрыть до поры свои силы и осуществить взаимное действие в жесткие сроки — хорошо. Сорвется то или другое — и тогда немцы избегнут разгрома.

Николай Ильич беспокойно посмотрел на часы, но до возможной встречи было еще много времени — больше трех часов. Трижды смогли немцы выяснить его силы, трижды смогут укрыться в многочисленных фьордах, сбежать в узкости под защиту береговых батарей...

С головного катера сигнализировали, что на пути кораблей плавающих мины, и, хотя об этом особо толковалось в базе, Николай Ильич приказал сообщить по линии, чтобы обходили мины, не расстреливая их. Взрывы и стрельбы могли привлечь внимание какого-нибудь дозорного катера.

Скоро три мины, обнажая черные выпуклые бока с рогульками, показались на волнах, и Бекренев определил:

— Голландские.

На теплой ветви Гольфштрема, против течения которой шел сейчас отряд, мины из Норвежского моря проплывали часто. Ограбив морские порты Европы, немцы ставили заграждения из итальянских, французских, бельгийских, голландских и датских мин. Море срывало их с якорей и уносило на восток вместе с английскими минами, которые союзники ставили на фарватерах немецких кораблей. После каждого шторма вдоль Мурманского берега посты и проходящие корабли отмечали целые косяки мин. Но днем эти встречи не были страшны для судов с внимательной вахтой и уверенными рулевыми. Слегка переменяв курс, отряд оставил мины за собою.

Долгий час прошел после этого без всяких происшествий. Бекренев опасливо поглядев в небо, которое все больше голубело, объявил для зенитчиков готовность «один», и на боевых постах занялись учением. Николай Ильич все замечал, но продолжал думать о своем даже тогда, когда семафором выговаривал «Увертливому» за отставание, а «Умному» за шапку дыма, внезапно вырвавшегося из трубы.

Кононова на мостике не было, и Петров, отлично выспавшийся с вечера, сказал Долганову, что у летчиков завидный сон. Петрову хотелось поговорить о бое, о том, что, может быть, пора отделить группу, назначенную для маневра, и вообще он нашел бы о чем говорить, потому что был общителен и словоохотлив. Его тяготило, что на мостике, где людей больше, чем во всем экипаже катера, вслух произносятся только какие-то официальные командные слова.

Но Николай Ильич не вступал в разговор и коротко ответил, что Кононова разбудят, когда появятся «Воробьи». Петров пробовал вступить в разговор с Бекреневым, но командир попросил извинить его, — он пачкался с минером тренировку торпедной атаки. Петров начал беседовать с сигнальщиком, но вахтенный командир строго напомнил краснофлотцу об его обязанностях, и Петров — до белой полоски воротника — покраснел, так как «мальчишка» правильно и деликатно напомнил ему,

что он нарушает службу. Тогда Петров пожалел, что находится на мостике миноносца, а не стоит рядом с одним из командиров катеров, как Игнатов, и ему не придется сегодня лично определять угол встречи торпеды с немецким бортом. И Петров стал ждать боя с таким же молчаливым напряжением, какое было у Долганова, который уже не курил трубку, а только передвигал ее из одного угла рта в другой.

Кононова не пришлось будить. В каюте с задраенным иллюминатором он все-таки мгновенно услышал высокий звук «Яковлевых» и быстро собрался наверх. Он отвечал за действия «Воробьев» и «Быков» (это были позывные истребителей и штурмовиков на сегодняшний день), и первым делом он проверил, явились ли «Воробьи» во-время.

«Тремя минутами раньше!»

Неловко покачиваясь и упираясь в поручень, чтобы не вызвать боли в шее, Кононов по-хозяйски смотрел в небо на воздушные корабли. Они перестроились в журавлиную стаю впереди «Упорного», повернули назад, и ведущий прошел над фок-мачтой, заглушая все другие звуки резким гулом и вдруг превратясь в далекую точку. На лицах моряков отразилось удовольствие и восхищение, и Кононов крикнул:

— Азбукин. На личном счете девятнадцать побед. Двух ассов сбил... Поговорить с ним сейчас нельзя, вот беда,— сказал он, с завистью поглядывая на назначенный ему радиэфон. Но тотчас более важные мысли одолели его, и он спросил:

— Скоро ли?

— Раньше чем через полчаса не сблизиться,— немного помедлив и мысленно определяя место на карте, ответил Николай Ильич.— А впрочем, давай сходим в штурманскую и попробуем уточнить. Пойдемте, товарищ Петров.

Дивизионный штурман и Кулешов подготавливали одограф к записи эволюций на боевом курсе, и Кулешов спросил:

— Разрешите продолжать?

— Да, только напомните мне данные о движении конвоя.

— На карте отмечено, где должны быть сейчас немцы.

— Точно,— сказал Петров.— Шесть узлов. Значит, от отметки еще две-три мили на ост. Правильно говорил Николай Ильич, если скорость не изменим.

А Долганов выверил расстояние от счисленного места «Упорного», приложил к масштабу и нагнулся к переговорной трубе. Он свистнул, с мостика отозвался Бекренев, и Николай Ильич приказал передать дивизионному связисту, чтобы начали разведку средствами скрытой связи.

Чудесные приборы, обнаруживающие корабли в море и самолеты в воздухе на расстоянии, значительно превышающем оптические средства, действующие независимо от состояния видимости и ночью и в тумане, укрепились в этот период войны на кораблях, меняя довоенные представления о морских боях.

Николай Ильич рассчитывал, что даже в этот ясный день, когда горизонт раздвинулся во все стороны почти на десять миль, он благодаря приборам, которыми отечественная промышленность снабдила миноносцы, сможет выиграть несколько минут.

Дивизионный связист из радиорубки ответил, что приборы уже за-

пущены, в море пока пусто, а в воздухе свои «Воробы» и на вод прошла группа разведчиков.

Кононов сказал:

— Вот и отлично. Кто-нибудь нам даст новые сведения. А сейчас не худо чайку выпить,— он скосил глаза на чайную посуду, которую после завтрака штурманов убирал вестовой.

— Поддерживаю,— сказал Петров.— А как хозяин?

— Хозяину остается только извиниться за невнимательность к гостям,— усмехнулся Долганов.— Сейчас нам накроют в моей каюте.

Когда они вышли на палубу, самолеты шли в стороне по кругу. Какой то предмет свободно падал с хвостового самолета, и, заметив это, Николай Ильич спросил Кононова:

— Так это и есть запасной бак?

— Он самый. Значит, считай, что «ястребок» сейчас как бы поднялся с аэродрома с полной заправкой.

За завтраком пришла радиограмма, что «Быки» уже перебазировались на передовой аэродром. Потом принесли депешу, что в воздухе немецкие бомбардировщики и торпедоносцы. И, наконец, прибежал возбужденный связист:

— Голову конвоя — тральщики и миноносцы — минуту назад поймали прибором.

И он положил на стол бумажку с координатами.

Николай Ильич порекомендовал связисту, не торопясь, взять через несколько минут еще раз координаты, точно проложить курс конвоя. Следовало попытаться поймать центр и хвост конвоя.

— Есть,— сказал связист и исчез.

Петров продолжал торопливо есть, поглядывая искоса на Николая Ильича, но Кононов не удержался от прямого вопроса.

— Да,— сказал Николай Ильич,— через десять минут мы будем на дистанции артиллерийского залпа и начнем игру... Товарищ Петров, как только мы получим указания радиолокаторов,— первую группу вперед, и пусть проложат по южной границе нашей курсовой линии дымовую завесу, оставаясь внутри ее. Игнатову дайте «добро» отскакивать на nord и затем заходить в хвост конвою. Одним словом, как было раньше условлено.

Петров залпом выпил чай и пошел к двери.

Николай Ильич помолчал и тихо сказал:

— Ну, что ж, и тебе, Виктор, можно начинать действовать.

— Так я вызываю штурмовиков, а часть истребителей направляю в прикрытие Игнатову.

— В добрый час, Виктор.

— В добрый час, Коля...

Николай Ильич остался один и медленно прошел по каюте. Все мелкие вещи и бумаги были убраны с рабочего стола, и толстого стекла с фотографиями Наташи ничто не загромождало. Сейчас, когда всё или почти всё было выяснено и бой должен был начаться, безразлично на встречных или параллельных курсах, он не боялся смотреть на дорогое лицо. Как хорошо, что Наташа была здесь! Она улыбается. Она серьезно и доверчиво на него смотрит. О чем-то своем задумалась. Он вспомнил ее слова, чтобы он не смел любить эту Наташу, вспомнил их встречу

и ночь вот здесь, в этой каюте. И он сказал себе, что сегодня они будут снова вместе.

Связист встретил Николая Ильича на пути в штурманскую рубку, и доложил, что весь конвой идет в том порядке, как сообщала разведка. Надо подвернуть влево градусов на двадцать, и противник обнаружится на горизонте.

— Кулешов проложил курс,— добавил он, задыхаясь после быстрого подъема по трапам.

— Добро,— сказал Николай Ильич.— По линии — поднять «нзш»¹, ход тридцать узлов...

Сенцов плохо спал в эту ночь и теперь хандрил. Он чувствовал себя виноватым перед Долгановым в том, что осуждал замысел операции. Мнительность его дошла до предела, и он убедил себя, что Николай Ильич нарочно спихнул его к Неделяеву; ссылка на то, что на «Упорном» много штабных работников, казалась Сергею Юрьевичу неосновательной — уж для одного человека местечко нашлось бы.

У Неделяева Сенцову совсем нечего было делать. Он стоял на мостике грустный, потерянный и думал о том, что он очень одинок. Неделяев, у которого тоже бывали, при всем его молодечестве, приступы отчаянной меланхолии, сумел подметить настроение гостя.

— Пойдем,— сказал он баском.— Тут старпом разберется. Пойдем, Сережа, обмоем мои погоны.

Сенцов знал, что пить перед боем непозволительно, но он покорно поплелся за Неделяевым, покручивая отсыревшие и свисающие вниз усы.

— По первой,— сказал Семен Семенович.— За адмиралов.

— Ясно. Но за то, что мы сейчас пьем, они нас с тобой не похвалят,— вздохнул Сенцов.

— А кто пьет?— удивился Семен Семенович.— Пропустим по второй для души, закусим корнишончиком — и на работу. Вот-с, чтобы не было соблазна, ставлю посудину обратно. Я, Сережа, правду сказать,— вчера выпил гигантс. С подводниками... Могу сегодня выдержаться.

— А вчерашний хмель в голову не ударит?

— Ну, вот еще!— хвастливо сказал Семен Семенович.— Для злости как раз хорошо. Сегодня шебаршиться надо. Вот и ты отходишь; ей-богу, Сережа, усы пошли вверх.

У Сенцова в самом деле грусть как-то отлегла. «Эх, будет сегодня музыка, только танцевать некогда»,— мелькнуло в его голове, когда он подошел к зеркалу и начал подкручивать усы.

— Мне усы сбривать придется завтра. Я их проиграл Николаю Ильичу — против операции возражал.

— Ты! Возражал?! Ну, брат, тебя за это надо наголо обрить...— возмутился Неделяев.— Что ж, мы, миноносники, не люди? А? Да вчера я пьяный был, язык прикусил у подводников, чтобы не расхвастаться. В такое дело идем!

На трапе Неделяев вдруг захохотал:

— Постой, как же... возражал, а сам в поход напросился. Тоже по уговору?

¹ Сигнал «к бою».

Они еще не успели осмотреться на мостике, когда сигналы стал репетовать сигнал комдива: к бою приготовиться, следовать «Упорным».

Неделяев прокричал, молодецки играя голосом:

— Старпом, боевую! «Наш» до места. Поше-ве-ливайсь, нептун!

Орудия главного калибра развернулись на левый борт, и стволы поднялись вверх для залпа на предельную дистанцию, и красный флаг молодо заполоскался под клотиком.

32

Николай Ильич поднял пистолет. С громким и веселым шипением ракета пошла вверх и рассыпалась дождем красных звезд.

Стало необыкновенно тихо. И вдруг разом горячие струи воздуха, пронизанные золотыми светящимися кругами, метнулись через мостики корабль затянуло дымом, раздался двойной грохот выстрелов и совы орудий, и в тот же миг повторился на корме, еще через мгновение, как эхо, прозвучал залп «Умного», и золото-багряные маки, то показываясь, то исчезая в дыму, возникли над бортами всех кораблей.

Над морем загрохотал артиллерийский бой.

Цель, пойманная дальномерами, была головным немецким кораблем — двухтрубным и пятиорудийным миноносцем. По таблицам стрельбы были определены цифры, переданы на орудия четырех миноносцев Долганова, и орудия стали посылать снаряды в цель. На пятом залпе с «Упорного» наблюдатель доложил:

— Немец теряет ход... Отчетливо вижу пожар...

Отряд Долганова стремительно бежал к поврежденному кораблю противника, прикрываясь стеною дымов. Катера поставили на востанках тяжелые беловато-серые клубы дыма, и сейчас завесы вытягивались, ширились, вставали грядой бесконечных покачивающихся холмов, и море у их подошв стало чернильно-черным и угрюмым.

Под сапогами Кононова хрустели осколки стекла. Он слушал голоса, вырывавшиеся из мембраны радифона, и повторял не громко, но внятно.

— «Воробей-шестнадцать». «Воробей-шестнадцать». Я Кононов, я Кононов, вас плохо слышу.

«Воробей-16» внезапно перекрыл все голоса задорным тенором:

— Я «Воробей-шестнадцать». Бомбардировщики уходят. Четырех уничтожили. Не беспокойтесь, вас прикрывают, вас прикрывают «Воробей» двадцать восьмого.

Тенорок утонул, перекрытый раздраженным басом:

— Восемьдесят пятый, восемьдесят пятый, под тобою «Фокке», под тобою «Фокке», заходи ему в хвост.

«Воробей» встретили немецкую авиацию на подходах к отряду Долганова и навязали ей бой, отгоняя на вост. Теперь бой уже затухал далеко в стороне, за дымами транспортов, и Кононов немного мог видеть с мостика миноносца и не за всем мог уследить по докладывающим, предупреждающим друг друга, приказывающим и одобряющим голосам, звучащим в радиэфоне. Но то, что он видел сам, и то, что ему рассказывали все эти непонятные для постороннего человека отрывистые сообщения, его веселило. Истребители наносили немцам удары, обнаруживая то

фактическое превосходство, какое совсем недавно Кононов считал исключительным свойством таланта, которому нельзя обучить и который нельзя вносить в планированные расчеты. Когда он разъяснял воздушным участникам операции их задачу и с не свойственным ему раньше терпением наставлял молодых летчиков, он еще не совсем верил в то, что они сумеют в горячке боя использовать его личный опыт новых боевых маневров, всегда казавшийся ему доступным лишь таким ассам, как он, и другим немногим опытнейшим летчикам. Но вот прямо до него донесся юношеский восторженный голос:

— Я, «Воробей-седьмой», сделал вашу полубочку, подбил «Фокке», здорово-о!

Кто-то крикнул товарищу:

— Петро! Видал спиральку, а?! Учебно-показательная, а?

И товарищ ответил:

— Тише ты, разговорился...

Они выигрывали победу по всем условиям. И хотя среди них было много самых рядовых молодых летчиков, «Воробьи» казались неуязвимыми, а немцы, которые в начале боя имели примерно равные силы, неуклюже разлетались, стаи их таяли, покидая зажженных и сбитых соратников, уже не заботясь об обороне своих бомбардировщиков и о прикрытии конвоя.

Кононов быстрыми и выразительными движениями крупных и гибких ладоней показывал Долганову примененный «Воробьем-седьмым» маневр, когда раздался долгий воющий звук. Столб воды взметнулся над крылом мостика, снаряд оглушительно лопнул. В ослепительной вспышке разрыва станина стереотрубы покатила к ногам Николая Ильича. Он толкнулся в спину Петрова, но тот, ничего не замечая, попрежнему зывал в эфир:

— «Каэн-два», пришли ли вы на видимость конвоя? «Каэн-два», отвечайте, где вы. Видите ли конвой?

Игнатов, очевидно, оберегая успех своего скрытного обходного движения, еще не включал радифона и молчал.

Фугасные снаряды мчались к кораблям, и грохот разрывов сливался в звук, похожий на громыханье телеги по булыжникам мостовой. Снаряды рвали воду, и на палубу залетали жалающие осколки. А Бекренев, поглядывая в сторону разрывов, чеканил неизменно внимательному Колтакову:

— Право десять, дальше не ходить, прямо руль.

Прикрывая мелкими кораблями отход транспортов к берегу, немцы выслали на помощь поврежденному миноносцу два таких же миноносца и три сторожевика. Эти корабли торопились выйти вперед и массировали огонь. Но дымовые завесы мешали прицельности и действенности немецкого огня, а в то же время расстояние между конвоем и боевыми кораблями противника достигло трех миль: немцы открыли в своем расположении ворота для торпедной атаки катеров.

Долганов бросился к Петрову, все еще зывавшему к молчащему «Каэн-2», и Петров зло крикнул:

— Запропал Игнатов! Чорт его душу знает, куда он...

Николай Ильич, не слушая, бесцеремонно взял его за плечи и по-

вернул так, что катерник сам увидел широкий и продолжающий рас-
ряться путь к транспортам.

— Не упусти,— коротко сказал он.

— Дымзавесчиков... разрешите?— торопливо спросил Петров.

— Давай дымзавесчиков!— разрешил Долганов.— Курс семьдесят
Давай катерам приказание.

И, успокоенный тем, что одна из задач данной минуты боя разреше-
на, отдался другим, более важным для операции мыслям о предстоящих
действиях миноносцев против немецких боевых кораблей, шедших на
сближение.

Он молчал, спокойно раздумывая, как будто кругом не грохотал бы
не рвались снаряды. Потом сам себе кивнул, окликнул связиста и при-
диктовал короткие приказания командирам миноносцев.

На долгих двадцать минут это были последние распоряжения, к
которые он отдал по кораблям. По его замыслу, «Уверенный» и «Увертл
вый» должны были по большой дуге пересечь курсы сторожевиков, со-
здав сначала у противника обманчивую уверенность в том, что он
уходит на ост. «Умный» должен был торпедировать стоявший без ход
немецкий корабль.

«Упорного» он повернул на норд.

Корабль отходил, стреляя из кормовых орудий, но немцы могли
итти за ним по пятам, потому что скорость была не особенно велика.
Маленький, постоянно нахохленный Бекренев засиял, покачиваясь на
носках от веселого предвкушения. Через две минуты всем станет ясен
хитрый план комдива.

— Дымзавесу!— сказал Долганов.

Густой едкий дым пополз по кораблю, застлал море. Под его
защитой «Упорный» круто повернул и пошел назад, на сближение,
параллельно курсу увлекшихся погоней миноносцев. Немцы искали «Упор-
ный» впереди себя, а он оказался у них на траверзе. И немцы дога-
дались об обмане слишком поздно, когда все приготовления к торпед-
ной атаке были закончены и все расчеты торпедного залпа произведены.

Оба немецких миноносца беспечно выходили из облаков дыма, а
«Упорный», дрожа всем своим стремительным телом, будто уперся в
свой бурун.

И вот на торпедные аппараты дан ревун... Захлестали трассы сна-
рядов и пуль, светящихся всеми цветами радуги. Опять встали столбы
воды от разрывов фугасок, и над головами порвались черные мешки
шрапнели. Николай Ильич сжимал поручни и перегнулся вниз, словно
готовясь прыгнуть с мостика к угрожающе развернутым торпедным
аппаратам. И миг показался ему вечностью, пока три огромные блестящие
сигары не выскочили из труб, не мелькнули в воздухе и сильными ныр-
ками не ушли под воду. Торпеды взбили винтами пену, от их бурного
дыхания поднялись пузыри. Они уже мчались далеко, стремительно
и неумолимо настигая врага.

Ревун! Стартовала вторая группа торпед. А взрыва все не было.
И, продолжая стрелять, первый немецкий миноносец начал поворачивать.
Уж одна труба его зашла за мостик. Пронесет?.. Но труба вдруг кач-
нулась, за нею поднялось белое пламя— корабль раскололся, как орех,
и вся начинка взлетела в воздух с грохотом, заглушающим грохот вто-

рого взрыва. Потом все стихло. Медленно уходила в воду корма с цепляющимися людьми. Вдруг она дрогнула, поднялась вверх красным днищем с еще живыми, ворочающимися лопастями винтов. Вода забурлила и скрыла жалкий остаток корабля.

Второй миноносец убежал во всю мочь за дымовую завесу. Он даже не пытался стрелять.

И тогда на мостик «Упорного» вернулась тишина, и стало слышно, что настойчивый Петров, наконец, добился Игнатова.

— Мы уже работаем,— кричал Петров,— гляди, не выпусти их!— Потом он с удовлетворением вздохнул:— Игнатов готов выходить в атаку. А другие катерники разделались с двумя транспортами и тральщиком.

Но тут забеспокоился Кононов:

— Штурмовики идут на штурмовку. Пусть подождет Игнатов, пока они отработают. А то попадут под горячую руку...

Николая Ильича не удивило, что оба как-то безразлично отнеслись к потоплению миноносца и что они хлопочут об успехе своего оружия, как будто только в нем победа.

— Да, конечно, пусть Игнатов подождет,— согласился Николай Ильич.— И дай мне, Виктор, папиросу. Я не сумею набить трубку.

И только тогда Кононов заметил, что Долганов стоит, неестественно перекосив плечи, и рукав его реглана распорот сверху донизу.

— Ты ранен? — тревожно спросил Кононов, поднося к губам товарища пагиросу.

Николай Ильич отрицательно покачал головой. Он не знал, на что жаловаться. Рана не прощупывалась. Просто бессильно повисла рука, и учащенно, с глухой торопливой дробностью, пульсировала кровь. Голоса на мостике то отдалялись и становились совсем невятными, то болезненно громко врывались в уши.

— Во всяком случае, ничего существенного,— сказал он.

И правда, контузия не мешала Николаю Ильичу сообразить, что часть штурмовиков надо направить вдогонку за сбежавшим миноносцем. «Упорный» теперь снизил обороты, потому что одно котельное было разбито снарядом. Он уже не мог догонять противника сам.

Кононов понял Николая Ильича с полуслова и вызвал ведущего «Быка». Короткие верткие машины прогудели над кораблем и умчались на штурмовку. Переходя в пике, они почти отвесно внезапно и яростно устремлялись к воде; бомбы, казалось, рвутся непосредственно под ними.

Эту страшную работу авиации и многое другое в сражении особенно хорошо было видно с «Умного». Хотя Неделеяев успел подорвать поврежденный торпедами немецкий миноносец и вел уничтожающий огонь по одному из сторожевиков (двух других сковали и разбивали «Уверенный» и «Увертливый»), и сам Неделеяев, и повеселевший Сенцов чувствовали себя незанятыми зрителями. Центральное положение корабля позволяло одновременно наблюдать разные эпизоды разгрома немцев. Неделеяев, правда, не мог покидать своего места у телеграфа, но Сенцов непрестанно перебегал с одного борта на другой и своими объяснениями помогал Семену Семеновичу следить за всем, что происходило вокруг.

Разгоряченный трескотней пулеметов, оглушительным грохотом артиллерии и воем бомб, Сенцов между азартными восклицаниями щекал «Федом», пока не извел всю катушку. Тогда он стал смотреть, что называется, во все глаза, стараясь запомнить прекрасное и жуткое зрелище, которое продолжало развертываться перед ним.

Бой между миноносцами и сторожевиками всего меньше занимал Сергея Юрьевича. С минуты, когда немецкий миноносец стал тонуть и сторожевики догадались, что им не удастся подойти к своему лидеру, они выжимали все силы из своих машин, чтобы сбежать. Но наши миноносцы легко сохраняли выгодную дистанцию и продолжали их расстреливать. Постепенно огонь сторожевиков ослабевал, и Сенцов равнодушно относился к отдельным близким падениям снарядов. Рядом с ним появились раненые, и возле трапа снаряд вырвал кусок металла лической палубы, но он даже забыл, что мостик «Умного» в сфере боя.

Чувствуя себя главным, все понимающим и все замечающим на борту, Сенцов с особенно азартным чувством следил за движениями «Упорного». Он знал, что корабль под брeid-вымпелом комдива не может уходить из боя, и догадывался, что Долганов готовится показать мастерство дневного торпедного удара по быстроходному миноносцу.

Когда рыжее облако дыма укрыло «Упорного» и ветерок потащил за весу на зюйд, Сенцов только спрашивал себя: неужто немец на этом поймается?

— Ох, поймается,— бормотал Неделеяев,— сам на торпеду лезет. Ну, и везет Долганову.

Прежде чем немец поймался, еще дальше на зюйде, куда убежали за конвоем торпедные катера, на воде забушевал огонь. Горела нефть. От красного ядра ширился и поднимался вверх алый венец, а по воде, почти до борта «Умного», распространялся нежнейший розовый отблеск.

Взрыв торпед в борту немецкого миноносца дошел к Сенцову вместе с перекатывающимся и возобновляющимся грохотом со стороны удалявшегося конвоя. Должно быть, на одном из транспортов огонь достиг боезапаса. На алом фоне неба вспыхивали ослепительные белые росчерки молний, взлетали синие и желтые звезды.

— Ох, саданул Долганов! Ох, саданул! — восторженно и завистливо бормотал Неделеяев. Не обращая внимания на эффект боя, он был весь поглощен удачей торпедного удара «Упорного». — Везет же людям!

— Штурмовики пошли! — воскликнул Сенцов, вытягиваясь, чтобы лучше видеть, и приглашая Неделеяева полюбоваться.

Но Неделеяев остался совершенно равнодушен к этому зрелищу. Он изменил курс и перенес огонь на третий немецкий миноносец, сбежавший от «Упорного». Второй торпедный аппарат не был разряжен, и Семен Семенович во что бы то ни стало хотел сравняться с «Упорным» в торпедной атаке. На очередные восклицания Сенцова он только сердито отмахивался, поглощенный своей азартной задачей. Однако немец предупредил его, укравшись в облаке дыма и открыв заградительный огонь. А затем из дыма вверх пошли зенитные трассы; по миноносцу ударили штурмовики. И, прежде чем Неделеяев успел снова умень-

нить расстояние между своим кораблем и противником, для последнего все было кончено...

Неделяев выругался. Летчики перебили удар! Пускай же они доканчивают и расстреливают сторожевиков,— решил он, мечтая о новой выгодной ситуации. Он запросил Долганова, можно ли итти к остаткам конвоя. Где-то ведь укрывались еще три немецких миноносца!

Долганов ответил не сразу, так как не мог принять решения, пока не выяснится положение на «Упорном». Размеры повреждений, нанесенных противником, были значительны. Вышли из строя два автомата и третье орудие главного калибра. Вторую радиорубку начисто снесло снарядом. Электросеть по левому борту пострадала и на четвертом, ковалевском, орудии последние залпы делались по-аварийному, с подачей боезапаса из погреба вручную, что не мешало расчету работать с нормальной скорострельностью.

Но всего важнее было ликвидировать аварию в котельном Балыкина. Через пробоины вода стремительно ворвалась в помещение, угрожающе шипела и лизала поддон топки, так что старшина испугался возможности взрыва и приказал потушить котел. Никто из бойцов не был ранен, и, по пояс в воде, они пробрались к пробоине. Было холодно, но пары сгустились, как в бане, и деревянный щит дважды отбрасывало струей воды, пока они надежно укрепляли его подпорами. А вода продолжала прибывать, несмотря на запуск всех средств осушения. Рваные края пробоины, загнутые внутрь, мешали прижать щит вплотную к пробоине. Балыкин пытался сбить ломом выступы непокорного металла, но ничего не получалось. Тогда он приказал заткнуть под щит вокруг пробоины парусину, промазанную суриком. Струи, разбившись на струйки, выдохлись. Балыкин подтащил второй щит с подушкой из толстого слоя пакли, а на этот щит уложил ряд толстых досок. Он истратил таким образом весь свой заботливо хранившийся запас аварийных средств до последней уплотнительной подушки. Но когда они окончили заделку пробоины, вода уже плескалась не выше циклолоток, и пока ее сгоняли совсем, в трех форсунках появилось пламя. Присев перед окошком котла и чувствуя, что у него трясутся от усталости руки и ноги, Балыкин подумал, что пора бы судьбе сжалиться и не валить на него несчастья в каждом походе.

Одна крыса захлебнулась. Она лежала со вздутым бурым животом, откинута кем-то к двери шахты, и Балыкин поднялся, чтобы пихнуть ее подальше, но звонок заставил его подойти к телефону.

— Балыкин,— подзадорил командир группы,— с мостика говорят, что машинисты «Упорного» задерживают победу.

Балыкин фыркнул. Разве машинистов могут понять наверху! Но все, что у него вертелось на языке по этому поводу, он оставил при себе и сухо ответил, что через пять минут введет в работу все форсунки. Это обещание было немедленно передано Долганову.

— Передайте Балыкину,— сказал Николай Ильич,— представлю к ордену Ленина.

От балыкинского котла зависел весь дальнейший ход операции. Или «Упорный» останется безучастным свидетелем последнего этапа боя, да еще свидетелем, которого надо охранять, или он поведет другие мино-

носцы в бой с остатками вражеского конвоя, убегающими ко входу фьорда.

Оживленный и как будто отдохнувший, Долганов приказал сигнальщикам:

— Строиться в кильватер. Следовать за мной.

33

Игнатов должен был незаметно забраться в тыл противника и атаковать немецкие корабли на подходе к фьорду. Группа Игнатова легла на норд, и хотя катера были мореходные, с хорошей остойчивостью стремительный бег против волны сразу дал себя чувствовать.

Вода обрушивалась через борт рубки и, несмотря на то, что Игнатов плотно окутал свою шею, пробиралась холодными струями за шиворот, ручьями скатывалась по лакированному комбинезону. Иногда гребень волны окатывал пулеметчика, который сидел за спиной Игнатова. Боцман катера, огромный и очень молодой парень, только что переведенный из юнг, умудрялся висеть между турелями пулеметов; голова его была почти вровень с антенной, но и он скоро вымок.

Когда, по расчетам Игнатова, настало время поворачивать для сближения с конвоем, катера внезапно вошли в низкую и плотную облачность. Сизая туча ползла над самой водой. Видимость сразу резко ухудшилась. «Воробьи», следовавшие за катерами на широких кругах, обеспокоенно вызвали Игнатова и сообщили, что не видят кораблей.

Игнатов не ответил «Воробьям», как не отвечал и Петрову. Он приближался к берегу и не хотел вызывать на себя огонь артиллерийских батарей.

Облачность проходила полосами. Несколько раз катера благополучно, незаметно для береговых наблюдателей, проскакивали залитые солнцем синие озера.

Звук боя в воздухе и на воде доносились до Игнатова очень глухо. Отдаленный артиллерийский гул помогал ориентироваться; красная полоска на горизонте с дымовой шапкой над нею обозначала место, где начали громить конвой, и если иногда прорывался гул моторов на большой высоте, то только как успокоительное заверение, что летчики не допустят к кораблям немецкую авиацию.

И вдруг на траверзе отряда разорвалось несколько тяжелых снарядов.

— Заметили!

Катера прибавили обороты и влетели под защиту новой облачности. Игнатов приказал глушить моторы. Он был открыт противником, но все-таки его карты не были известны. Он не боялся батарей — трудно попасть в маленькую подвижную цель, — но немцы могли прикрыться более опасной подвижной завесой из многочисленных катеров-охотников, сильно вооруженных и достаточно быстроходных, чтобы воспрепятствовать замыслу торпедных катеров.

Игнатов несколько минут прислушивался, а затем повел отряд прямо на высокий шиферный мыс. Пластины камня с выветренными краями почти отвесной стеной выступали из воды. В их расщелинах кричали гагары. Катерники проходили в дымке так близко к берегу, что к ним

доносился шум прибоя. За мысом дымка уплотнилась, чувствовалось, что она ползет с зюйда, из длинной трубы фиорда, вход в который обозначали мигающие огни створов.

Внезапно потянуло ветерком с веста, дымка заколебалась и стала быстро уходить вверх впереди катеров. Сама природа помогла Игнатову. Катера оставались невидимыми, а море перед ними открылось в далекой перспективе, и Игнатов увидел корабли конвоя. Он приказал приготовиться к атаке и коротко доложил об этом Петрову, но Петров приказал подождать, пока отработают свою задачу штурмовики. Только минуты, когда ветер сносил дымку, с катеров наблюдали пикировку штурмовиков на немецкие корабли. Но звуки боя были слышны непрерывно; они приближались, а это значило, что немцы выигрывают пространство на пути к спасительному заливу.

Игнатов уже не выключал микрофона. Он сидел на ступеньке, втянув голову в кабину, и прислушивался к тому, как Кононов управляет нападением авиации. Кононов объявил, что тральщик и сторожевик утоплены, и указал штурмовикам новые цели.

«Чего доброго, нам не в кого будет выпускать торпеды», — поддразнивал себя Игнатов. Но в следующих двух заходах штурмовики не имели вудачи. Немцы медленно и тесно двигались всеми силами, создавая над кораблями непроходимую завесу огня. Игнатов услышал приказание Петрова катерам — снять с воды летчиков, выбросившихся с подбитых самолетов. Потом Кононов приказал истребителям атаковать мелкие корабли и отвлечь их огонь от штурмовиков на себя.

Игнатов понимал толк в красивой боевой работе, и его восхищало спокойное и четкое руководство Кононова* не прекращающимися, но очень быстрыми воздушными боями и боями самолетов с кораблями.

— Вот бурлы, — завистливо говорил он, томясь желанием скорее самому вступить в бой.

Наконец миноносцы Долганова, под залпы главного калибра, один за другим пошли в торпедные атаки. Игнатов видел, что они вывели из строя два немецких корабля, но не знал, что этот успех обошелся «Уверенному» весьма дорого. Корабль получил снаряд в коридор гребного вала. Однако Игнатов поймал приказания «Умному» взять «Уверенного» на буксир и вывести из зоны действия береговых батарей.

По всему чувствовалось, что подошло время для удара последним резервом — игнатовской группой.

Игнатов коротко приказал своей группе подстраиваться фронтом влево от его катера и занял наблюдательный пост в рубке. Он запросил у Петрова разрешения начать и всем сердцем ждал ответного «добро».

И Петров дал «добро».

Взревели моторы. Ветер снес с воды дымку, сорвал и разметал копотную муть от пожаров и плотных пороховых газов, укрывавшую конвой. Игнатов устремил свой катер наперерез танкеру, сворачивающему в устье фиорда, предоставив другим катерам действовать мористее.

Расстояние быстро сокращалось, хотя немцы заметили катера, как только те выскочили из дымки. Косой дождь красных, зеленых, желтых трасс понесся им навстречу, но не останавливал атакующих. Катера, как одушевленные существа, прыгали через воронки, и люди на них не замечали осколков, впивавшихся в сталь и дерево.

Да и раненые не сразу замечали свои ранения, — был тот жуткий и великолепный миг торпедной атаки, когда все внимание, все мысли, все чувства людей слиты с кораблем и устремлены к одной быстро приближающейся цели.

Несколько раз близкие разрывы встряхивали катер с такой силой, что связист, принимавший донесения, повалился на палубу и тщетно пытался встать, но и с колен он точно и четко повторил Игнатову доклады трех командиров катеров об успехах их атаки.

Игнатов мельком увидел новые густые тучи дыма, укрывшие пламя в нескольких очагах взрывов, но его внимание в эту минуту было приковано к своей собственной цели — танкеру.

15, 12, 10, 6, 4 кабельтова... Время!

Наметанным глазом он определил угол встречи торпеды с бортом немца. Жестом показал командиру катера, как подвернуть. Торпеды прыгнули вперед... Почти мгновенно раздался гулкий двойной взрыв... И когда на повороте Игнатов оглянулся, транспорт опускался в воду, разламываясь на три куска.

Они во всю прыть удирали от немецкого миноносца, все шло отлично. И вдруг, прыгнув на очередную волну, катер беспомощно осел назад. Из палубы на корме вырвался дым, и сквозь страшный грохот взрыва старшина мотористов закричал:

— Прямое попадание. Лишились хода.

Корабли поворачивали в обратный путь. Флаг «единица», сигнал для походного строя, снова развеивается на мачте «Упорного». Тройка истребителей сделала последний разворот над остатками конвоя и сообщила, что в фиорд вошли миноносец, транспорт и два сторожевика. Это было все, что осталось от крупных кораблей конвоя. Кононов уже отпустил штурмовиков, и на смену истребителям прикрытия шли свежая группа, и на мостике начались возбужденные разговоры о том, когда Петров сердито закричал:

— Тише!

Он стоял, побледневший и напряженный, каким не был даже в час сражения. Сжимая в руке микрофон, он повторял.

— «Каэн-два», я вас слушаю, повторите. «Каэн-два!» «Каэн-два!»

Невольню и Долганов, и Кононов, и Бекренев шагнули к микрофону, хотя голос Игнатова стал отчетливо слышен на мостике:

— Я лишился хода. Катера противника меня расстреливают. Нахожусь у западного мыса в устье фиорда. Вышлите самолеты, отгоните немцев.

Другой торопливый голос прокричал:

— «Каэн-два», я «Каэн-восемь». Мы вас ищем. Мы вас ищем. Опять попали в дымку.

Игнатов спокойно и сосредоточенно, без тени волнения, объявил:

— Я тоже в дымке. Буду давать зеленые ракеты.

Все взгляды обратились на море. В той стороне, где находился Игнатов, клубились дымы, продолжались пожары. Катера, возвращающиеся на поиски своего командира, должны были обойти горящие озера нефти, проскочить несколько дымовых завес, поставленных для отхода, а потом попадали в облачность. И та же облачность, несомненно, затруднит поиск самолетов.

В какой-то миг Кононов разом вспомнил свой тонуший самолет, знакомые голоса, шаги на крыле самолета, палубу катера, каюту Игнатова в скале, решение весело отпраздновать знакомство после боевой операции... Неужели он, спасенный Игнатовым, не сумеет его спасти?!

Он послал одно звено, второе звено — самых лучших летчиков, такие были в воздухе. И закричал Игнатову:

— Держись, Игнатов, друг, послал два звена. Скажи, как услышишь над собой самолет.

— Хорошо, — сказал Игнатов, — торопитесь. Немцы в восьми казельтовых. Расходую последний боезапас.

Самолеты гудели на месте, и катера были где-то за завесами.

Миноносцы прошли мимо «Упорного». По приказанию Долганова, Умный» занял место головного корабля. Николай Ильич увидел Неделяева и Сенцова. Они держали руки под козырек, и горнист играл захождение. Николай Ильич сердито замахал рукой: «Отбой». Сейчас было не до щегольства, не до упоения победой.

Николай Ильич вспомнил мальчишеский голос Игнатова, его надежды на настоящий бой с немцами, его досаду на то, что нехватает боевого дела... Он прошел перед Николаем Ильичем, зримый, живой — в работе на «Упорном», в настойчивом желании вернуться на катера, в последнем походе, когда они спасли Кононова... Нелепость! Он чувствовал в Игнатове самую близкую морскую душу. Следующее, замечательное поколение морского офицерства. И вот война отнимала у флота рожденного для войны моряка!..

Николай Ильич взял микрофон и позвал Игнатова. Сказал, что «Упорный» не уходит, что катера и самолеты ищут, просил держаться, держаться, пока не подоспеет помощь.

— Я держусь, — ответил Игнатов, — но катер скоро затонет, а немцы теперь совсем близко. Сволочи, сигналият, чтобы сдавались! Мой боцман ответил очередейю.

Попрежнему голос Игнатова был ровен, и Николай Ильич осмотрелся. От этого спокойствия Игнатова казалась неправдоподобной, невозможной гибель катера, находящегося в нескольких милях от «Упорного». Казалось, что помощник командира «Упорного», капитан-лейтенант Игнатов, невидимо стоит рядом.

— На «Упорном» слушайте меня, — вдруг ворвался на мостик торопливый голос. — Я «Каэн-восемь». Я «Каэн-восемь». Вступил в перестрелку с катерами противника. Идите на нас, прикрывайте, пока мы занимаем экипаж «Каэн-два». Мой курс... Вас вижу...

— Дайте дистанцию и курсовой до катеров противника, — потребовал Николай Ильич.

Бекренев велел передать на все посты, что «Упорный» спасает «нашего Игнатова». Орудия согласно и грозно загрохотали, и снаряды понеслись в затуманенную даль.

— Сейчас подойдут катера, вы слышите, Игнатов. Сейчас к вам подходят катера.

Какие-то странные звуки выходили из мембраны — пулеметная дробь, слышные выкрики...

— Игнатов, отвечайте. Вы слышите, Игнатов?!

— «Каэн-два», «Каэн-два». Мы обнаружили немцев,— надрывался «Каэн-8». — Держитесь, мы подходим!

И вдруг приглушенный сдержанный голос Игнатова ответил:

— Поздно. Не рискуйте... Немцы рядом. Прощайте, все, прощайте, друзья.

Какой-то воющий звук захлебнулся в мембране.

— Игнатов! Игнатов! — тщето взывал Николай Ильич.

После долгого молчания Петров сухо доложил, что катера возвращаются. «Каэн-8» потопил немецкий сторожевик.

— «Каэн-два» взорвался и погиб с честью,— тихо добавил он и отвернулся.

В тишине, воцарившейся на мостике, разносился только деловой, настойчивый голос Кононова. Сорвав с головы фуражку, он стоял у радиодина и упорно повторял:

— «Воробей-двадцать три». «Воробей-двадцать три». Я, Кононов, Я, Кононов. Доложите обстановку. Кого обнаружили? — Потом он слушал, прищурившись и жуя губами, и вдруг закричал обрадованно и злобно: — Всеми своими силами карайте гадов. Расстреливайте, бомбите, жгите — всех на дно. Всех на дно! Вы меня поняли? Всех на дно!..

Николай Ильич спустился вниз. Он шагал мимо ящиков с пустыми гильзами, мимо орудий, на которых от перегрева спеклась и лупилась краска. Он примечал дыры в переборках и в перекрытиях надстроек. Он всматривался в усталые, опаленные лица, одно за другим возникавшие перед ним, примечал перевязки на головах и на руках и простужающие багровые пятна на них. Люди улыбались ему и поздравляли с победой; глубокое удовлетворение чувствовалось в каждом их слове, в каждом взгляде и в той радостной готовности, с которой они забывали о своей усталости и боли. Он чувствовал, что значительность и красота сегодняшней победы дошли до каждого человека, как бы мало он ни знал об общем ходе операции.

Он вздрогнул, когда старшина терпедистов сказал:

— Жаль товарища Игнатова. Он бы порадовался... Он так готовил нас к торпедным атакам...

— Очень жалко.

Николай Ильич склонил голову.

Но сердце требовало других слов, отрицания смерти: жизнь Ковалева и Игнатова, жизни, прошедшие в морской службе, на просторной настоящей работе, продолжались. Они оставались на корабле.

— Надо поскорее приводиться в порядок,— сказал Долганов торпедисту, пробуя ногою зазубрины платформы, порванной осколками снаряда.

А торпедист, перегибаясь через борт, заметил:

— Ссадин-то сколько!

Весы в ранах, потемневший от дыма, минолюсец шел полным ходом. Вода струилась и журчала вдоль борта и что-то напевала о новых походах, о новых днях морской славы, о море, в котором жить и жить с которым не может разлучиться моряк.

— За три недели приготовимся,— уверенно сказал Долганов.

ПАВШИЕ ЗА ФРАНЦИЮ (Письма приговоренных к смерти)

От переводчиков

Одной из важных исторических задач, разрешаемых Объединенными Нациями, является возвращение к жизни казавшейся заживо погребенной Франции.

В крушении этой когда-то свободолюбивой цветущей страны были повинны, по признанию ее лучших сынов, сами французы, допустившие к власти Лавалей и Дорио — этих продажных душонок, возглавлявшихся врагом всякого прогресса — престарелым жандармом с маршалскими звездами на рукаве.

Долгие годы французский народ разьедала тяжелая болезнь фашизма; она душила все попытки французского народа к освобождению честного труда и свободной мысли от гнета самого гнусного мракобесия. Эта болезнь разложила когда-то могущественную и страшную для немцев французскую армию: на командные посты выдвигались генералы, прочно забывшие все революционные традиции не только тех французов, что «штурмовали небеса» и погибли у стены коммунаров, но и тех усачей-гренадеров, что били «тиранов» на полях Иены и Ауэрштадта.

Потребовались не только физические, но и нравственные страдания, вызванные неслыханным унижением Франции, чтобы из гущи народных масс вышли герои «Национального сопротивления».

Четыре долгих года они работали и гибли в подполье, и мы бы никогда, быть может, о них не узнали, если бы

до нас не дошли вот эти несколько предсмертных писем. Эти подлинные человеческие документы сказали нам больше, чем любой роман.

Для советского читателя некоторые письма могут показаться слащавыми, если не учесть характерной для французов любви к своему очагу и чувства благодарности к своим родителям за те жертвы, которые они приносили, чтобы предоставить детям столь дорого обходившееся во Франции образование и воспитание.

В некоторых письмах проглядывает и то жизнелюбие, интерес даже к мелочам повседневной жизни, которые не покидают француза до самой смерти. Однако для всех французских патриотов их дорогая Франция — дороже жизни.

Само слово «патриот» звучит в устах французов особенно: оно связано у них с понятием о революции, не отделявшемся, как известно, у их предков от понятия о родине. Борьба с фашизмом возвратила словам «Марсельезы» — «*Amour sacré de la Patrie*» — «Священная любовь к родине» их первоначальный глубокий смысл, и французский коммунист идет на смерть с той же песней, с какой ходили в бой солдаты 1-й французской республики.

Французских товарищей, обреченных на смерть, до последней минуты окрыляла вера в свободолюбивые народы, в нашу победу.

Каждый народ переживает испытания по-разному, и каждый язык имеет свои особенности для выражения

чувств. Задача переводчика, пожалуй, еще более ответственна, чем писателя: он обязан найти слова для выражения не своей, а чужой мысли, и потому, при переводе на русский язык, мы, в ущерб, быть может, литературному языку, старались сохранить точный смысл священных для всех нас предсмертных слов французских героев.

Из предисловия французского издания

Их уже более 50 000!

Это целая армия...

Ни один генерал не водил их на штурм. Они пошли поодиночке, подчас небольшими группами. У них не было ни знаков различия, ни формы. Ее заменяли «синяя блуза» механика, кепка железнодорожника, повседневный пиджак, в котором они работали в канцелярии, старый подрясник. Все они были труженниками, даже философами, даже священниками, и умерли в борьбе за освобождение Франции.

Они составляли армию, которая мобилизовалась сама собой внезапно и бесшумно: молодые со стариками, отцы с сыновьями, профессора со своими учениками. Их не приветствовали колокольным звоном, и женщины не бросались им навстречу с цветами. Но некоторые их сопровождали. Они им сопутствовали до конца.

Они составляли демократическую армию, где рудокоп дает распоряжения доценту, где священник получает советы от своей пасты. Единый порыв объединил между собой самые различные элементы, разбросанные по всей территории Франции, единая душа их спаяла. Им нечего было рассуждать о дисциплине, потому что они вполне подчинились требованиям долга.

Они составляли армию, сражавшуюся незаметно, упорно, без подбора. Они знали, что их оклеветают. Они знали, что если попадут в руки врага, им будет отказано в военной чести.

Так они постепенно жертвовали всем: до собственной гордости и жизни.

Спокойно, без фанфаронства, с широко открытым взором, шли они навстречу своей судьбе, горчайшей из всех. Они знали, что им будет отказано в опьянении крупных атак, в упоении сражениями, что им придется вступить в то полное и леденящее одиночество, у порога которого пресекалось само вдохновение поэтов.

Никто их до этого не воспевал. И, когда они падают, пронизанные пулями, смерть им отказывает в благородном, облик сраженного воина: их привязывали к столбу, как скотину на бойне.

Те несколько писем, которые мы здесь приводим, являются единственными попавшими в наши руки. Большинство приговоренных не нашли в течение последней ночи того друга, который взялся бы доставить их послания. В других случаях мать или жена не пожелали огласить строки, написанные лично для них: сквозь скупые слова еще трепещет сердце, которое скоро перестанет биться.

И все же, как ни мало дошло до нас этих писем, они позволяют точно воссоздать образы героев французского сопротивления. Многие письма составлены неумело, так как писавшие не привыкли анализировать свои мысли. Другие вскрывают чувства такой простоты и наивности, которые могли бы поразить, если бы мы забыли, что эти люди в повседневной жизни ничем не отличались от самых скромных своих собратьев.

Писатели, сочиняя предсмертное письмо приговоренного, составили бы более полное и на вид более значительное послание. Но действительность всегда более скромна и отрывочна, чем ее отображение в искусстве. Эти люди преодолевали слезы, сдерживая рыдания, но ни о чем не сожалели и знали, что им никогда не придется выразить бесконечное отчаяние и бесконечную нежность, наполнявшую их сердца. Как бы робея перед заслуженной ими славой, как бы сожалел о горе, причинаем ими близким, они сумели произнести лишь скромное и грубоватое «прости!» Они расстались с миром со словами столь обычными, сколь обычной была та одежда, в которой они пошли на смерть.

Но встретили пули с песней.

Первые казни были совершены в начале августа 1940 года: восемнадцать рабочих с Бийанкурских заводов были расстреляны в Париже. Затем казни участились: то многочисленные заложники уничтожались сразу, то маленькие группы, то отдельные личности. Что бы поскорее покончить с патриотами,

немцы пользовались различными средствами: обычно карательным взводом, а подчас также и гильотиной. В одном из случаев, по крайней мере, прибегли даже к веревке. Многие списки приговоренных к смерти были опубликованы самой комендатурой. В зависимости от районов в них фигурировали, главным образом, углекопы, металлурги или крестьяне и кустари. Но, хотя рабочие и составляли костяк этой армии, все же в ее рядах встречаются профессоры, чиновники, адвокаты, инженеры, депутаты, писатели и священники. Одни из них приговаривались наугад: это были заложники. Другие обвинялись в саботаже, в пропаганде против нацизма, в военных действиях, совершенных против оккупационных войск.

Ни одна из войн в истории не приняла столь драматического облика, как война 1939—1945 годов.

Немцы ввели войну в повседневную жизнь и очаги. Пресыщенные злобой, они выдали нациям хлеб ненависти в такой мере, что каждое жилище сделалось крепостью, каждое сердце повстанческим, и оружие как бы само собой оказалось в руках некогда беззащитных людей. Те, кого по привычке еще до сих пор считают невоеннослужащими, на деле во многих случаях являются теми, кто ведет самую упорную, самую кровавую, самую отчаянную борьбу.

Трижды награжденный орденами в течение войны 1914—1918 годов, Жан Катлас, железнодорожник, депутат-коммунист, был гильотинирован 22 сентября 1941 года во дворе тюрьмы Ла Санте, в Париже.

На эшафот он поднялся с пением «Марсельезы».

За несколько часов до смерти он писал своему брату:

«Вчера я был приговорен к смерти. Я смело жду минуты пасть за своих, за справедливое и человеческое дело. Завещаю тебе память о себе и заботу о своей семье, так как имя наше незапятнано. С честью посылаю тебе и друзьям свою последнюю мысль.

Крепко тебя обнимаю».

Пьер Сэмар — член Политбюро Французской компартии, секретарь Федерации железнодорожников, расстрелян немцами в 1941 году.

Перед смертью он отправил последнее послание рабочим и французским железнодорожникам, своим товарищам: «Дорогие друзья!

Непредвиденное обстоятельство позволяет мне отправить вам последнее послание. Через несколько секунд я буду расстрелян.

Жду смерти спокойно и покажу своим палачам, что коммунисты умирают, как патриоты и революционеры.

Мои последние мысли несутся к вам, мои соратники в борьбе, ко всем членам нашей Великой Партии, ко всем французским патриотам, к героическим солдатам Красной Армии и к великому Сталину.

Я умираю, убежденный в победе над фашистами и в освобождении Франции. Скажите моим товарищам-железнодорожникам, что я их заклинаю ничего не делать из того, что бы могло помочь гитлеровцам. Они поймут и послушают меня. Они будут действовать, я в этом уверен.

До свидания, дорогие друзья, близится час моего ухода в Вечность, но я знаю, что гитлеровцы, которые меня расстреляют, уже разбиты, и что Франция вновь будет в состоянии взяться за великую борьбу.

Да здравствует Советский Союз и его союзники!

Да здравствует Франция!

Пьер Сэмар».

Между тремя французскими депутатами, поплатившимися жизнью за верность родине, значится Габриэль Пери, член ЦК Французской компартии, главный редактор газеты «Юманите», депутат Аржантейля.

Он был расстрелян на Мон-Валериен, на рассвете, 15 декабря 1941 года.

Вот последнее прощание этого бойца-интеллигента, культурность и учтивость которого многие парижане смогли оценить до того, как оценили его героизм.

«В воскресенье, в двадцать часов, священник из тюрьмы Шерш Миди объявил мне, что я буду расстрелян в качестве заложника.

Умоляю вас вытребовать из Шерш Миди оставленные мною там вещи. Быть может, некоторые из бумаг напомнят обо мне. Пусть мои друзья знают, что я остался верен идеалу всей моей жизни; пусть мои соотечественники знают, что я умру для того,

чтобы жила Франция. В последний раз я произвел экзамен своей совести: он оказался положительным. Я бы хотел, чтобы вы это повторяли вокруг себя. Если бы мне довелось начать жизнь снова, я пошел бы по тому же пути.

Я часто вспоминал этой ночью о том, сколь правильно мой дорогой друг Поль Вайян Кутюрье говорил, что «коммунизм — это юность мира, готовящая в будущем радостные¹ дни».

Я подготавливаю сейчас эти радостные дни будущего.

Вероятно потому, что Марсель Кашен был хорошим для меня учителем, я чувствую себя достаточно сильным, чтобы встретить смерть.

Прощайте, и да здравствует Франция!
Г а б р и э л ь.

Парижский адвокат Жак Грюнбаум, расстрелянный в качестве заложника 15 декабря 1941 года, писал: «Мои последние часы, сегодня вечером, 14 декабря 1941 года.

Мама, я люблю тебя, мой папа и лучший друг, мои две любимые маленькие сестры, все вы, кто больше меня не увидите, за несколько часов до моей казни рука моя не дрожит, волнение мое улеглось.

Я жду. Судьба была против меня. Я больше ничего не могу в ней изменить. Через несколько часов я буду новой и невинной жертвой среди стольких других.

Мне хотелось бы с вами побеседовать. Мне хотелось бы вам сказать, сколь я горжусь вами, вашей стойкостью перед прошедшими испытаниями.

Величайшее из них ныне наступило. Меня уже не будет, когда эти строки дойдут до вас. Я прошу только об одном: чтобы вы были сильнее, чем когда-либо. Я представляю себе вашу боль и дрожу за момент, когда вы узнаете о...

Воспитать сына до моего возраста и утратить его при подобных обстоятельствах, — перенести это ужасно. Я часто размышлял о заботах, которые я вам причинял в детстве, и о том, как вы мне помогали в первых моих шагах. Вы сделали из меня, могу сказать, человека, и все это ни к чему. Мы больше не увидимся, меня больше не будут именовать «мэтром», ни дедушкой, ни старшим братом, ни братишкой.

Представляю себе вашу скорбь. Я начинал входить во вкус своего очага, и когда я об этом думал, я воображал себе ту радость, что я бы испытывал, старея (какой иронией является глагол «стареть»), при виде наших детей, которых я обещал себе воспитывать так, как вы меня воспитали, так есть честными, прямыми, храбрыми перед всяком испытанием, даже том, которому я подвергаюсь.

Я крепок и бодр! — каким и должно быть. Мне бы хотелось высказать то, что я думаю... Увы! Представляю себе твоё страдание и вижу как ты бежишь к моей фотографии, что стоит на моем маленьком письменном столе. Ну, мама, моя мама, именно тебе я хочу немножко написать. Горе твоё будет велико, и все же позовь мне, — тебе пишет живой покойник, — сказать тебе, что и другие матери оплакивают своих сыновей, павших на войне.

Последняя воля, которой я желаю чтобы ты подчинилась, следующая: надо, чтобы ты жила, ты нужна моим двум маленьким сестрам, для них ты обязана оставаться. Если бы предприняла что-либо против своего существования, — ты не выполнила бы своего долга. Изю всех матерей ты была матерью исключительной, потому что вместе с папой ты сделала из меня то чем я стал. Нужно сделать из моих сестер честных женщин. С помощью папы (для которого слова эти, как и это чувствую, чего-то стоят) через несколько лет они подрастут, и, когда наступит мир, вы будете ими гордиться. Если у них найдется моя сила характера, они добьются успеха в жизни. Я не могу сделать из вас ни бабушки ни дедушки, но они смогут предоставить вам радости, которых вы стоите достойны.

Живите и не отчаивайтесь. Я этого требую. Такова моя последняя воля. Прошу прощения за горе, вам причиняемое; прошу прощения у всех чет-верых. Наступят для вас и счастливые дни, об этом думаю и этого желаю.

Ваш сын

Ж а к Г р ю н б а у м

Три часа пятнадцать минут утра скоро казнь. Некая сила наполняет меня, и я держусь. Надеюсь, и вы будете держаться.

Анри Мартель, расстрелянный немцами 14 апреля 1943 года, был сы

¹ Дословный перевод «поющие».

ном коммунистического депутата Анри Мартель, заключенного по распоряжению петэновских властей в тюрьму Мэзон Каррэ.

Анри Мартель был казнен одновременно с двадцатью девятью боевыми членами партии, из которых некоторым было меньше двадцати лет. Фашисты разорвали все прощальные письма этих тридцати героев, павших где-то на севере Франции, с тем, чтобы о них не осталось никакого следа. Мы располагаем только запиской, которую Анри Мартелю удалось переслать отцу.

Второй сын депутата Мартеля был также расстрелян немцами в течение апреля 1943 года.

«Я буду отважным, как ты. Я буду достойным всех тех заключенных, кто страдает за торжество нашего идеала.

Я убежден в том, что те, кто останется в живых, будут счастливы благодаря нашей жертве. Мы правильно избрали наш путь. Я твердо верю в будущее...»

Приводим выдержку из письма, написанного двадцатипятилетним приговоренным к смерти и казненным в мае 1943 года. Текст его был опубликован в подпольном журнале «Объединенные силы молодежи» без упоминания имени автора:

«Май 1943 г.

Мне кажется, что сил у меня достаточно и их хватит в настоящую минуту, чтобы идти на смертную казнь с поднятой головой... Я не жертва: я частица крови, удобряющей в настоящее время землю Франции. Чтобы народ жил, я должен умереть, и умираю. Сколько людей гибнет сейчас в принятом гигантском сражении? Что я сам представляю в этой гекатомбе? Одну из жизней,— по это немного, когда на карту поставлена жизнь всего человечества... Боритесь, объединяйтесь, мои братья. Каждый из нас в отдельности — ничто. Все вместе мы представляем мир, мы — свет. Да не будет больше эгоизма, раздоров, обскурантизма. Общее единение, непоколебимая вера в знание, прогресс — и человечество будет спасено. Через несколько недель, быть может, месяцев, лицо мира изменится. Некогда будет думать о тех, кто пал, ни о тех, кто еще падет... Но после победы, когда, братья мои, вы взглянете на прошедшее, не оплакивайте нас: склонитесь над вдовами и сиротами, и вперед

к будущему, вперед, чтобы вырвать у природы все ее благодеяния, все ее богатства.

Я знаю, что вы будете таковыми. Я ухожу спокойным. Будущее обеспечено. У меня нет ни сожалений, ни беспокойства, ни волнения. Я — это завтрашний день; мои палачи — это уже вчерашнее.

8 часов. Мы все еще в тюрьме.

8 часов, 5 минут. Есть... Прощайте.»

Во вторник 6 июля 1943 г. в Кенси были гильотинированы Луи Карон из Дивियोна и Рожэ Крепэнж из Ивию. Одному было 21 год, другому 20 лет. Старший брат Луи Карона был уже расстрелян немцами.

Вот последние письма этих двух мучеников:

«Товарищи.

Пишу эти несколько слов из своей камеры. Я приговорен к смерти с 17 июня 1943 года специальным судом. Но знайте, товарищи, что это не сломит ни моей отваги, ни моей веры в окончательную победу в завязавшейся борьбе! Я умру жертвой долга, а также жертвой вишийской клики и их прислужников.

Вот почему прошу всех товарищей, имеющих еще возможность беспощадно бороться против «интернационального фашизма», против прислужников Германии, против людей, морящих голодом французский народ. Помогайте изо всех сил и всеми средствами нашим доблестным русским товарищам, уже два года включившимся в самую кровавую из битв, которую когда-либо ведала история, за спасение Европы и освобождение не только Франции, но и всех европейских народов, поработанных фашистскими ордами.

Моя смерть, товарищи, и смерть многих тысяч наших товарищей вызвает к отмщению. Поэтому я прошу всех тех, кто еще свободен, бороться изо всех сил и покарать предателей, ответственных за порабощение французского народа. К действиям, саботируйте гитлеровскую военную машину, карайте предателей.

Да здравствует Франция! Да здравствует СССР!

Да здравствует коммунистическая партия!

Карон, Луи — солдатская книжка 2002».

«Трижды приговоренный специальным судом города Дуэ, я спокойно ожидаю смерти; никто из лиц, меня укrywавших, ни один приятель выдан мною не был; позднее можно будет в этом убедиться, ознакомившись с показаниями, данными мною следователю в Дуэ. Несколько складов остались за-секреченными.

Я умру довольным — я поработал за освобождение Франции.

Крепэнж, Рожэ.

Р. Т. Сектор 3».

Жюльен Хапио, бывший руководитель комсомола Франции, капитан одного отряда вольных стрелков и партизан, был расстрелян в Аррасе, в августе 1943 года. Перед смертью он обратился к своим товарищам. Вот его последнее прощание:

«Аррас, 27 августа, 1943 г.

Великой французской коммунистической партии,

Доблестной Федерации комсомола Франции.

После уничтожения тысячи героев национального освобождения гитлеровские палачи вчера приговорили меня к смертной казни. Меньшего я и не ожидал от этих кровавых скотов, которые, заливая мир огнем и кровью, уничтожают свой собственный народ на полях сражения; это поведет к истреблению нацистского режима и победе свободных сил.

За несколько дней до моей казни я хочу лишний раз провозгласить свою любовь к великой коммунистической партии. Благодарю ее за то, что комсомол меня просветил и дал мне достаточные познания, чтобы позволить мне быть полезным моим согражданам. Благодаря компартии жизнь моя не оказалась бесполезной; истинным для меня удовлетворением является сознание, что со дня моего вступления в великую партию Ленина—Сталина я не пожалел сил, чтобы способствовать уничтожению капиталистического режима, породителя войны и злосчастий. В борьбе, которую в настоящее время ведут народ и французская молодежь за национальное освобождение, я сознаю, что вложил свой кирпич в строительство нового общества, которое освободит социально нашу страну.

Да, оглядываясь назад, я горжусь тем, что последовал по пути, намечен-

ному нашей доблестной партией. Истязатели вишнейской полиции и палачи гестапо предложили мне предать это прошлое. Как будто смерть не слаще предательства! Если эти мерзавцы-поработители не побоялись заявить мне, что коммунисты представляют их главных врагов, то пытки, которым они меня подвергли, только усилили мое убеждение, что коммунисты являются передовым отрядом освободительной борьбы.

В отношении слабых и трусов, думающих, что невозможно противостоять пыткам полиции, я желал бы, чтобы они прочли мои показания: они увидели бы, что жесточайшие пытки, не более чем посулы, не смогли вырвать у меня малейшее указание, способное повредить нашей организации. Несмотря на обвинения, я настаивал на том, что знал подпольных работников только по кличкам (о настоящих именах я, разумеется, умолчал) и что, проводя ночь то тут, то там, не упомянул ни одной квартиры, никакого адреса.

Если мне не суждена радость увидеть окончательную победу, которая обеспечена, я все же имею удовлетворение быть свидетелем блестящих успехов Красной Армии, которая героически приносит самые исключительные жертвы, чтобы уничтожить коричневую чуму. Все заключенные патриоты задают себе вопрос — почему англо-американцы еще не создали настоящий второй европейский фронт, но каждый уверен, что гитлеризм не долго переживет итальянский фашизм, до того велика вера в доблестную Красную Армию и ее гениального вождя — Сталина. Я лично вновь подтверждаю свое восхищение бойцами и народами Советского Союза.

Мне вполне ясно, что французская молодежь, несмотря на репрессии против уклоняющихся от принудительного труда, восстает против своего выселения в Германию и борется за освобождение нашей родины. Нет сомнения, что для спасения будущих поколений от рабства молодые французы будут массами вступать в ряды доблестной Федерации комсомола и отряды вольных стрелков и партизан.

Объединяясь для борьбы против захватчиков на широком патриотическом фронте, французская молодежь должна поставить себе целью свободу и независимость нашей партии: она не преминет это выполнить!

Один доблестный товарищ из Роф, Робер Анри, был приговорен к смерти сегодня утром за то, что предоставил ночлег отважному партизану. Поведение его образцовое, и я с ним повторяю строки из «Марсельезы», так как мы пойдем к столбу казни с песней наших предков.

Шлю свой привет великой французской коммунистической партии, ее отважным и прозорливым вождям, Федерации комсомола Франции, моим вечерашним сотрудникам, всем, кто мне помог и оказал гостеприимство.

Убежденный, что никакая жертва не в счет и что угнетатели понесут заслуженную кару, я готов включить свое имя в длинный список мучеников за национальное освобождение.

Да здравствует великая коммунистическая партия! Да здравствует Федерация комсомола Франции!

Да здравствует Ц. К.! Да здравствует СССР! Да здравствует Красная Армия!

Да здравствуют доблестные вольные стрелки партизаны!

Да здравствует свободная и независимая Франция!

Смерть тиранам!

Жюльен Хапио.

20 сентября 1943 года двадцатидвухлетний Александр Трюшо был расстрелян в Дижоне как вольный стрелок. Перед смертью он написал родителям следующее письмо:

«Дорогие родители.

С великой скорбью мне приходится в это печальное утро с вами проститься. Я знаю, что горе ваше будет велико, но, увы, нужно подчиниться. Я сокращу это предсмертное прощание, дабы сохранить всю свою отвагу для этой последней страшной минуты.

Обнимаю вас всех еще раз от всего сердца. Прощайте, все кончено...»

26 сентября 1943 года шестнадцать юных французских патриотов были расстреляны в цитадели Безансона. Между ними находился шестнадцатилетний мальчик, Анри Перте.

Вот письмо, которое он написал за несколько минут до того, как пасть под немецкими пулями:

«Дорогие родители,

Письмо мое причинит вам великое горе, но я видел вас столь преисполненными отваги, что, не сомневаюсь,

вы ее еще сохраните хотя бы из любви ко мне.

Вы не можете себе представить все то, что я выстрадал в своей камере в разлуке с вами, чувствуя лишь издали ваше нежное участие. В течение этих восьмидесяти семи дней пребывания в камере мне нехватало вашей любви несравненно более, чем ваших посылок, и мне часто пришлось просить у вас прощения за причиненное вам мною горе. Вы и подозревать не можете, насколько я вас нынче люблю; прежде я вас любил скорее по привычке, тогда как теперь, когда я понимаю все, что вы для меня сделали, мне кажется, я дошел до истинной, до настоящей сыновней любви; быть может, после войны один товарищ расскажет вам об этой любви, которую я ему поведал; надеюсь, что он не преминет выполнить это, отныне священное, поручение.

Поблагодарите всех тех, кто мною интересовался, и особенно близких родственников и друзей; передайте им мою веру в вечную Францию; крепко расцелуйте бабушку и дедушку, дядей, теток, двоюродных сестер, Генриэтту; благодарю епископа за великую честь, им мне оказанную,— честь, которой я, кажется, показал себя достойным. Передайте господину кюре¹, что я особенно думаю о нем и о его близких; умирая, шлю привет своим товарищам по лицу; кстати, Х. должен мне папку папирос. Верните «Графа Монте-Кристо» Х'у, отдайте Ц'у 40 грамм табаку, что я ему должен. завещаю свою библиотечку Пьеру, учебники — моему папочке, мои коллেকции — дорогой маме, но прошу ее остерегаться доисторического топора и галльских ножен.

Я умираю за свою родину, я мечтаю о свободной Франции и счастья всех французов, не горделивой Франции — первой нации в мире, — но Франции работоспособной, трудолюбивой, честной; были бы французы счастливы — вот самое главное. В жизни нужно уметь вырывать счастье. Не сокрушайтесь обо мне, я сохраняю свою стойкость и бодрое настроение до конца и буду петь «Самбр и Мёз», потому что это ты, дорогая мама, меня ей обучила.

Будьте искренними и нежными с Пьером, проверяйте его работу, заставляйте его работать, не допускайте

¹ Священнику.

небрежностей, он должен показать себя достойным меня. Из трех малышей он остается один, он должен преуспеть в жизни.

Солдаты пришли за мной, я спешу, почерк мой, быть может, дрожит, но это потому, что у меня только огрызок карандаша; я не боюсь смерти, до того спокойна моя совесть. Мама, умоляю тебя, молись, думай о том, если я умираю, это для моего же добра: какая смерть явилась бы для меня более почетной? Я умираю охотно за мою родину. Мы вскоре, все четверо, встретимся на небе. Что такое столетие? Вспомни: «и эти мстители будут иметь новых заступников, у которых после их смерти будут преемники».

Прощайте! Смерть меня призывает, я не хочу ни повязки на глаза, ни быть привязанным к столбу. Обнимаю вас всех, тяжело все же умирать».

Куражо, хорошо известный в спортивных клубах Виллербана (окрестности г. Лиона), бывший «таллонер» из команды «13-ти виллербановцев», был казнен 21 декабря 1943 года в Лионе.

Перед казнью он писал жене:

«Лион, 21 декабря 1943.

Дорогая жenuшка.

Пишу тебе эти последние перед смертью слова, так как через минуту меня казнят. Будь стойкой, дорогая, и думай, что я умираю за Францию.

Тяжело умирать, не поцеловав вас всех троих, но до последнего момента ваши дорогие образы будут стоять передо мной, и это меня укрепит.

Прошу у тебя прощения за зло, которое я мог тебе причинить, как и всем другим.

Ты предупредишь маму, как и друзей.

Будь стойкой, моя милашка, и выше подымай голову, думая обо мне.

Прощай... моя дорогая, маленькая жenuшка, и поверь, — перед смертью не лгут, — вы были всем для меня. Расцелуй за меня хорошенько Жанну и малютку Раймонду.

Прими от умирающего, думающего о всех вас, самые нежные поцелуи.

Прощайте... навсегда.

Рикэ.

Да здравствует Франция!»

Жан Х. из Макона, один из шестнадцати патриотов, действовавших в районе болота Бобери (Сона и Луара) и расстрелянных немцами 1 февраля 1944 года.

Жан Х. попался в руки оккупационных войск после трагической трехдневной борьбы шестидесяти против пятисот.

Вот его последнее письмо:

«1 февраля 1944 года.

Мои дорогие родители.

Сейчас четырнадцать часов. Я только что узнал вместе с моими дорогими товарищами, что мы будем расстреляны через два-три часа. В первый момент волнение было велико, но мы умрем, как французы, как солдаты. В последнюю минуту обращаюсь к вам с просьбой простить меня за все причиненные мною вам огорчения. Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Я всех вас очень люблю.

Я почти счастлив умереть. Мечтой моей было стать офицером. Я, по крайней мере, мог бы умереть истинным солдатом, не привязанным к столбу.

Прощайте, папа, мама дорогая и бабушка, не печальтесь, будьте счастливы тем, что я умер за Францию.

Да здравствует Франция!

Ваш

Жан Х.

«Бесконечно дорогая мама, дорогой папа, дорогая бабушка, дорогая Николь, дорогой Гюи.

Мои два товарища и я сам собраны теперь в одной камере. Сейчас одиннадцать часов. Нам только что объявили, что мы трое приговорены к смерти и будем казнены в три часа пополудни.

Нас судили в пятницу 11 февраля и в тот же день приговорили к смерти.

Мы, следовательно, умрем, но умрем за Францию, и мы этим гордимся.

С большой грустью думаю о вашем великом горе, и именно теперь отдаю себе отчет во всем том, что вы для меня сделали, о жертвах, которые вы для меня принесли. Я не сумею поблагодарить вас так, как следовало бы.

Будьте стойкими под наносимым вам ударом, думайте только о тех, кто в моем возрасте безвестно помирает на фронтах.

Это ведь война со всей ее жестокостью, война, ведомая французским народом с тем, чтобы Франция воскресла. Я был солдатом, я сделал все возможное для своей страны; жизнь моя была недолгой, но я чувствую, что она была прекрасной, так как у меня был идеал.

Нежно обнимаю вас в последний раз.

Пьер»

(Из письма юного повстанца, расстрелянного в феврале 1944 года.)

Блонкур, племянник социалистического депутата, ослепшего на войне, молодой студент научного факультета, был приговорен к смерти немцами как вольный стрелок. Он был комсомольцем.

Приводим его письмо.

«Мама и папа, дорогие.

До того, как вы получите мое письмо, до вас уже дойдет ужасная весть. Умираю с отвагой, не дрожу перед смертью. Не сожалею о том, что я сделал, раз это могло послужить моей стране и свободе.

Мне очень горько расставаться с жизнью, так как я чувствовал себя способным принести пользу. Вся моя воля была направлена к созданию нового лучшего мира. Я постиг, сколь безобразен и несправедлив настоящий социальный строй. Я убедился, что при нем свобода — пустой звук, и я стремился это изменить. Вот за что я умираю: за социализм.

Я убежден, что будущий мир будет лучше, справедливее, что скромным и незаметным людям дано будет право на более достойное и человеческое существование.

За эту священную цель мне менее тяжело отдать свою жизнь.

Я уверен, что вы, дорогие папа и мама, меня поймете, что вы меня не осудите. Будьте твердыми и сильными.

Вы почувствуете меня воскресшим в том деле, в котором я был пионером. Не забывайте меня! Прощайте.

Ваш малыш

Тото».

О молодом Эдгаре нам ничего неизвестно, кроме его имени. Какой суд его приговорил? Где он был казнен? — остается загадкой.

Приписка к письму показывает, что Эдгар в последнюю минуту не знал, кому довериться. Он положился на судьбу, и она ему помогла. В камере, видимо, оказался человек, подлежащий освобождению, который выполнил последнюю просьбу обреченного.

Оригинал был доставлен родителям, а редакция получила лишь копию с краткой надписью: «С подлинным верно».

«Дорогие папа, мама и Поллет.

Вчера, 21 сентября, предстал я перед немецким военным судом, приговорившим меня и четырех других товарищей к смерти.

Я принял это известие совершенно спокойно.

От всего сердца желаю, чтобы и вы встретили эту весть столь же хладнокровно, как я, ибо, если бы мне удалось пройти без затруднений через все препятствия, другие бы пали за эту благородную цель, но так как судьба выбрала меня, то я выполню свой долг коммуниста до конца.

Я ни о чем не сожалею и надеюсь, что другие продолжат борьбу, так как победа не может больше от нас ускользнуть.

Дорогой папа, тебе не придется краснеть за твоего сына: он будет мужественен до конца, ты хорошо это знаешь.

А ты, дорогая мама, не отчаивайся. Я знаю, что удар будет для тебя жесток, но идеал должен превозмочь твою боль. Ты сможешь гордиться, что была матерью одного из тех, кто пал, чтобы жила Франция, такой, какой мы ее желаем.

Дорогая сестренка, милая Поллет.

Успокойся, — меня уже не будет, чтобы тебя дразнить. Не забудь, что ты остаешься единственной опорой для папы и мамы и что впоследствии ты должна будешь о них позаботиться. Я возлагаю этим на тебя тяжелую задачу.

Покидаю вас и говорю вам — прощайте. Крепко вас обнимаю.

Ваш сын

Эдгар

Да здравствует коммунистическая партия!

P. S. Это письмо содержит последние пожелания молодого француза 21 года, приговоренного к смерти немцами.

Горячо благодарю того, кто окажет мне эту услугу, так как мои родители не знают, что со мной стало.

Да здравствует Франция!»

Выдержка из письма молодого железнодорожника из северного района, написанного в самое утро его казни одному из двоюродных братьев.

«Фрэн, среда, 18 августа (12 час.)

Мой добрый Ренэ.

Меня, значит, больше не порадует встреча с тобой и моими дорогими друзьями на этом свете. Пишу тебе, чтобы ты им сообщил: через четыре часа я последую за многими другими, и смерть моя будет столь же оригинальна, как была и моя жизнь, но я о ней не сожалею и счастлив умереть за Францию! Живи для НЕЕ с тем, чтобы сказать: моя жизнь была не бесполезна; я имел счастье служить, быть полезным своей стране и своим ближним.

Тогда тебе тоже не о чем будет сожалеть, а это очень большое удовлетворение.

Я мало сделал, но делал всё с фанатизмом.

Я хотел бы гораздо больше сделать. Я знаю и уверен, что с такими сынами, как вы, страна, так пострадавшая от собственных ошибок, возродится. Заставь окружающих твоих друзей и детей любить эту бедную Францию.

Я много совершил слабостей, ошибок, но моя смерть их искупит, и я знаю, что вы долго будете обо мне вспоминать. Не впадайте в мои заблуждения: земное счастье заключается в выполнении долга и жертвенном служении своему идеалу.

Если мы столь низко пали в этой стране, если сам я нахожусь здесь, то это потому, что мы недостаточно любили Францию. Лекарство простое: любить Францию. За три месяца я много передумал и понял эту столь простую истину. Используйте это, не останавливаясь перед трудностями, не отчаивайся. Я никогда не был так спокоен.

До свидания, старина, до свидания, друзья! Да здравствует Франция!

Г ю ия.

Вот последнее письмо юного коммуниста, о котором нам сообщили лишь его имя: Поль Камфэн.

«Моей великой коммунистической партии.

Через несколько дней мои товарищи и я отправимся к позорному столбу. Я пойду с высоко поднятой головой, с чувством удовлетворения от исполненного долга и сознания, что для тебя, моя дорогая партия, я был верным твоим бойцом. Член комсомола с 1935 года, получая совет и поддержку от моего брата Ренэ, которому я и воздам своей смертью высшую из почестей, я стал секретарем

районной организации. Потом пришла война. Я пошел волонтером, провел год под знаменами и после подписания позорного перемирия вернулся в Аррас, чтобы вместе со своими товарищами продолжать борьбу.

В марте 1942 года я вступил в вольные стрелки и партизаны вместе со своим братом Морисом, который германски умер 14 марта 1943 года от немецких пуль после долгих месяцев заключения и страданий. В апреле 1942 года я перешел на нелегальное положение и 24 октября того же года был ранен и арестован девятью французскими и тремя немецкими полицейскими в Хэльме. Это произошло в 9 часов вечера. Дом, где я находился, был окружен, полицейские требовали сдаться, я попытался бежать; полицейский Деланнуа из Лилля (специальной бригады) дал по мне три выстрела. Раненный одной пулей в ляжку, а другой в колено, я был схвачен этими полицейскими, которые осмеливаются называть себя французами.

Меня отвели в центральный комисариат города Лилля, где до 8 часов утра полицейские мучили меня, избивая кулаками и палками. Центральный комиссар Роша лично ударил меня ногой по лицу, в то время как я лежал на двух стульях, истекая кровью (врач заявил, что меня необходимо немедленно отправить в госпиталь, но пытки только усиливались).

Я назвал свое имя лишь в 5 часов утра, после самых ужасающих пыток; полицейские положили мои половые органы на стул и давили их руками, заставляя меня назвать места явки с товарищами, но я заявил, что не знаю ни имен этих лиц, ни мест явки.

Наконец в 11 часов утра, 25 октября, совершенно обессиленный, я был перенесен в госпиталь Сен-Совер; я оставался без сознания шесть дней, перенес две операции колена. Несмотря на то, что я был забинтован до груди в гипсовую повязку, моя дню и ночью караулили четыре вооруженных полицейских инспектора. Я благодарен сестре, которая за мной ухаживала, и больным палаты Анри Фелля за сласти, которые они мне доставляли.

12 ноября 1942 года я был перевезен в немецкий госпиталь (Кальмер), где провел три с половиной месяца. Оттуда меня отправили в лагерь Лоос, куда я прибыл 28 февраля. Через неделю я был допрошен, будучи подве-

шен за кисти рук в течение пяти часов. Я служил «шучинг-боллем»¹ для варваров, производивших следствие. Другой раз я был связан и положен на три перекладные, приподнятых на 50 сантиметров от пола (одна под ногами, другая под поясницей и третья под головой). В таком положении я оставался в течение трех часов. При других допросах на меня надевали электрическую каску, били с невероятной яростью бычачьими жилами (моя спина вся в рубцах), оставляя по четыре дня без пищи, показывая миску с едой.

Несмотря на все эти пытки, я не выдал ни одного товарища и отрицал все, в чем меня обвиняли. Наконец я получил четыре посылки, но продолжал оставаться в одиночной камере, два с половиной месяца меня не выпускали на прогулку.

28 июля 1943 года я покинул лосский эд и в тот же вечер прибыл в Аррас. Там я был заключен в одиночку, мои посылки были уничтожены, а пытки и допросы возобновились. Я отрицал факты, но мучители-следователи подложили фальшивые документы в мое дело, в чем я и убедился на суде. Наконец меня перевели в общую камеру. Семь месяцев я провел в одиночке, мучимый голодом, ранами, но ни веселость, ни бодрость меня не покидали. 3 октября 1943 года опереточный трибунал (для моей защиты нашего адвоката пришлось разбудить) приговорил нас к смерти. В этот день было пять приговоренных к смерти и среди них мой доблестный товарищ Жорж Луше, заменивший мне отца. Несмотря ни на что, я продолжал петь и смеяться, я остаюсь французским коммунистом до конца и ни о чем не сожалею, разве только о том, что недостаточно много успел сделать. Но если бы я должен был начать новую жизнь, то я «провел бы ее так же, как и первую. Я горжусь тобой, моя великая коммунистическая партия, я горжусь твоими безупречными бойцами, которые умирают, не выдав ничего врагу. Я пойду к позорному столбу, распевая «Марсельезу»

¹ Мишенью.

и «Интернационал», с радостью в сердце при виде отступления тевтонов под ударами доблестной Красной Армии, при виде сопротивления нашей страны, при виде моей партии, которая сильнее, чем когда-либо.

Мне не страшно умереть. Я знаю, что мои товарищи и я будем отомщены, каждый день предатели и солдафоны падают под пулями вольных стрелков. Многие из нас умерли. Приветствую этих героев Освобождения, среди которых Жюльен Хапио (которого пытались купить за крупные суммы), Шарль Дебарж, Августин Ломбертс, Жюль Дюмон, Арман Пильяр (скончавшийся под ударами на моих глазах; его оставили валяться на земле в течение двух дней), мой брат Морис и сколько еще других!

Молодые французы, помните об этих героях! Их имена останутся синонимом отваги и чести. Другие товарищи, как и я, спокойно ожидают последней минуты, среди них находятся: Жорж Луше, Жорж Сантерн и два товарища из де-голлевцев. Молодые французские коммунисты, вольные стрелки, не поддавайтесь никакой слабости, не падайте духом, пусть вдохновлявшие нас чувства патриотизма и свободы живут среди вас; изгоняйте из страны врага, бейте предателей, будьте беспощадны. Не оплакивайте нас, но подымайте еще выше боевое знамя. Вы за нас отомстите, товарищи.

Слава всем вам, кто с нами пошел. Те, кто пали, и те, кто падут,— благодарят вас.

Я вскоре прощусь с моей короткой жизнью в 21 год для того, чтобы дети Франции были счастливы и свободны. Я не изменил делу моей партии, я ухожу с улыбкой и песней на устах, смерть меня не страшит.

Прощайте, товарищи вольные стрелки, прощайте, молодые коммунисты, прощай, моя чудная партия, прощай, моя прекрасная страна,— умирающий шлет вам привет!

Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует Франция!

Поль Камфэна

Перевод с французского Н. В. и Ч. А. ИГНАТЬЕВЫХ

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ-МОРЯКИ

(Отчет о дискуссии в Союзе советских писателей СССР)

Военно-морская литература... Этот термин возник лишь в годы Великой Отечественной войны, когда многие наши писатели-прозаики, драматурги, поэты ушли работать на флот и вместе со славной семьей советских военных моряков участвовали в битвах за родину. Содержанием жизни и содержанием творчества этих литераторов в дни войны стал советский военно-морской флот. Их пьесы, стихи, рассказы, повести, посвященные советским морякам, утвердили этот, на первый взгляд, непривычный термин — «военно-морская литература».

Творческая дискуссия на тему «Худоожественная литература в Отечественной войне», организованная военной комиссией ССП СССР в феврале этого года, доказала всю правомерность и реальность содержания этого нового в нашей литературе определения.

«В военно-морском флоте во время Великой Отечественной войны работает большая группа советских писателей, — сказал докладчик т. И. Нович. — Немало написано ими за эти годы. Но не было еще ни одной попытки подвести итог тому, что написано. Необходимость же «осмотреться», осознать, что и как нами делается и что делать завтра, ощущается все настоятельнее. Пришла пора оценить наши достижения. Во многих произведениях наших писателей-моряков даны лишь крупницы подлинного изображения войны, эти произведения, вероятно, не выдержат испытания временем. Но в определенный момент они сделали свое дело».

Тов. Нович указал на преемственность, связь нынешней морской литературы с воинскими и революционными традициями русского флота, со

славой Гангута, Чесмы, Корфу, Наварина, Синопа, Севастополя, со славою революционных матросов, сыгравших выдающуюся роль в Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Велика роль военно-морского флота в Отечественной войне, замечательны подвиги советских военных моряков. В их героизме заключается внутренняя сила развития нашей морской литературы и сейчас и в будущем.

«Левый марш» и другие стихотворения Маяковского, рассказы А. С. Новикова-Прибоя, пьесы Вс. Вишневского, В. Билья-Белоцерковского, К. Тренева, А. Корнейчука, «Севастополь» А. Малышкина, «Капитальный ремонт» Л. Соболева, рассказы К. Паустовского, романтические повести А. Грина образуют в советской литературе ясно осязаемую «морскую» линию, продолжающую и развивающую в дни нынешней войны.

Материал своего обзора т. Нович ограничил четырьмя произведениями, которыми, по его мнению, «далеко исчерпывается творческий опыт нашей морской литературы, но которые дают возможность постановки творческих вопросов».

В рассказах и очерках Л. Соболева объединенных в книге «Морская душа» по мнению И. Новича, действительная раскрытая живая душа советского моряка, его решительность, находчивость, отвага, презрение к смерти, стремление к победе. (Нельзя, однако, сказать, что анализ этой крупной и бесспорно выдающейся работы Л. Соболева в какой-либо мере соответствовал ее значению.)

Беглому анализу и оценке подведе-

докладчик пьесу Вс. Вишневского «У стен Ленинграда»: «Мы узнаем из пьесы Вишневского, за что воюют люди, и потому мы понимаем, почему они воюют мощно, героически, подвижнически».

Подробно останавливается И. Нович лишь на повести Л. Соловьева «Иван Никулин, русский матрос».

«Мы полны возмущения, — говорит И. Нович, — когда некоторые писатели позволяют себе рисовать события Великой Отечественной войны и советских людей на войне упрощенно, бездумно, кос-как, без того напряжения внутренних сил, какое присуще ныне всему нашему народу. Пример такого легкого, до-нельзя упрощенного изображения одного из выдающихся подвигов моряков в Отечественной войне — повесть Л. Соловьева «Иван Никулин, русский матрос».

Редакция позволит себе не разделить отрицательного отношения докладчика к повести Л. Соловьева. Отрицая правдивость ситуаций и героев этого произведения, сюжетом которого послужил подвиг 25 краснофлотцев во главе с минером Иваном Никулиным, И. Нович идет по пути необидительной критики, критики «недоверия». Он обвиняет героев повести — Никулина — в фальши, Фомичева — в хвастовстве, а автора — в шапкозакидательском настроении, в бедности идей. Одним словом, в пылу отрицания И. Нович несправедливо и тенденциозно заклеил повесть Л. Соловьева, уделив ее «уничтожению» добрую половину доклада. Однако убедить участников дискуссии в правоте своего мнения т. Нович не смог, о чем свидетельствовали и выступления других «братьев» (например, Виктора Шкловского), взявших под свою защиту безусловно талантливую, хотя и не лишённую некоторых недостатков, книгу Л. Соловьева.

Основным достоинством пьесы А. Крона «Офицер флота» И. Нович справедливо считает то, что в ней создан образ истинного представителя молодого советского морского офицерства, унаследовавшего лучшие морские традиции прошлого и воспитавшего в себе черты передовых людей нашего времени; впервые отчетливо показан образ советского морского офицера, мужественного, честного, преданного родине и ненавидящего врага. К недостаткам пьесы И. Нович отнес отсутствие в ней конфликтной ситуации.

К сожалению, со своей задачей — на основе анализа четырех значительных произведений о военно-морском флоте поставить творческие вопросы, имеющие актуальное значение для развития всей советской литературы — докладчик не справился. Ряд справедливых и даже бесспорных тезисов и положений И. Нович не смог подтвердить конкретным литературным материалом. Выступление его получилось, в известной мере, голословным. Независимо от этого, дискуссия оказалась оживленной и насыщенной. В ходе ее, действительно, были подведены итоги большой и плодотворной работы советских писателей над военно-морской темой и намечены новые интересные творческие задачи.

Полковник А. Ярош в своем выступлении рассказал о работе той большой группы писателей, которая в труднейшие для нашей страны годы пришла в военно-морской флот и своей работой в краснофлотской фронтовой печати вдохновляла бойцов и офицеров флота на подвиги, на борьбу. «Когда обстановка требовала, наши писатели откладывали свое перо, брали в руки винтовку, автомат и в рядах морской пехоты или на кораблях шли в бой».

Велико воспитательное значение очерков Л. Соболева, Вс. Вишневского, стихотворений В. Лебедева-Кумача и произведений других флотских писателей, честно служащих своему читателю. Но о рассказах Б. Лавренева, — продолжает полковник А. Ярош, — наши краснофлотцы, наоборот, отзывались неодобрительно, главным образом, потому, что в них показаны не современные советские моряки, а матросы «братишки» времен гражданской войны. Язык этих рассказов — не литературный русский язык, а нечто псевдо-матросское, избыточное одессизмами и жаргоном...

Высока требовательность читателей-краснофлотцев, велика их любовь к литературе; их высокий вкус не терпит фальшивых, подтасованных произведений, лубочными приемами приукрашивающих жизнь и борьбу нашего флота, неверно изображающих советских офицеров флота и краснофлотцев. Люди военно-морского флота не только много читают, но и сами пишут. Сотни начинающих талантливых литераторов-моряков в свободное время создают стихи, рассказы, очерки. Наши писатели должны помочь этим людям, бережно и с любовью отнестись к их трудам, ча-

сто еще незрелым, несовершенным, по говорящим о хороших и высоких стремлениях. Работа писателя во фронтовой печати может приблизить его к аудитории, будет способствовать тесной связи с теми людьми, которым посвящает он свое творчество — с советскими моряками. Однако, как отметил т. Ярош, многие наши литераторы за работой над повестями, романами, пьесами, подчас забывают о газете и выступают в ней весьма редко.

Серьезным недостатком литературы о военно-морском флоте полковник Ярош считает то, что о людях кораблей, о боевых буднях, о жизни и быте наших моряков непосредственно на кораблях написано еще мало. «Корабельную тематику» мы встречаем по-настоящему лишь в «Офицере флота» А. Крона и «Студеном море» Ю. Германа, а ведь ей по праву могло бы принадлежать одно из ведущих мест в литературе о советском военно-морском флоте. «Трудно писать о людях боевых кораблей», — говорит т. Ярош, — «для этого нужно знать флот, особенности корабельной службы и быта. Но такие книги нужны. Флот ждет произведений о морях, сражающихся с врагом в составе экипажей линкоров, крейсеров, миноносцев, подводных лодок, катеров».

Не разработаны в нашей литературе великие темы обороны Севастополя, Одессы. Мало еще написано о великопленной борьбе балтийцев, оборонявших Ленинград. Не созданы произведения, в которых было бы показано взаимодействие нашего флота и армии. Читатель хочет найти в литературном произведении ответ на волнующие его вопросы — те, которые часто служат темой горячих споров в кубрике или кают-компании. А темы эти — честь и долг советского офицера и краснофлотца, проблема товарищества, дружбы, взаимоотношения начальника и подчиненного. На эти вопросы наши писатели тоже пока еще не дали ответов.

Почему пьеса «Офицер флота» вызвала к себе такой интерес и возбудила такие оживленные дискуссии? Потому что А. Крон пытается в ней ответить на вопрос, каким должен быть офицер нашего флота. Произведения, в которых говорится о животрепещущих проблемах морали, быта и борьбы советских моряков, жизненно необходимы нашим офицерам и краснофлотцам.

Проблеме показа моряка-коммуниста посвятил свое выступление редактор газеты «Красный Флот» генерал-майор

Мусьяков, считающий, что ведущая идейная и организующая роль партии отражена в военно-морской литературе недостаточно глубоко, коммунисты на флоте показаны менее выразительно, чем они того заслуживают. Т. Мусьяков приводит ряд ярких примеров того, как примером и волею коммунистов решался победный исход тяжелейших боев и сражений. Показать коммуниста в бою — почетная и трудная задача, и она принадлежит к числу первоочередных задач нашей литературы.

О необходимости правильной расстановки сил писателей, работающих во фронтовой военно-морской печати, и о наиболее рациональном их использовании говорил в своем выступлении писатель Лев Успенский.

«Среди нас, — сказал он, — есть люди с журналистскими способностями, могущие принести много пользы газете, но есть и такие, которым это трудно, которые к газетной деятельности не склонны. И было бы целесообразно, если бы политуправление флота, работая с писателями, внимательнее относилось бы к специфическим особенностям дарования того или иного литератора. Почему бы, в самом деле, не спросить писателя: что ты можешь сделать наиболее целесообразно, с наибольшей пользой и удачей? А у нас подчас бывает так, что военного писателя держат по несколько месяцев на какой-либо работе в тылу, а потом отправляют во флот. Б тылу писатель, естественно, не имеет нужного материала; во флоте он имеет материал, но лишен возможности его обрабатывать. Координировать военную и чисто творческую деятельность писателей флота могла бы комиссия морских писателей, которую следует организовать при Союзе советских писателей. Такая комиссия, будучи в курсе всех творческих замыслов и возможностей писателей, служащих в военно-морском флоте, могла бы действительно помочь в разрешении этих двух существеннейших вопросов — расстановки сил и разумном использовании писателей во флотской печати».

Начальник Военмориздата генерал-майор С. Найда поставил перед писателями-моряками задачу глубоко овладеть темой флота, отказаться от «уставной» литературы.

Высоко оценивая произведения крупнейшего русского морского писателя Станюковича, т. Найда указал, однако, что неверно было бы «звать назад к Станюковичу». Сегодняшний

флот нашей страны создан новыми людьми, которых и призвана показать советская литература.

Подробной критике подверг т. Найда ~~сущ~~башность, ухарство, блатной жаргон, стихийность, распущенность, все еще в силу дурной традиции приписываемые подчас писателями советским морякам. Возражение генерал-майора Найда вызывает и ставшая в известной мере «модной» идеализация прошлого, которая ведет к нивелировке специфических особенностей, присущих военно-морскому флоту советского государства.

«В истории нашей родины,— заканчивает свое выступление т. Найда,— были периоды, когда мы временно были оттеснены от морей и океанов. Только временно. Но и тогда у исполина-народа не умирала любовь к морю. В тяжелых битвах наша страна вновь обрела моря и океаны. В этих битвах создались и закалился русский флот. Его слава в области научных открытий, дальних плаваний, изобретений—бессмертна. Его традиции живы и в наши дни—в дни трагических победоносных боев с несправедливыми захватчиками.

Говорят: большому кораблю—большое плаванье. Мы скажем: о большом флоте нужна большая художественная литература».

Интересно и темпераментно говорил о морской теме писатель Виктор Шкловский. Он напомнил о том, что многие крупнейшие люди русского флота еще не запечатлены в произведениях наших писателей. Нет книг о Сарычеве, Лаптеве, Челюскине, Овчине,—о людях, чья имена мы знаем и видим на географических картах. А ведь в них—история русского флота.

Чехов написал статью о Пржевальском, гордился ею и говорил, что правильно делают мальчики, что бегут в Америку; Маяковский говорил, что надо писать такие книги о Камчатке, чтобы всем захотелось туда ехать. О флоте надо и можно писать так, чтобы прежде всего решить самые важные вопросы русской военно-морской истории. И надо создать книги о русской морской гордости и о любви к морю, привить русскому человеку аппетит к океану, заселить его, наполнить жизнью, пейзажами, людьми.

Критикуя пьесу Вс. Вишневского «У стен Ленинграда», В. Шкловский считает неправильным ее название. «Наполеон был у стен Москвы, а Кутузов считал, что стены Москвы—за нами»,—говорит Шкловский. В пьесе

удались второстепенные герои, но нет основного героя, есть правильно схваченный матросский жест, но я не слышу в ней философии морских пушек, защищавших Ленинград».

Существенным недостатком многих книг, посвященных морской теме, Леонид Соболев считает то, что рассказ о корабле, о механизмах, парусах, волне и т. п. подменяет в них рассказ о душе и хозяине корабля—человеке. Получается очерковое решение боевых эпизодов, схематизм в изображении офицеров и краснофлотцев, действующих, как одушевленные механизмы, как придатки корабля. В действительности же весь сложный, умно построенный корабль есть только придаток к человеку, к его воле, мужеству, к его физической сущности и силе.

Вторая ошибка—в изображении офицера или краснофлотца только как военных профессионалов, забывая, что прежде всего—это советский человек, и двигателем его поступков являются советская родина, советский патриотизм. Получается, что моряки живут определенной, уставами размеренной, жизнью. А ведь на самом деле они живут своими страстями и привязанностями, своими симпатиями или антипатиями. Есть у них и враги в их среде—именно враги!—те, кто своей глупостью, необразованностью, упрямством, трусоватостью мешают воевать. Ханжеством было бы изображать корабль как некую счастливую Аркадию, где все—святые и безгрешные люди, где все умны и талантливо, где все великолепные войны. В жизни это не так. С этой точки зрения ценна пьеса А. Крона «Офицер флота». В ней хоть и не все показано смело и верно, но самый факт, что герой ее—умный, думающий офицер—борется с непохожими на него или чуждыми флоту людьми, является небольшой победой советской литературы.

Л. Соболев говорит и о том, что наряду с «модернизацией прошлого» в литературе бытует и «архаизация настоящего». Пишут о русском моряке, как писали о матросе Кошке, забывая, что нынешний защитник Севастополя—не просто русский, но советский моряк вне зависимости от того, украинец ли он, грузин или русский. За современным русским моряком 27 лет непрерывного пути к коммунизму. Зачем же нашим новым морякам придавать архаические черты русского моряка прошлых времен?

Наша литература должна ответить и на вопрос, возникающий в пытливейшей душе советского человека — матроса или офицера: как годы гитлеровского воспитания могли сорвать с немцев все человеческое обличье и обнажить в них зверя? Столетиями, с незапамятных времен в немцах воспитывалось звериное насилие над другими, грабеж, безнаказанность убийства, мысль о господстве над миром рабов-народов. Поэтому так легко и быстро спала с немцев их тонкая человеческая шкурка и вышел тевтон, гунн.

Наш народ раскрыл в войне свою великую душу, свои способности, свое благородство. Это также результат воспитания поколений народов, ставших ныне единой советской семьей.

Показать эту разницу между нами и немцами — важнейшая задача литературы.

Советский человек, называемый офицером, адмиралом, краснофлотцем, стремится обеспечить счастье и покой множеству людей. Он обнажает оружие во имя справедливости. Об этом мы должны писать честно и правдиво. Ибо всякая ложь в искусстве живет дни, а правда в нем живет вечно.

«Сейчас в нашей стране, — начал свою речь писатель Вс. Вишневский, — наблюдается подъем творческой работы. Люди живут предощущением победы и теми возможностями, которые откроются завтра.

Литературный процесс неотъемлем от общего военного и восстановительного процесса в нашей стране. Всюду виден мощный подъем — приближается весна победы.

О роли интеллигенции не случайно говорил товарищ Сталин, не случайно он отметил огромную, смелую, новаторскую работу интеллигенции. Каждый из нас полон сил и гордого сознания: ты участник небывалых событий. Приближается изумительный момент, долгожданный момент подхода к берегу некоей новой земли... Нас наполняет ощущение наших прав, которых никто не может ограничить, ощущение свободы слова — что записано в Сталинской Конституции, ощущение свободы творчества, инициативы, не ограничиваемой, если твоя инициатива здорова, смела и верно творчески направлена.

Мы за войну проверили людей, увидели и оценили основной костяк литераторов, которые пришли работать на флот. Мы имеем дело с крепкими и способными людьми. Они умеют драться

и писать. К каждому из них надо, конечно, подходить индивидуально, с учетом его свойств и способностей.

Несколько слов о личном опыте. Я приношу глубокую благодарность Балтике, командованию КБФ. Мне было дано все, от личных бесед в военном совете до сводок, информации, любых поездок. Всегда, когда требовалась помощь, она во-время была оказана, даже в самые напряженные моменты осени 1941 года. Балтийским литераторам была дана полная возможность работать. Результаты налицо. Люди сдают пьесы, сценарии, книги. Эти произведения — только первый «вал» наших наблюдений, вал 1941—1943 годов. Сейчас поднимается новый творческий вал, который будет реализован в 1945—1946 годах. У некоторых накопления будут реализованы, может быть, и позже...

Несколько слов непосредственно к Главному политическому управлению военно-морского флота СССР. Вы увидели, какими писательскими силами вы обладаете. Надо суммировать опыт, учесть все писательские заявки и пожелания и по-новому расставить силы, спланировать новые виды работы.

Коснусь вопроса о творческой свободе писателя и о приказе, хотя это старый спор. Есть люди, для которых написать большую статью — вопрос двух-трех часов. Другим для такой работы требуется иногда несколько дней. От такого автора, может быть, полезнее требовать не статью, а новеллу, рассказ, художественный очерк.

Можно ли писать по приказу? Да, безусловно. В Ленинграде осенью 1942 года меня вызвали в Военный совет КБФ и в областной комитет партии и сказали, что необходимо написать для единственного театра в городе — «Музкомедии» — хорошую, жизнерадостную пьесу. Спросили, сколько я обычно пишу пьесу. Я ответил:

— Два-три года.

— Надо сделать в две-три недели, — сказали мне.

Я чувствовал, что вопрос ставится серьезно. — немцы готовили штурм города... Я ответил:

— Есть!

Мы сели втроем (А. Крон, В. Азаров и я) и за семнадцать дней написали пьесу «Раскинулось море широко», которая третий год идет по всей стране. Видимому, можно писать и по приказу.

Следовательно, незачем спорить!

пойдем, что единого правила здесь нет и быть не может. Надо только знать, к кому и в какой обстановке обратиться.

Коснусь в этой связи и вопроса о газете. Ряду людей, которые пишут медленно, не рационально поручать будничную, оперативную газетную работу. Многих писателей работа в газете сушит, тормозит. Мне, например, жаль, что Всеволода Азарова, поэта-балтийца, труженика, молодчину, орденосца, оставляют на газетной работе, в то время как душа его рвется писать поэму. Он хочет повидать родную Одессу, где у него погибла вся семья. Почему не послать Азарова в Одессу, чтобы он написал о том, что кровно чувствует? Я буду рад, и посчитаю, что поступает правильно, если в результате этого совещания Азарова вызовут и скажут: «Поезжайте, пишите»... Душевную тягу писателя к своей теме надо понимать и учитывать.

Ленинград — это мой родной город. Будь я в другом месте, такого напряжения, такого экстаза у меня не могло бы быть, потому что в душе человека, в его творчестве есть что-то драгоценное, тайное, личное.

Условимся на будущее — сочетать формы служебные с тонкими формами работы и общения с писателями. Представители первого ряда интеллигенции — писатели, художники, артисты и другие — этого заслужили. Мне кажется, что генерал-полковник Рогов понимает это очень глубоко и серьезно. Он всегда говорил, выслушав собеседника-писателя: «Делайте, что вам нужно». Надо, чтобы этот заботливый подход был распространен на весь коллектив литераторов, работающих на флоте.

Каковы наши основные задачи? Наша основная задача — освещение войны, и не только Великой Отечественной.

Нужно высоко поднять тему отечественного флота и его историю. И тут мне хотелось бы затронуть тему о России. Русские — народ-лидер. Русский народ, русский офицер, русский солдат, русский матрос — эти понятия живы и сегодня. И надо только разгадать в русских их качества, их ум, культуру, их изумительное умение с уважением относиться к другим нациям. Надо сочетать понятие «русский» с понятием о величайшей революции и самых передовых и светлых идеях мира.

Когда мы будем писать на тему флота, когда будем рассказывать о делах и днях первой мировой, гражданской, отечественных войн, мы всегда будем помнить о том, что мы русские, мы будем гордиться этим, и сынам и внукам своим прививать это чувство гордости.

Нам предстоит решать крупнейшие политические, экономические и культурные задачи. Нам предстоит ломать все остатки реакционно-фашистской идеологии. От писателей потребуются напряжение всех сил. О нашей стране много пишут неправильного. Никому нельзя позволить искажать суть исторических побед нашей страны. Предстоит, следовательно, большая политико-разъяснительная литературная работа. Мы должны показать, каковы наши люди, наши моряки, вскрыть их внутренний мир, их интересы, запросы, вкусы, потребности.

Известно, что мы стоим перед созданием большого флота. Потребуется крупные усилия... И здесь писатели будут заняты не только чисто-литературной работой, но и военно-морской агитационной.

Может быть, стоит подумать о создании всесоюзного морского общества. Возможно, что писатели, скажем, группа человек в пятьдесят, смогли бы совершать поездки по всей стране и рассказывать народу о делах и опыте Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

Несколько слов о самом совещании. Доклад был сжатым и несколько суховатым. Прения развернулись независимо от доклада: каждый высказал то, что его волнует, тревожит. Я рад, что ряд критиков, не имевших до войны отношения к флоту, выступил активно. В выступлениях товарищей Чарного, Черныяка, Фейнберга и других было много интересного.

Докладчик почему-то отрицал возможность работы над формой трагедии. Невярный тезис! Упорно и последовательно драматические писатели работают над созданием советской трагедии. Следовало бы т. Новичу подумать о ряде опытов, которые уже сделаны в этом плане советским театром и кинематографией. Подумайте, товарищ докладчик, о том, как огромно сейчас количество драм и индивидуальных трагедий, которые найдут свое выражение именно в трагедийных произведениях, ибо писатель несет народу правду.

Хотел бы сказать здесь о творчестве А. И. Зонина. Я видел его в цепях морской пехоты, видел едва передвигающим ноги от голода и все же работающим на линкоре «Октябрьская революция» зимой 1941—1942 годов; видел на подводной лодке «Л-3», видел в осаде Ленинграда. Он хорошо воевал. Недавно я прочел его новый роман «Морское братство». Считаю, что это произведение интересно и примечательно. В нем показан действующий флот, даны различные столкновения—официальные, служебные, психологические, дана суровая северная природа. Очень сильно описан ряд морских операций—надводных, подводных и воздушных. Эта книга двигает нашу морскую литературу вперед. Соглашусь с А. Штейном: роман перегружен технической терминологией. Но это поправимо. Объясняется это тем, что А. И. Зонин обучается, старается стать моряком-профессионалом.

Александр Крон не знал флота. В 1941 году попал в многотиражку Подплава КБФ и с этого момента «сел» на тему о подводниках. Когда его «подталькивали», он спокойно отвечал: «Не подталькивайте—напишу, когда пойму, разберусь». И в результате появилась пьеса, которая вызывает живые отклики, в которой много недостатков, но есть главное—жизнь.

Если позволительно, скажу несколько слов о себе. Тут выступал В. Шкловский. Он говорил о моей пьесе «У стен Ленинграда». Дорогой Виктор Борисович! Мы эту тему знаем лучше, чем вы, находившийся в отдалении от Ленинграда. Предоставьте же мне разобраться в выбранных и пережитых мной темах. Предоставьте нам право бороться за индивидуальный стиль в искусстве и литературе. Мы были у стен Ленинграда и пишем так, как нам кажется верным. Вашу критику поэтому я не могу принять, прошу вас посмотреть мою пьесу на сцене, там она отчетливее звучит. Приглашаю вас в театр».

В заключение дискуссии с интересной речью выступил писатель Николай Тихонов, который сказал:

«Наша трехдневная дискуссия подняла сразу так много вопросов, что многие из них не получили ответа. Она переросла тот порядок дня, который был намечен.

Как писать о море и о советском моряке?

Мы знали море через писателей Англии и Америки. Мы помним и любим эти книги и их героев. Но наши люди должны встать над ними.

О море, о человеке моря надо писать так, чтобы было ощущение колоссальной радости той стихии, которую вы открываете. Вы—Колумбы, которые начинаете плавание в громадную неведомую Америку. Если замыкаться в отсеке корабля и говорить об уставах—этого будет мало. Надо писать увлекательно, и нужны просторы.

Я интересовался историей войн Наполеона и напал на материал о Синявине и действиях наших моряков. В этих сырых документальных материалах была масса лирики, чувствовались живые люди, русские моряки, которые были не только моряками, но людьми. Если бы вы почитали их письма, записки, воспоминания! Люди, окруженные прекрасной природой, как живые встали предо мной на фоне громадного простора Средиземного моря, где вилял наш андреевский флаг.

И мне захотелось писать. А ведь это были только материалы...

Мы сейчас имеем писателей, которые могут через узкие темы и сюжеты прорваться на широкий простор океана.

Для создания такого большого полотна имеет все данные, например, Леонид Соболев, романтический по своей природе, как романтично в своей основе море.

У Вишневского есть одна тема—это тема Балтики. Его балтиец, идет ли он на гражданскую войну, стоит ли под степами Ленинграда, или воюет где-нибудь в Испании, все равно прежде всего моряк-балтиец. И он проходит по жизни, как некая легенда, а жизнь сама идет ему навстречу. В 1941 году мы увидели матросов из революционного Кронштадта, также опоясанных патронами, со всеми своими психическими атаками. Много повторяется, потому что в этом уже есть черты эпоса. Отличительная для Вишневского черта—связь человека с определенным участком войны—Кронштадтом, Балтфлотом, Ленинградом, не локальность, а—приверженность к теме.

Был такой моряк Владимир Ричноти. Он принес мне кипу рукописей и просил в них разобраться. Потом он с трудом написал первую часть романа «Третий рейс». Если бы это было сделано мастером, мы имели бы историю Балтийского торгового флота.

Я не знаю произведения, в котором было бы такое количество живых героев и такое знание быта. По материалу это могла бы быть громадная эпопея. Несчастье в том, что автор умер, успев написать лишь первую часть. Остались две части, и если бы кто-нибудь занялся этой темой, мог бы сделать настоящую книгу.

Недавно вышел роман одного молодого австралийского писателя Джеймса Олдриджа «Морской орел». Этот роман повествует о современных событиях на Крите. В описаниях морских боев вы найдете элементы, идущие от Фенимора Купера. Оказалось, что многое, описанное у Купера, живет сегодня и не просто живет, но является злободневным. Когда вы прочтете роман Олдриджа, вы поймете, что традиции прошлого — дело серьезное и из них многое можно почерпнуть. Вы почувствуете морской бой с его необыкновенностью, вы даже подумаете, что это невозможно, что в наше время так не бывает, что в наше время так не могут разворачиваться события. Но это реально. Автор романа — свидетель описанных событий на Крите.

Такие свойства человека, как храбрость, инициатива, умение — были и есть в каждой стране, в каждом флоте. Важно показать, что же отличает храбрость, инициативу, умение нашего краснофлотца, нашего командира от этих же качеств у моряка-иностранца или русского моряка прошлого века.

Если попытаться вновь включить Нахимова в жизнь, в нашу, сегодняшнюю жизнь со всей ее спецификой, — это не выйдет. Станюкович — почтенный человек, но с парусами нам делать нечего, потому что теперь парусникам уступают дорогу корабли только разве из уважения к романтике.

Занимаясь литературой о флоте, надо иметь в виду всех читателей.

Надо начинать со школы, даже раньше, так же как делает отец-моряк, который приводит сына и, по старой традиции, передает его кораблю. Со школы нужно прививать детям любовь и уважение к морю. Я взяла последние издания Детгиза. О море там очень мало книг.

По вопросу о работе во флотской печати писателей скажу следующее.

В старое время, я помню, царские офицеры писали книги, писали по военным вопросам хорошо и популярно, для большой публики. Опасение, что без писателя газета может заглохнуть, неправильно, потому что среди командного состава можно найти огромное количество специальных морских газетчиков и журналистов, которые действительно помогут пропаганде.

Военно-морская тема не должна ограничиваться рамками быта. Мне кажется, что общее направление ее должно быть в плане высокой героической литературы и на той высоте, которая бы сближала тему военно-морского флота с другими темами жизни.

Нужно переиздать лучшие книги прошлого. Мы не знаем своего прошлого, книг о нем мало. Хорошо было бы объявить конкурс на лучшее произведение о флоте.

Советские писатели-моряки приступили к большой творческой работе, многое уже сделали и в дальнейшем своими произведениями будут способствовать расцвету могучей советской морской державы.

Кроме упомянутых в отчете товарищей в дискуссии приняли участие писатели: Б. Соловьев, Л. Соловьев, А. Зонин, А. Дерман, А. Виноградов, Л. Длигач, А. Жаров, Я. Черняк, И. Фейнберг, М. Чарный, А. Штейн, С. Алымов, Н. Чуковский, И. Гринберг.

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

СТИХИ МОИХ ТОВАРИЩЕЙ

В критических статьях о поэзии мы часто встречаем упоминания о поколении поэтов-фронтовиков, творчески возмужавших на войне.

К сожалению, эти замечания не всегда подкрепляются конкретными примерами. Мы слышим, конечно, не все голоса. Стихи на страницах армейской газеты, издаваемой, например, в Венг-

рии или Норвегии, редко приходят к нам. Да и нельзя по одному случайно дошедшему до нас стихотворению судить о творчестве того или иного поэта. Об этих людях еще будет написано, их труд не пропадет даром.

В этих заметках мне хочется рассказать о работе трех поэтов-фронтовиков: Владимира Лифшица, Вадима

Шефнера, Анатолия Чивилихина, и о том принципиально новом, что внесла в их жизнь и творчество война.

Довоенное творчество Владимира Лифшица читатели любили за тонкую, с оттенком дружелюбной иронии лирику, за сказки для детей, в том числе самую известную сказку — «Сабля Чапаева», за стихи о республиканской Испании.

Военная тема в прежних стихах Лифшица, как, впрочем, и в представлении всего нашего поколения, звучала романтическим воспоминанием, лиричным жизненным правдой.

О величаяя пора!
Легендой
К нам, юнцам, пришла ты.
Закреть глаза —
И, как вчера,
На приступ ринутся бушлаты,
Под крымским солнцем
Серебром
Сверкнут их грозные винтовки.
Внезапно оборвется гром
Артиллерийской подготовки —
И Фрунзе бросит из траншей
С утра томящихся в траншеях
Немногословных латышей
На многославный перешеек.

Конкретность здесь была мнимой, это было книжное восприятие войны из третьих рук. Таким же было и обращение к потомку, который в заброшенной долине среди разошедшихся костей найдет на выгнутом ребре перо с лазурью в серебре.

И песней дорожа не спетой,
Вооружившись ручкой этой,
Поэт, которому видней,
Продолжит повесть наших дней.

Впоследствии в одной из своих фронтowych книг Лифшиц зло, но справедливо сказал об этих юношеских своих стихах:

И вот — сочинитель
Расхваленных книжек —
Я вижу, что просто
Чирикал, как чижик.
Нас нянчила
Щедрая наша эпоха
И скидку давала
На все, что не плохо.
А нынче,
С винтовкой шагая по глыбам,
По шпалам,
Где рельсы поставлены дыбом,
Где ночью бесшумно
Подходят к платформам

Вагоны,
Откуда несет иодоформом, —
Я снова гляжу
На столбы верстовые,
Я вижу их снова
И вижу впервые.
И только сегодня,
Быть может, я вправе
Сказать, что ведут они
К счастью и славе.

Лифшиц был в народном ополчении, работал в армейской газете, был заместителем командира батальона, участвовал в боях за полное снятие блокады, был ранен. Он награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени.

Я привожу эти данные послужного списка, как подтекст к его поэтической биографии.

В стихотворении «Мальчикам, думающим про войну» он обращается по сути дела не только к тем, кто сегодня, сидя на партах, мечтает о военных подвигах. Эти стихи обращены и к себе, к своему поколению. Недаром автор посвящает их памяти Алексея Лебедева, поэта-подводника, не вернувшегося из своего первого боя.

В таких стихах мы видим исповедь, переосмысление довоенных представлений советской юности — тех, кто родился незадолго до революции, а в год смерти Ильича стал пионерами.

Мальчикам, думающим, что война это знамен поlyingший шелк, мальчикам, думающим, что это горнист, подымающий полк, поэт говорит: война — это мосты у бойцов на плечах, это дозоры в бессонных ночах. Это глаза воспаливший песок, Чертовой буханки последний кусок, Тихий пруд, из которого пьют, Я говорю, что война — это труд.

Лифшиц за войну издал три книги стихотворений — «Плечом к плечу», «Миллион братьев», «Клятва». Основная их тема — борьба за Ленинград.

«Чертовой буханки последний кусок» — эта строчка легла в основу одного из честнейших произведений, созданных ленинградскими поэтами в дни блокады, «Баллады о чертовом куске» — поэмы о стойкости, о силе человеческого духа, побеждающего голод и смерть.

Лейтенант везет через Ленинград на фронт продукты — сало, концентраты, хлеб: В городе у него голодает семья. Лейтенант отдает сыну единственное,

чем располагает, — сбереженный черствый кусок хлеба. Мальчик незаметно передает этот хлеб матери, и когда лейтенант выезжает из города, тот же кусок — ненадкусенный — он нащупывает у себя в кармане.

Потому что жена не могла быть
иному,

И кусок этот снова ему подложила.
Потому что была настоящей женою,
Потому что ждала, потому что
любила.

И, как рефрен к стихотворению, говорящему о лучшем, чем жили ленинградцы, — братской дружбе, самопожертвовании — следуют строки:

И опять сквозь лучи снег летел,
как сквозь сито,
Снег летел, как мука, — плавно,
медленно, сыто.

Этот образ в стихах о голодающем, но не сдающемся городе, мне кажется, не мог бы создать тот, кто не провел в Ленинграде блокадную зиму.

Военная лирика Владимира Лифшица глубоко человечна, в ней нет присущей некоторым прежним его стихам рассудочности, освободилась она и от налета камерности.

Особое место занимают в его фронтовом цикле стихи о природе. В написанном с чувством добродушного юмора стихотворении «Весна» бойцы спорят: один говорит, что бьют калибры 205, другой — что это рвякают гвардейские минометы, третий — что немецкие самолеты бомбят наши передовые позиции. А на поверку оказывается, что гром, чудесный майский гром раскатился по земле.

Боец на передовой неожиданно замечает, что каждая былинка и сучок, каждая букашка — все исполнено военного значения. Улитка тащит бронеколпачок, желтый паучок тянет провод, стрижи пикируют, как «Юнкерсы», светлячок ночью в лесу нарушает светомаскировку.

Образ для Лифшица не самоцель, он всегда подчинен основному поэтическому замыслу. Вот почему стихотворение «Васильки», начинающееся почти идилически: «в синем поле васильковом наш передний край пролег», умно и круто переводится затем автором в другой план:

Ночь покрывает вас росой,
Подползу я к вам с косой.
Не смутите вы солдата
Предвоенноу красотой.

Из-за вас мне видно худо,
Огонек же дать отсюда
Мне придется на рассвете
И кинжальный и косой.

Мягкая задушевность, свойственная довоенной лирике Лифшица, и теперь живет в его стихах. Иногда он разрешает себе помечтать о будущем.

Он пишет о кружке, спутнице солдата, в которой побывала и водка, и болотная вода, и дикий мед, когда владельцу ее пришлось побродить в немецком тылу.

Эту кружку солдат просит, если погибнет, сберечь для сына. Ну, а если вернется домой, тогда на пиру в честь победы

Средь сияющих бокалов,
Неприглядна и бедна,
Пусть на скатерти камчатой
Постоит себе она,
Пусть в соседстве молодежи,
Как ефрейтор-инвалид,
Постоит себе в сторонке —
На веселье поглядит!

Право говорить за себя и за свое поколение Владимир Лифшиц завоевал на войне.

Другой поэт-фронтовик — Вадим Шефнер — первую свою книгу «Светлый берег» издал за год до войны. В ней наряду с интересными, самостоятельными стихами было еще немало подражаний, слишком явных влияний. Зачастую инерция формы приводила Шефнера к подражанию старомодным образцам, и тогда стихи лишались чувства времени.

Перед поэтом были две дороги — поиски нового реалистического изображения жизни и проторенная эпигонами дорожка вневременной, мнимо «извечной» личной темы.

Что нового внесла в стихи Шефнера война? Судьба поэта неотделима от судьбы человека. Если о Владимире Лифшице можно сказать, что на войне он узнал жизнь своих поэтов, то Вадим Шефнер, став в Отечественную войну солдатом, приблизил себя и своих героев к суровой, земной жизни, от которой прежде находился в романтическом далеке. Приобретя тяжелым опытом новое, поэт не поступился чувствами, выдержавшими испытание огнем и кровью, юношеским, ярким восприятием мира. У поэта сердце обнажено. Он обязан перед собой, перед своими героями быть достойным восплаемых

им чувств. Вот почему закономерно и в то же время отраднo, что такие поэты-лирики, как Вадим Шефнер или мастер старшего поколения Всеволод Рождественский, обрели себя в эти годы как воины и как певцы своего народа.

Одно из лучших военных стихотворений Шефнера «Шиповник». Никогда еще с такой выразительностью Шефнеру не удавалось показать связь человека с природой.

Здесь фундаментов камень в песок перемолот войной,
В каждой горсти земли затаился смертельный осколок,
Каждый шаг продвиженья оплачен кровавой ценой.
Лишь девятой атакой был взят этот дачный поселок.
Ни домов, ни травы, ни заборов, ни улицы нет,
И кусты, и деревья снарядами сбриты сразмаха.
Но шиповника куст, потому что он крови под цвет,
Уцелел — и цветет среди мусора, щебня и праха.
Стисни зубы и молча пройди по печальным местам,
Мсти за павших в бою, забывая и страх и усталость,
А могил не ищи. Предоставь это дело цветам,—
Все видали они, и цвести им не долго осталось.
Лепестки опадают... Среди этих изрытых дорог
Раскидает, разметет их ветер беспечный и шалый.
Но могилу героя отыщет любой лепесток,
Потому что им некуда больше здесь падать, пожалуй.

У Шефнера негромкий голос, но сквозь грохот канонады отчетливо слышно его слово.

Во время войны Шефнер сумел не оборвать свою песню, он ведет ее все в той же интимной интонации и в то же время мужественно, просто:

За сотни верст и сотни дней разлуки,
Былого не храня и не кляня,
Спит женщина, легко раскинув руки,
И видит сны, в которых нет меня.
Пусть спит она. Луна у ней на страже,
Прильнула полночь к теплому плечу.
А я...

Я помню так ее, что даже
Ни помниться, ни сниться не хочу...

Но если станет грустно нестерпимо,
Не камнем горя лягу я на грудь,
Я глаз твоих коснусь смолистым
дымом,
Поплачь еще немного, и забудь.

Шефнер рисует войну такой, какая она есть. В правдивом и горьком стихотворении «На Вуокси» — скорбный фронтовой пейзаж:

Я счастлив, что ты не со мною,
Ты прокляла б эти места.
Цветы здесь от смертного зноя
Свои позабыли цвета.
Разбитых окопов уступы
Спускаются к мутной реке,
Людские и конские трупы
Лежат на горячем песке.
...Мы три конгратаки отбили,
Гудят и дымятся холмы.
Мы полуослепли от пыли,
Оглохли от грохота мы.

Поэт ведет читателя к выходу из этой воронки дантовского ада, находит слова, в которых нет украшательской лжи, ибо они выстраданы и завоеваны —

И все-таки, все-таки, все же,
Хоть здесь ни садов, ни жилья,
Мне с каждой минутой дороже
Печальная эта земля.
За дыма багровой завесой,
За лугом, где смяты цветы,
За лесом, пылающим лесом,
За мглою мне видишься ты.

Такова мечта солдата, который и «у смерти на краю» обожженным, не знающими сна глазами видит приближающееся радостное будущее.

У Шефнера много стихов о любви и смерти, о недооценивших, недолюбивших друзьях, о юности, оборванной войною.

Стихотворение «Первая любовь» начинается эпически просто: «Андрея Петрова убило снарядом». Потом бойцы нашли убитого товарища, вынули из пропитанных кровью карманов его документы, книжку с адресами, фотокарточки, узнали адреса всех, кому надо написать о безвременной смерти. Лишь адреса той, чью карточку берег погибший боец, товарищи не нашли:

«Он так, видно, адрес той девушки помнил, что в книжку свою не вписал записную».

Товарищи вернули маленький снимок погибшему товарищу, на сердце которого он хранился годами.

И в час, когда травы тянулись
к рассвету,
И яма чернела на низком пригорке,
Мы дали три залпа и карточку эту
Вложили Петрову в карман
гимнастерки.

Особое место в военном творчестве Шефнера занимают стихи о Ленинграде.

Теме Ленинграда — много лет. Ее поэтический исток в «Медном всаднике», в «Евгении Онегине». Это город «Двенадцати» из «Возмездия» Блока, город Маяковского. Здесь закипала яростная «Брага» Тихонова, создавалась улица «Красных зорь» Прокофьева. Ленинградский поэт — говорим мы сегодня и вспоминаем строфы поэмы Тихонова «Киров с нами», вспоминаем «Ленинградский дневник» Берггольц, стихи поэтов-воинов, отдавших жизнь за Ленинград, — Алексея Лебедева, Юрия Инге, Георгия Суворова, — вспоминаем поэзию фронтовиков, строфы, помогавшие ленинградцам победить смерть.

В стихах Шефнера о Ленинграде слышен уверенный, спокойный тембр. В стихотворении, которое просто и гордо называется «Мой город», поэт говорит:

Прекрасней снов и нерушимей стали
Стоит он, нашей силою храним,—
Лишь пленными враги в него вступали,
Склонив покорно головы пред ним.
...Свой город отстаив ценою бед,
Не сдали Ленинграда ленинградцы,
Да — в нем ключи чужих столиц

хранятся,
Ключей к нему. в чужих столицах нет.

В стихотворении «Зеркало» он пишет об уничтоженном бомбами ленинградском доме:

И пусть я все забуду остальное —
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,
Висит над бездной зеркало стнное
На высоте шестого этажа.

Как далеки эти строки Шефнера от его довоенного, еще детски наивного, не проверенного жизненным опытом видения мира, от «Летних ночей», русалок, расчесывающих косы на плотинах гидростанций, эльфов, пьющих росу из фарфоровых стаканов электропроводов. Бесспорно, в этом смещении сказочного с реальной жизнью была своя прелесть.

Но он многое заново продумал, пересмотрел. Вспоминаая неурядицы прежней жизни, он говорит: «Все наши прежние невзгоды, как солнце, светят

нам теперь». Без сожаления вспоминается безвозвратно ушедшая беспечная юность.

Когда приходит зима, алмазный снег, устилающий эскарпы, воронки, напоминает поэту-фронтовнику о детстве. И пусть над белым обрывом стоят, словно перед расстрелом, черные обугленные деревья, —

Иди наверх по мерзлым глыбам,
С обрыва не спуская глаз,
И не грусти — быть может, выпал
Твой первый снег в последний раз.
Взгляни: здесь, как на гребне горном,
Клубится снегом высота:
Запой — и песня хлынет горлом,
Как кровь, — неожидане и проста.

До войны в стихах молодых поэтов звучали порой нотки ложной умудренности, не оправданной житейским опытом, раздумий, за которыми не ощущалась творческая мысль, а было скорее кокетничанье грустью.

Когда мы читаем теперь стихи, созданные молодыми поэтами на войне, мы чувствуем, как мужают в бою люди, как далеки эти честные строки с их тоскою и радостью, срывами и вознесением, от того подчас безоблачно легкого, что писалось в годы мира. И то же сравнение песни с кровью, хлынувшей из горла, показалось бы нам раньше выпрненным. А теперь мы в него верим, теперь Шефнер имеет право писать о своей поэтической судьбе:

Пусть ржут метафорические кони,
Поет стрела, летя издалека.
Я знаю сам, что жизнь, как на ладони
Та линия, — ясна и коротка.
Не очень долго и не очень много
До отдыха последнего итти.
Но не грустна и не страшна дорога
И есть о чем задуматься в пути.

В «Сонете под огнем», в «Тысячном дне войны», в стихах о годах разлуки, о тысячах дней, что больше, чем тысячи верст, — утверждает Шефнер нашу светлую, радостную веру в победу жизни над смертью, света над тьмой, цветения садов над гибельными очагами пожаров.

Большие перемены произошли за войну в творчестве третьего поэта-фронтовика, о котором я хотел здесь говорить, Анатолия Чивилихина.

Увлечение архангским словарем, подражание чуть ли не одам Державина делало довоенные, во многом еще

ученически незрелые стихи Чивилихина закостенелыми. Не верилось, что в век великого возмутителя спокойствия Владимира Маяковского можно писать: Куда ни глянем — семя и омаво. Во всем наш век серьезно преуспел.

В стихах «У очага войны» мы читали почти пародийные строки:

Но есть еще такой смирения
радетель,
Кто тщится палачей склонить на
добродетель.

Некоторые критики пытались выдать эти странные «опыты» за новое слово в поэзии, забывая о том, что язык поэта — это язык его времени, и искусственность формы мстит.

Архаизацию эти критики считали плодотворной, говоря, что она приближает современную тему к кругу извечных тем — природы, мироздания, бессмертия. Подобные рассуждения дезориентировали молодую поэзию, были объективно вредны. И если бы, кроме архаического чудачества, за душой у Чивилихина ничего не было, — ему пришлось бы признаться в своей полной поэтической несостоятельности.

К счастью, случилось обратное.

Анатолий Чивилихин с первого дня на войне. В бригаде морской пехоты, на Волховском фронте он столкнулся с требовательным, строгим и в то же время благожелательным критиком — своим читателем. Отказавшись от прежних приемов и лексики, Чивилихин нашел себя не сразу. Люди фронта — пулеметчики, танкисты, снайперы — стали героями его стихов, требовали своего языка, своих образов, своей интонации.

Передо мной кипа газет Волховского, Ленинградского фронтов, в которых печатались военные стихи Чивилихина. Я вижу, как от стихов, живущих один день, в которых люди и события названы, но не показаны, поэт пробивается к боевой, живой поэзии.

В стихотворении «Мы прикрываем отход», датированном 1941 годом, мы узнаем трагическое, грозное время, слышим голоса друзей, которых с нами нет:

...Прощайте, не вам эта выпала доля.
Не всё ж отходить... Ведь наступит
перед...
Нам надобно час продержаться,
не боле.

Мы ляжем костями, но прикроем отход,
— Не думай — умру, от других
не отстану.
Вон катер — последний — концы отдает.
Плыви, коль поспеешь, — скажи
капитану,
Мы все полегли. Мы прикрыли отход.
Так же экономно, строго, с ответственностью за каждое слово, написано стихотворение «Говорят ракеты»:

Контратака. Взвивается в небо ракета.
Это голос беды — «выручайте»
послышалось в нем.
Это крик о подмоге, неравного боя
примета —

По-мо-ги-те огнем!..

...Снова алым перстом небосвод
перечеркнут прозрачный,
Враг бежит. Не упустим. Настигнем.
Повалим. Сомнем.
Это радостный крик «Навались!», это
возглас в облаве удачной:

Добивайте огнем!

Избавившись от прежнего многословия, очистив свою поэтическую речь от архаизмов, Чивилихин пишет о войне так, как он ее видит, чувствует.

Так рождаются стихи «Говорят орудия БМ» — конкретные, показывающие будни войны остро, своеобразно:

В зеленой рощице всю ночь режут
слоны,
Стальные хоботы уставив в
поднебесье,
От их возни дрожит и стонет
мелколесье,
Мы приручили их, и все ж они
страшны.

Изобразительные приемы Чивилихина смелы. Это не холодные, формальные изыски, поэт живет воспеваемыми им событиями.

Чивилихинские стихи в честь орудий большой мощности — это ода в ее прямом, высоком понимании. Но для создания ее не потребовался ни державинский словарь, ни ритмы Ломоносова. На ней лежит печать выковавшего ее времени:

Здесь ни мечей, ни лат. Что латы,
что мечи?
Стоит орудий ряд, как ряд станков
давяльных.
Орудия БМ — они режут в ночи,
То голос мести злой, то голос гнева
сильных.

Так же современны фронтовые баллады Чивилихина, лучшая из которых «Невидимый стрелок». Это стихи не-